

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

---

" НА У К А "

МОСКВА - 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

И Э С Рахманкулова (Москва) К вопросу о теории аспектуальности	3
А А Левитская (Владикавказ) Аспектуальность в осетинском языке генетические предпосылки, ареальные связи, типологическое сходство	29
А Б Пеньковский (Москва) О развитии скрытых семантических категорий русского языка (от Пушкина до наших дней)	42
Е В Рахилина, И А Прокофьева (Москва) Родственные языки как объект лексической типологии русские и польские глаголы вращения	60
О Н Ляшевская (Москва) О семантической числовой парадигме имен существительных (названия пищи в русском языке)	79
Е Ю Иванова (Санкт-Петербург) О перцептивности номинативных предложений	107
З С Санджи-Гаряева (Саратов) Андрей Платонов и официальный язык	118

### Из истории науки

В В Потапов (Москва) Владимир Николаевич Сидоров (к столетию со дня рождения)	133
---	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

В М Живов (Москва) <i>Compendium grammaticae Russicae</i> (1731)	145
Д И Эдельман, А И Коган (Москва) <i>H van Skyhawk</i> <i>Burushaski-Texte aus Hispar</i> (Materialien zum Verständnis einer archaischen Bergkultur in Nordpakistan)	151

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	156
----------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ю Д Апресян И М Богуславский А В Бондарко В А Виноградов (зам главного редактора)  
В Г Гак Г В Гамкрелидзе В З Демьянков В А Дыбо В М Живов А Ф Журавлев  
Е А Земская Вяч Вс Иванов Н Н Казанский Ю Н Караулов  
А Е Кибрик (зам главного редактора), М М Маковский (отв секретарь), А М Молдован,  
Т М Николаева (главный редактор), В А Плунгян, Е В Рахилина  
Зав отделами М М Маковский Г В Строкова М М Коробова  
Зав редакцией Н В Ганнус

Адрес редакции 119019, Москва, Г-19, ул Волхонка, 18/2,  
Институт русского языка им В В Виноградова  
Редакция журнала Вопросы языкознания  
Тел 201-25 16

© 2004 г. И.-Э.С. РАХМАНКУЛОВА

## К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ

В большинстве отечественных и зарубежных исследований по славянским языкам различают два продуктивных вида – совершенный (*perfectiv*) и несовершенный (*imperfectiv*). [ГСРЛЯ 1970: 337–338; СРЯ 1952: 309; Виноградов 1947. 492, Богородицкий 1935: 168–169; Бондарко 1971. 21–42; Бондарко 1983: 116–117; Булаховский 1952: 176; Маслов 1955 28; Andersson 1972: 200–201; Leskien 1914: 460; Koschmieder 1929: 78]. Большая часть отечественных и зарубежных славистов придерживается той точки зрения, что значения определенности, неопределенности, повторяемости для несовершенного действия, значения однократности, окончания, начала, ограниченности для совершенного действия являются не отдельными видовыми категориями, а только оттенками в значении несовершенного и совершенного вида. Так, А.В. Бондарко считает, что система аспектуальности предполагает возможность выражения и таких тончайших нюансов характера протекания действия в русском языке, которые могут и не передаваться абсолютно адекватно при переводе на другие языки [Бондарко 1983: 117].

Сложным вопросом в славистике является вопрос категориального содержания вида. Но во многих исследованиях по славянским языкам можно найти такую формулировку категориального содержания совершенного и несовершенного вида, которая грешит некоторой нечеткостью. И в грамматике русского языка издания АН СССР, и в грамматике русского языка МГУ, и в трудах В.В. Виноградова, А. Лескина, и у некоторых других лингвистов основным категориальным значением совершенного вида считается значение предела, как основное категориальное содержание несовершенного вида постулируется отсутствие значения предела. Но если мы возьмем определения, которые даются категории вида в упомянутых выше трудах, то мы сможем убедиться, что здесь в понятие совершенного вида входит не преодоление действием своего предела, а только довольно неявно выраженное отношение к этому пределу. Так, в грамматике русского языка издания АН СССР категория глагольного вида определяется следующим образом: "Категория вида обозначает, что действие, выраженное глаголом, представляется или в его отношении к внутреннему пределу, цели, результату или, независимо от такого отношения, в его длительности и повторяемости...". В курсе лекций по морфологии современного русского языка издания МГУ дается подобная же характеристика: (Категория вида в русском языке характеризует выраженное глаголом действие или состояние с точки зрения отношения к его внутреннему пределу или независимо от всяких ограничений в его течении или повторяемости).

Зарубежные слависты также ставят категорию вида в славянских языках в зависимость от значения предела действия. Некоторые из этих лингвистов пытаются уточнить отношение действия к пределу, как это делает в нижеприводимом отрывке А. Лескин: (Совершенный вид (*perfectiv*) означает такое действие, при исполнении которого говорящему представляется завершенность, окончание, результат действия. Этим мы не хотим сказать, что завершение, цель действия в действительности достигается: речь идет о том, что в сознании наличествует момент завершения, достижения цели (независимо от того, имеет ли это место в настоящем, прошедшем

или будущем), а не некоторая длительность действия, даже если это длительное действие приводит к достижению цели. Несовершенным видом (*imperfectiv*), напротив, называется такое действие, которое представляется говорящему длительным, не имеющим окончания, завершения или результата [Leskien 1914: 460].

Как мы видим, А. Лескин, внося уточнение в категориальное содержание вида, понимает его как наличие только стремления действия к своему внутреннему пределу. Таким образом, А. Лескин приписывает видовым формам совершенности и несовершенности характеристику предельности и неопределенности (о предельности, неопределенности, нейтральности значения глагола см. ниже).

В определениях большинства других славистов также имеется в виду противопоставление грамматических форм, различающихся друг от друга своим отношением к внутреннему пределу действия. Однако действие глаголов рассматривается этими авторами в таком отношении к пределу, которое может выражаться не только грамматическими средствами, но и самой семантикой глаголов. Таким образом, отношение к внутреннему пределу может проявляться не только в языках с грамматически выраженной категорией вида, но и в тех языках, которые не обладают видовыми противопоставлениями в системе глагола.

У многих славистов не хватает указания на обязательность преодоления действием своего внутреннего предела. Правда, еще в определении видовой категории у Ф. Миклошича [Miklosich 1879: 274] мы встречаем подчеркивание момента завершенности действия (*Vollendung*), понимаемое как окончание действия, вызываемое его полным прекращением. В одной из более поздних работ, посвященных видовой категории в славянских языках, А. Белич [Belič 1924: 4] также указывал на тот факт, что понимание славянских видов грешит односторонностью – из характеристики категориального содержания вида выпадает значение полной завершенности действия. Нам кажется, что с некоторой натяжкой можно сказать, что Ф. Миклошич и А. Белич ставят видовое значение в зависимость от окончательного преодоления действием своего внутреннего предела.

В. Виноградов в своих трудах говорит о таком отношении действия совершенного вида к своему внутреннему пределу, которое можно расценить как качественное изменение в семантике глагола [Виноградов 1947: 497–498, 502–505]. Из такого толкования В.В. Виноградовым видового значения русских глаголов можно было бы сделать вывод о том, что категориальным содержанием вида, по мнению данного автора, является окончательное преодоление действием своего внутреннего предела. Однако и в трудах В.В. Виноградова важность окончательного преодоления действием своего внутреннего предела также подчеркивается недостаточно четко, и в последних трудах по русскому языку мы не находим четкой постановки вопроса о том, что основным содержанием категории совершенного вида является значение преодоленности действием своего внутреннего предела. Так, в определении категории вида в грамматике издания Академии Наук мы вообще не имеем уточнения отношения действия к своему внутреннему пределу. В курсе лекций МГУ, после довольно туманной формулировки об отношении действия к своему пределу, правда, содержится уточнение по поводу примеров *я читал книгу, я прочитал (прочел) книгу*, гласящее, что "во втором случае есть указание на то, что был когда-то момент времени, когда действие достигло предела, прекратилось, в первом примере указания на такой момент нет" [СРЯ 1952: 309].

Анализ лингвистической литературы, освещающей категорию вида в славянских языках, показал, что исследователи славянских языков недостаточное внимание уделяют различию между стремлением действия к своему пределу и достижением действием своего внутреннего предела. Гораздо большее место занимает в литературе по славянскому виду борьба между взглядом на категорию вида, как на количественное изменение действия, и взглядом на вид, как качественное изменение действия. В ходе этой борьбы мнений уточняется количество видовых форм, в качестве основных противопоставлений начинают рассматриваться вместо видовых пар *ле-*

*теть* – *летать* (определенность – неопределенность действия), *катнуть* – *катывать* (однократность – многократность действия), противопоставления: *лететь* – *прилетать*, *списать* – *списывать*. Особенно заметно это столкновение мнений в русском языкознании. Так, только А.А. Потебня [Потебня 1968: 62, 74–75] провел четкое различие между количественной и качественной стороной видového значения в русском языке. В трудах же Г. Павского, А. Востокова, Н. Николича, С. Шафранова, К. Аксакова, Н. Некрасова [Павский 1850: 48–74; Востоков 1891: 31–32; Николич 1845: 5–14; Шафранов 1852: 69–102; Аксаков 1855: 18; Некрасов 1865: 139–175] мы имеем эклектическую точку зрения на вид, в которой смешивался количественный принцип различения видов с качественным. Так, А. Востоков в своей грамматике указывает на 3 вида: 1) неокончательный, не означающий ни начала, ни конца действия, 2) совершенный, показывающий начало или конец действия, 3) многократный, показывающий действие, повторенное несколько раз. В.В. Виноградов, выработавший довольно четкую точку зрения на вид в русских глаголах как на качественное изменение значения глаголов, использовал для своей теории взгляды русских языковедов – Л.П. Размусена и Э. Черного [Размусен 1891: 379; Черный 1877: 9, 13], в которых подчеркивается, что основным видовым значением русских глаголов является выражение момента сосредоточенности действия или отсутствия такого момента.

Подводя итог по вопросу категориального содержания категории вида в славянских языках, мы должны подчеркнуть, что эта проблема решается в славистике еще недостаточно четко. Наибольшую ясность в разрешение вопроса о категориальном содержании вида внесли отечественные языковеды. Подход отечественных лингвистов к категории вида как к качественному, а не количественному изменению в значении глагола, позволил им выделить дополнительные значения категории вида. Таким дополнительным значением для совершенного вида является значение результата, для несовершенного вида – значение повторяемости [ГРЯ 1953: 36; СРЯ 1952: 309–310]. С указанием на предел действия связано, по мнению некоторых ученых, указание на достижение цели этим действием и на сохранившийся после прекращения действия его результат. Эти указания, действительно, во многих случаях соответствуют значению завершенности действия, достижения им определенного предела [СРЯ 1952: 309]. Для нашей работы особенно интересным является также тот факт, что наиболее четко значение результата в русском языке выступает у причастий [Кавецкая 1955: 129–142]. Наряду с содержанием видовой категории нас также интересует вопрос о формальной стороне этого сложного грамматического явления. Исследователи славянских языков считают обязательным для этих языков наличие противопоставленных языковых форм.

В русском языке противопоставляемые по принципу совершенности–несовершенности видовые формы образуются как при помощи суффиксов, так и при помощи префиксов. Благодаря длительным разногласиям по поводу того, считать ли префиксальные формы грамматическими формами к соответствующим беспрефиксальным формам или расценивать их как разные слова, вопросу о префиксальном образовании видовых форм уделялось большее внимание, чем их суффиксальному образованию. В настоящее время в исследованиях по русскому языку имеют одинаковое распространение обе точки зрения в отношении места префиксальных образований в видовой системе глагола. Так, В.В. Виноградов выделяет отвлеченно-грамматические приставки и глагольные приставки с ярко выраженным реальным значением. Видовые формы, образованные отвлеченно-грамматическими приставками, данный автор считает грамматическими формами. Видовые же формы, образованные приставками с реальным значением, В.В. Виноградов относит к одной лексеме с бессуффиксальными глаголами [Виноградов 1947: параграфы 29, 36, 41, 42]. В грамматике русского языка издания МГУ можно найти, наряду с выделением приставок реального, или лексического значения и приставок с грамматическим значением [СРЯ 1953: 312], заявление о том, что одной семантической близости для отнесения видовых приставочных и бес-

приставочных форм (*писать* – *написать*) к одной лексеме недостаточно и что необходимы структурно-грамматические основания. В качестве доказательства приводится тот факт, что каждый из членов видовой пары образует всю систему форм, ему свойственную (времена, наклонения, лица, залоги, причастия, деепричастия), точно так же, как образует ее каждый из двух глаголов, различающихся в лексическом отношении (*нести* – *принести*) [СРЯ 1953: 322].

Для нашей работы не представляет важности вопрос о том, куда следует относить члены видовых пар глаголов русского языка: к одной лексеме или к разным лексемам. Для нас важен тот факт, что в русской славистике недостаточно учитывается то, что в видовом противопоставлении суффиксального/бессуффиксального глагола мы имеем дело с большей грамматикализацией видовых противопоставлений, чем при противопоставлении бесприставочного глагола приставочному. Об этом, например, свидетельствует отнесение членов видовой пары *подписывать* – *подписать* к разным лексемам. Нам вообще кажется несколько странной практика определения принадлежности глаголов к той или другой лексеме не по семантическому, а по структурно-грамматическому принципу. Представляется, что дело обстоит так, что глаголы, имеющие одну семантику, могут быть отнесены к одной лексеме. Таким образом, по нашему мнению, в русском языке все суффиксальные образования можно считать грамматическими формами по отношению к бессуффиксальным. К грамматическим, а не лексическим образованиям можно отнести также те приставочные глаголы, приставки которых не влияют на семантику корневого глагола.

В зарубежной славистике также недооценивают роли суффиксальных образований как основной грамматической базы категории вида. Как показала полемика, проводившаяся Ю.С. Масловым на страницах журнала "Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР" с болгарскими лингвистами о сущности морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке, болгарские ученые не учитывают того, что морфологической основой видовой системы в болгарском языке является противопоставление суффиксального и бессуффиксального глаголов. Болгарские слависты, как показал Ю.С. Маслов [Маслов 1955: 28–96], без всякого основания приравнивают роль префиксов для системы вида к роли суффиксов, не учитывая того, что почти вся видовая система в болгарском языке строится посредством противопоставления глагола с суффиксом глаголу без суффикса, видовое же противопоставление при помощи префиксов играет в болгарском языке, в отличие от русского, весьма незначительную роль. Таким образом, болгарские лингвисты, уделяя излишнее внимание префиксам, не замечают того, что в грамматикализации видовой системы болгарский язык пошел дальше русского.

Мы специально выделили недостатки в разрешении проблемы категориального содержания видового значения и в разрешении вопроса о форме выражения вида в трудах по славянским языкам, которые сводятся к двум моментам: 1) отсутствие в определении категории вида четкого выделения значения преодоленности действием своего внутреннего предела для совершенного значения и 2) переоценка роли приставок в образовании видовых пар (именно по этим же вопросам существует путаница и в германистике). М.М. Маковский на большом фактическом материале показал, что готский глагольный префикс *ga-* не имел никакого значения – ни грамматического, ни лексического – и использовался чисто факультативно: в большом количестве случаев одна и та же греческая форма в "Евангелиях" соответствует готским формам с префиксом *ga-* и беспрефиксным формам [Маковский 1955; 1959]. Известно, что исследования в области категории вида славянских глаголов побудили германистов поставить вопрос о наличии этой категории и в германских языках. В свое время Я. Гримм первым поставил вопрос об этом, познакомившись с грамматикой сербского языка Вука Стефановича. В. Штрайтберг, который впервые посвятил отдельную работу изучению видовой категории в германских языках, постоянно указывал на то, что данный труд возник под непосредственным влиянием слависта А. Лескина, автора грамматик древнеболгарского и сербскохорватского

языков. Следует подчеркнуть тот момент, что учителями германистов в области вида были зарубежные слависты. А как раз в трудах зарубежных славистов указанные недостатки в общей теории вида выступают наиболее ярко. Благодаря тому, что определение категории вида, данное славистами, содержит указание лишь на присутствие понятия предела для совершенного вида и отсутствие такого понятия для несовершенного вида, германисты смогли его использовать для германских языков. Нужно учитывать, что определение вида, содержащее только указание на отношение действия к пределу, больше соответствует некоторым моментам в семантике немецких глаголов, которые отечественными лингвистами названы предельностью, неопредельностью, нейтральностью, чем видовым значением славянских глаголов. Определение В. Штрайтбергом перфективных глаголов как глаголов, которые содержат в самой основе отношение к пределу, завершенности [Streitberg 1891: 10], фактически является определением сущности глаголов не с точки зрения грамматической (у В. Штрайтберга нет указаний на соотношенность этого значения с каким-нибудь грамматическим формантом), а с точки зрения лексической. В монографии В. Штрайтберга находят свое отражение и чрезмерное увлечение славистов префиксами как средством образования видовых пар. В. Штрайтберг делает в своей работе вывод о том, что приставки готских глаголов служат средством образования видовых пар. Опираясь на видовое значение приставки *ga-* в готском языке, В. Штрайтберг рассматривает и другие приставки как в готском, так и в современном немецком языке как показатели видового значения. Он не учитывает того момента, что приставки в немецком языке являются средством лексического видоизменения слова, а не грамматическим формантом. Стремясь выявить, по аналогии со славянскими языками, стройную грамматическую систему видовых противопоставлений, В. Штрайтберг не замечает, что те случаи употребления приставочных глаголов, когда они употребляются с явно совершенным значением, объясняются не ролью приставок, а влиянием контекста.

В. Штрайтберг своим трудом о перфективных и имперфективных видах – по терминологии В. Штрайтберга "Aktionsarten" (термин "Aktionsart" В. Штрайтберг позаимствовал у К. Бругмана) – положил начало целой школе воззрений на видовое значение в германских глаголах. До К. Бругмана видовые значения в зарубежной лингвистике обозначались: "Zeitart" (Г. Куртгис), "Verbalzeit", "Verbalart" (И. Шмидт). Точку зрения В. Штрайтберга в той или иной мере разделяли: Л. Зюттерлин, В. Вильманс, О. Эррман, О. Вехагель, Г. Пауль, Х. Линдрот, Г. Поллак, Г. Хербиг, Г. Якобсон и другие авторы, хотя в деталях некоторые из названных авторов и проявляли несогласие со В. Штрайтбергом [Sütererlin 1907; Willmanns 1906; Erdmann 1886–1898; Behaghel 1924; Paul 1920; Lindroth 1906; Pollak 1920; Herbig 1896; Rodenbusch 1907; Jakobson 1933].

Следует отметить среди перечисленных авторов Г. Хербига, который правильно подметил специфику видовой категории славянских языков по сравнению с видовым значением немецких глаголов. Так, Г. Хербиг указывает на присутствие в семантике славянских глаголов момента завершения действия, а также на роль суффиксов для выражения видовых значений в славянских языках [Herbig 1896: 266–267]. В отношении немецких глаголов Г. Хербиг отмечает тот факт, что видовое значение в немецком языке выражается через семантику глагола [Herbig 1896: 266–267]. Но наряду с этими положительными сторонами работы следует также отметить, что Г. Хербиг рассматривает категорию вида с психологической точки зрения. Это приводит к тому, что в некоторых местах работы автор приравнивает видовое значение славянского и немецкого глаголов, исходя из надъязыковой, психологической сущности категории вида. Таким образом, Г. Хербиг проявляет ту же путаницу во взглядах на категорию вида, что и В. Штрайтберг, говоря о том, что основным значением этой категории является не момент преодоления действием своего предела, а пребывание действия в некотором отношении к этому пределу [Herbig 1896: 202]. Г. Якобсон также отмечал разницу между грамматическим видом (по его терминологии – "Aspekt") и лексическим проявлением видового значения у глагола (по терминологии Г. Якоб-

сона – "Aktionsart") [Jacobsohn 1933: 315]. Но наряду с этим Г. Якобсон недостаточно четко вскрывает разницу между содержанием *Aspekt'a* и *Aktionsart'a*, что можно объяснить нечеткой трактовкой видового содержания славянских глаголов Г. Якобсоном, выдвиганием им на первый план префиксального способа образования видовых пар [Jacobsohn 1933: 294–295]. Наряду с Г. Хербигом и Г. Якобсоном также Х. Линдрот указывал на то, что следует подходить дифференцированно к категориальному содержанию видового значения в славянских и германских языках.

По нашему мнению, наиболее дифференцированно к видовому значению глаголов различных языков подошел Б. Дельбрюк. Наряду с К. Бругманом Б. Дельбрюк является последователем Г. Курциуса в трактовке временных основ древних индоевропейских языков как средств выражения видовых значений. Широкая историческая перспектива дала возможность Б. Дельбрюку правильно поставить вопрос о том, что как современному немецкому глаголу, так и готскому, не свойственны категории совершенности и несовершенности, как это свойственно славянскому глаголу [Delbrück 1897: 125]. Под терминативностью Б. Дельбрюк понимает примерно то же самое, что отечественная германистика понимает под предельностью, т.е. стремление действия к какому-либо пределу (по определению Б. Дельбрюка – начальному или конечному). Точка зрения Б. Дельбрюка оказала на последующих исследователей меньшее влияние, чем точка зрения В. Штрайтберга. Может быть, сыграло свою роль чрезмерное увлечение Б. Дельбрюка разделением видовых значений по временным основам, что привело к нечеткости соотношений.

Для нашей работы представляют интерес взгляды зарубежных лингвистов на взаимоотношение вида и времени в системе немецкого глагола. В. Штрайтберг и большинство его последователей не раз подчеркивали, что видовое значение германского глагола ни в коей мере не зависит от временного значения. Так, у этих авторов перфективное (совершенное) значение может выступать в настоящем, прошедшем и будущем времени [Streitberg 1891: 71]. При этом не учитывается тот факт, что для видового значения немецкого глагола временные формы могут служить контекстуальным фоном. Б. Дельбрюк и его последователи, наоборот, настолько учитывают контекст, создаваемый временными формами, что в отдельных формах времени видят самостоятельные видовые значения. Так, К. Майер [K. Meyer 1917: 5–6] и Е. Майер [E. Meyer 1928: 13] выделяют особый вид "perfektisch", который выступает в презенсе, а Г. Вундерlich и Г. Райс [Wunderlich, Reis 1924: 212–213] находят этот вид также в перфекте. К. Бругман и В. Дельбрюк [Brugmann 1904: 656; Delbrück 1897: 228–229] отмечают это видовое значение в перфекте и в аористе древних языков. Если же мы возьмем те глаголы, которые приводятся в *perfektisch*, то мы увидим, что это глаголы, которые уже в самой семантике имеют стремление к пределу, например, нем. *verschwinden*, *sinken*, *überschreiten*, *verstehen*. Мы считаем, что правы те лингвисты, которые видовое значение в немецком языке ставят в зависимость от контекста, в том числе и учитывают контекстуальное значение, создаваемое временными формами, но которые в то же самое время не стремятся почти в каждой глагольной форме искать особый вид. Такой подход мы находим в грамматике Г. Пауля и Г. Штольте [Paul, Stolte 1950: 305], а также в статье Г. Шпицбардта [Spitzbardt 1954], которые пишут о роли синтаксического окружения для выяснения видового значения глаголов. Г. Шпицбардт выдвигает и раскрывает термин *syntaktische Aktionsarten*.

Важно отметить следующие недостатки во взглядах немецких ученых на видовое значение в системе немецкого глагола:

1) Нечеткое толкование категориального содержания вида у славянских глаголов и отсюда – нечеткое толкование видового значения немецких глаголов.

2) Отсутствие четкого подхода к формальной стороне выражения видовой категории. Выдвижение на первый план роли приставок в образовании видовых форм.

3) Нечеткое, а порой и неправильное толкование взаимоотношения видового и временного значения в системе личных форм глагола.



Во взглядах лингвистов на видовое значение причастий немецкого языка можно обнаружить почти все недостатки, которые мы отмечали в отношении общей теории глагольного вида. Весьма интересно, что при наличии довольно обширной литературы по видовому значению личных форм глагола вопрос о виде у причастия детально ни в одной специальной работе не разрабатывается. Зарубежные лингвисты Г. Геринг, К. Майер и И. Гюрике [Gering 1873; Meyer 1906; Guerike 1915] в своих исследованиях, проводимых в области причастий, главным образом готского и древневерхненемецкого языков, вопроса о видовой специфике причастия касаются вскользь, без достаточно глубокого его анализа. Следует подчеркнуть, что видовое значение причастий в зарубежной германистике не уязвляется с установившимися уже взглядами на видовое содержание личных форм глагола. Систему аспектов и видов зарубежные германисты, как правило, не используют при рассмотрении видового значения причастий. Но, тем не менее, они априори исходят из того, что какое-то видовое значение у причастий имеется. Одни лингвисты, как Ф. Блац, А. Леман, Т. Ферналекен, В. Вильманс [Blatz 1896: 598; Lehmann 1877: 132; Vernalecken 1861: 17; Willmanns 1906: 102], рассматривают видовое значение причастия II как законченность, совершенность (Vollendung), видовое значение причастия I – как незаконченность, несовершенство (Unvollendung). Другие авторы – Л. Зюттерлин, О. Вехгель, О. Эрдман, А. Енгелин, К.Ф. Беккер, Т. Маттиас [Sütterlin 1907: 274; Behaghel 1924: 401; Erdmann 1886–98; Engelin 1902: 361; Becker 1841: 514; Matthias 1914: 110] – усматривают основное видовое значение причастий в выражении состояния: для причастия I – состояния, создаваемого несовершенным действием, для причастия II – состояния, создаваемого совершенным действием. Но ни значение совершенности – несовершенности, ни значение состояния западные ученые не рассматривают отдельно от временного значения. При этом приверженцы точки зрения на видовое значение, как на совершенность и несовершенство, рассматривают как некоторое тождество совершенность и предшествование во времени, несовершенство и временную одновременность. Например, Ф. Блац считает основными значениями причастия "Dauer" и "Vollendung", но тут же в скобках он дает соответственно значения "Gleichzeitigkeit" и "Vorzeitigkeit" [Blatz 1896: 598]. Сторонники второй точки зрения, как правило, не видят в причастиях значения предшествования, а только значение одновременности. Однако некоторые лингвисты, как, например, К.Ф. Беккер, Л. Зюттерлин, отмечают особый, вневременной характер одновременности состояния, выражаемого причастием II. Так, К.Ф. Беккер пишет о значении причастия II, что это "Gleichzeitigkeit einer vollendeten Tätigkeit mit dem Prädikat, aber nicht ein Zeitverhältnis" [Becker 1841: 514]. Л. Зюттерлин так разъясняет свое понимание значения состояния у причастий II: "Vielmehr bezeichnet bei zielenden Begriffen das Mittelwort nur die Dauer des durch die Handlung bewirkten Zustandes (*gewendet, belagert*)" [Sütterlin 1924: 469]. Большинство же зарубежных лингвистов при рассмотрении одновременности состояния склонны к смешению значений видовых с временными. Так, Г. Пауль, Г. Штольте пишут о возникновении у причастий II, обозначающих состояние особого вида – *perfektische Aktionsart*, который они расценивают как одновременность состояния, выражаемого причастием, действию личного глагола. Здесь мы опять встречаемся с тем явлением, которое мы уже отмечали при рассмотрении общей теории вида в германистике. При рассмотрении видового значения личных форм глагола многие зарубежные германисты смешивают временное значение с видовым, они выделяют в каждой временной форме видовое значение. У причастия же II эти лингвисты приписывают видовому значению результата временное значение одновременности. Следует отметить не только смешение в рассматриваемых работах видового и временного значения у причастий II, но и в отношении причастий I пересмотреть вопрос о взаимоотношении видового и временного значения. В трудах зарубежных лингвистов мы не можем найти правильный ответ на этот вопрос, так как, несмотря на выделение

ими отдельных видовых значений, на первом плане у них стоит выражение причастиями временных и залоговых значений. В трудах отдельных лингвистов, например, Я. Гримма, Т. Хайнсуца, К. Михаэлиса мы вообще не имеем никаких указаний на видовое значение причастий. У этих лингвистов рассматриваются только временные и залоговые значения причастий, а у К. Михаэлиса – даже только залоговое значение [Grimm 1837: 64; Heinsius 1835: 249–250; Michaelis 1922: 109]. В трудах В. Штрайтберга, Г. Хербига, Х. Линдрота, Г. Поллака, Е. Роденбуша, Г. Якобсона и других лингвистов, специально занимавшихся вопросом видового значения немецких глаголов, уделяется весьма незначительное внимание видовому значению причастий. Также и в более поздних грамматиках немецкого языка, где имеются специальные разделы, посвященные видовому значению личных форм глаголов, в разделах, освещающих специфику причастий, видовому значению уделяется недостаточно внимания: это значение ставится в подчиненное положение по отношению к временному. В зарубежной германистике происходит на первый взгляд удивительный процесс: многочисленные исследователи ищут видовое значение в тех формах, которые не имеют никаких грамматических оснований для выражения вида; в тех же формах, где имеется более или менее яркое противопоставление по видовому признаку, базирующееся на морфологических формантах, эта способность выражать видовое значение остается без особого внимания. Но если рассматривать освещение видового значения причастий не изолированно, а в связи с освещением видового значения личных форм глагола, то все те изъяны в освещении видового значения причастий, которые мы отмечали (а именно: нечеткость в определении категориального содержания видового значения причастий, смешение видового и временного значений и пренебрежение морфологической формой, образующей базу для видового противопоставления), являются прямым следствием подобных же погрешностей общей теории вида.

Отечественные грамматисты признают, что причастия немецкого языка в отношении выражения ими видового значения занимают в системе глагола особое положение. Так, О.П. Мартынова, вслед за М.Д. Натанзон, так и пишет, что наличие в немецком языке пассива состояния, форм перфекта, плюсквамперфекта, а также причастия II ставит вопрос о необходимости пересмотреть положение об отсутствии категории вида в немецком языке. Н.В. Смирнова отмечает особое, отличное от глагольных, качество грамматических категорий причастий, в том числе категории вида [Смирнова 1954: 75–87]. Все отечественные лингвисты признают, что немецкие причастия выражают противопоставление по принципу совершенности – несовершенности. Но несмотря на это, они также не дают исчерпывающего ответа на вопрос, что же является категориальным содержанием видового значения причастий. В связи с запутанностью вопроса о сущности видовой категории не получает в их трудах своего разрешения также вопрос о взаимоотношении глагольных категорий причастий между собой, в том числе значений вида и времени.

Многие отечественные германисты стоят на той точке зрения, что все причастия I выражают несовершенное длительное действие, большинство причастий II – совершенное с результативным оттенком действие [Мартынова 1953: 7; Смирнова 1954: 77; Аруманова 1954: 17; Жирмунский 1948: 242–243; Шендельс 1952: 175–176; Адмони 1955: 279–280]. Ряд лингвистов выдвигают положение о выражении причастиями II значения результативного состояния [Эрлих, Тримм, Вольф, Бергман 1949: 433; Гадд, Браве 1947: 218; Белостоцкая, Мазурская 1949: 161].

В отношении связи видового и временного значения причастий мы имеем самые разнообразные точки зрения. О.П. Мартынова, Н.В. Смирнова, И.И. Ревзин, С.Л. Файнштейн, Е.А. Коленько считают видовое значение ведущим по отношению к временному. Так как перечисленные выше авторы не раскрывают того, что они понимают под ведущим значением, то вопрос взаимоотношения между видовым и временным значением остается до конца нерешенным. В.М. Жирмунский [Жирмунский 1948: 242–243] также ставит временное значение в зависимость от видового. Л.Р. Зиндер и Т.В. Строева-Сокольская [Зиндер, Строева-Сокольская 1941: 270], наоборот, вы-

двигают на первый план временное значение; правда, в отношении причастий II переходных глаголов данные авторы подчеркивают наряду с нечеткостью видового также нечеткое выражение и временного значения. В статье Н.В. Арзумановой [Арзуманова 1954: 16, 20] содержится противоречивое заявление о том, что причастия являются не видовыми, а временными формами с последующим выводом о ведущей роли видового значения. В.Г. Адмони [Адмони 1955: 279–280] вообще не видит в причастиях II временного значения, причастия же I он рассматривает как видо-временную форму. Почти все авторы, рассматривающие временное значение причастий, расценивают его как относительное, а не как абсолютное временное значение. Здесь интересно привести точку зрения Ю.С. Маслова, различающего у причастия II не относительное значение предшествования, а относительное значение одновременности. Так, Ю.С. Маслов пишет о том, что причастия II обозначают состояние предмета, одновременное глаголу того предложения, в котором это причастие употреблено. Но далее данный автор ставит характер причастного состояния в зависимости от семантики глагола и вносит уточнение, что причастия от трансгрессивных глаголов (под трансгрессивностью Ю.С. Маслов понимает примерно то же самое, что мы понимаем под предельностью) выражают результат уже завершенного, закончившегося процесса [Маслов 1948: 194–195]. Таким образом, для Ю.С. Маслова характерна шаткость в трактовке взаимоотношения видового и временного значения причастий.

Ю.С. Маслов делает, один из первых в отечественном языкознании, попытку поставить видовое значение причастий в зависимость от семантики глагола. В последующих работах, посвященных исследованию немецких причастий, используется теория предельности, выработанная отечественными лингвистами на материале личных форм глаголов. Следовало бы ожидать, что возможность более дифференцированного подхода к причастиям в зависимости от значения глагола позволит провести более глубокий анализ видового значения причастий. Правда, благодаря разделению глаголов на предельные – неопредельные – нейтральные, мы имеем в трудах наших германистов деление на причастия II с несовершенным значением и причастия II с совершенным значением [Мартынова 1953, Смирнова 1954, Ревзин 1950, Коленько 1951, Шендельс 1952]. Большинство отечественных лингвистов придерживается той точки зрения, что все причастия I выражают несовершенное действие, причастия II неопредельных глаголов также выражает несовершенное действие, причастие II предельных и нейтральных глаголов выражают совершенное действие. При таком восприятии зависимости видового значения причастий от семантики глагола не учитываются различия в семантике предельных и нейтральных, в первую очередь, а затем и более мелкие различия внутри семантических групп предельных, нейтральных и неопредельных глаголов. Несмотря на то, что зарубежные германисты в большинстве своем не используют лексического значения глаголов при определении видо-временного значения причастий, в их трудах все-таки можно встретить отдельные случаи более дифференцированного подхода к видо-временному значению причастий в зависимости от лексического значения глагола. В зарубежной германистике первым стал учитывать семантику глаголов при определении вида и времени причастий Г. Пауль [Paul 1905: 161]. Рассматривая причастия от различных глаголов, Г. Пауль указывал, что не всегда причастия II выражают предшествование, что причастия II от имперфективных глаголов могут выражать и одновременность действия. В грамматике немецкого языка Г. Пауль приводит целый список причастий II (108), которые, по его мнению, имеют сходное временное значение с причастием I. Среди 108 причастий два причастия (*bekämpft*, *erstrebt*) мы отнесли бы к причастиям предельных глаголов, 20 причастий – к причастиям неопредельных глаголов. Остальная масса причастий является образованиями от нейтральных глаголов. Здесь Г. Пауль довольно метко подметил способность причастий II нейтральных переходных глаголов выражать не только предшествование, но и одновременность. К сожалению, у Г. Пауля в большинстве случаев на первый план выдвигаются временные возможности причас-

тий, а не видовые [Paul 1920: 79]. Правда, у этого же автора есть указание на видовую нейтральность причастий тех глаголов, которые могут употребляться как в перфективном (совершенном), так и в имперфективном (несовершенном) значении. Так, Г. Пауль пишет: "Wenn Verba sowohl perfektiv als imperfektiv gebraucht werden können wie z.B. *beleuchten, erfreuen, ergötzen, betrüben, beunruhigen, ärgern, berühren, bewegen*, so ist für die Bedeutung der Partizipien gleichgültig, ob man es zum Perfektum oder Imperfektum zieht" [Paul 1920: 80]. Мы, конечно, не можем согласиться с объединением в одну группу различных по семантике глаголов (так, глаголы *beleuchten, betrüben, beunruhigen, ärgern, berühren, bewegen, erfreuen* мы скорее бы отнесли к предельным глаголам, правда, с не особенно четко выраженным пределом; глагол *ergötzen* – к неопредельным глаголам), но сам метод дифференцированного подхода к различным лексическим группам глаголов кажется нам продуктивным. Большинство же зарубежных авторов (Л. Зюттерлин, В. Вильманс, Ф. Блац, А. Енгелин, А. Леман, Т. Маттиас и др.) используют ссылки на лексическое значение глагола только при выяснении употребительности и неупотребительности того или иного причастия. Из авторов, делающих попытку различать видовое значение причастий в зависимости от лексического значения глагола, следует упомянуть И. Хайзе и О. Бехагеля. Так, И. Хайзе пишет о том, что причастие II переходных глаголов могут выражать не только момент завершения (*Vollendung*), но и длительность действия в том случае, если глагол, от которого образовано причастие, обозначает длительное действие, постоянное состояние или чувство [Heuse 1914: 317–318]. О. Бехагель различает среди причастий причастия II мутативно-перфективных глаголов (*mutativ-perfektive Verben*) и причастия II немутативно-имперфективных глаголов (*nicht mutativ-imperfektive Verben*). Опираясь на правильные термины при уяснении значения глаголов, от которых образованы причастия, О. Бехагель раскрывает их на противоречивом лексическом материале.

Так, в образовании от мутативно-перфективных глаголов у О. Бехагеля попадает причастие от глагола *stehen* (*gestandene Milch*), а в причастия от глаголов, не относящихся к мутативно-перфективным, относится, наряду с *ein studierter Mann*, также *ein gefallener Engel* [Behagel 1924: 402].

При рассмотрении специфики причастий как отечественные, так и зарубежные лингвисты исходят из двойственной сущности причастий как глагольно-именной формы. Но при анализе глагольной сущности причастий рассматриваются в первую очередь общность семантики действия у глагола и причастия, в отношении же глагольных категорий, особенно категории вида, заметно стремление обособить глагольные категории причастия от категорий глагола. Между тем, отдельные замечания лингвистов свидетельствуют о том, что нельзя непроходимой стеной отделять видовое значение причастий от видовой категории личных форм глагола. В этом отношении интересна точка зрения Ю.С. Маслова [Маслов 1948: 194–207], который пишет о появившейся со временем у причастий II возможностью выражать прошедшее действие безотносительно к его результатам в настоящем; эту позднейшую черту причастий Ю.С. Маслов связывает с постепенной "вербализацией" причастия II германских языков, с усложнением синтаксических связей причастия II в контексте предложения и со все более широким использованием его при образовании аналитических временных форм глагола. Подобные же, хотя и менее четкие высказывания, мы встречаем в трудах В. Штрайтберга, Г. Хербига, Г. Пауля, О. Бехагеля. Так, В. Штрайтберг и Г. Хербиг пишут о том, что если на более древней ступени развития языка причастия II обозначали момент завершения (*Vollendung*) действия в прошлом, то в современном языке мы имеем простую констатацию действия в прошлом [Streitberg 1891: 176–177; Herbig 1896: 265]. Г. Пауль, Г. Штольте и О. Бехагель отмечают, наряду со значением состояния, также развившееся в более позднее время значение предшествования [Paul, Stolte 1950: 311–312; Behagel 1924: 401]. О. Бехагель подчеркивает, что при выражении причастием значения предшествования глагольной причастия выступает более явно [Behagel 1924: 408]. У цитирован-

ных выше авторов все же нет прямых указаний на зависимость видового значения причастий, подобно видовому значению личных форм глаголов, от контекста. В отечественной германистике мы находим во взглядах М.М. Гухман основанный на глубоком анализе языкового материала подход к причастиям древних германских языков как к формам, видовое значение которых в значительной мере зависит от контекста [Гухман 1955: 329, 438, 449, 452–454, 487, 494]. Указав на ошибочность трактовки видового значения причастия II древних германских языков как состояния, в котором выступает субъект, а также критикуя теорию результативного или перфективного значения причастия II, проф. М.М. Гухман пишет: "В действительности и в отношении видовой специфики причастий II приходится говорить об известной противоречивости его значения" [Гухман 1955: 435]. Особо выделяет проф. М.М. Гухман расплывчатость видового и временного значения у причастий II переходных глаголов [Гухман 1955: 436–437]. М.М. Гухман вскрывает многозначность германских причастий в переводных письменных памятниках на базе сравнения с формами глагола в соответствующих греческих подлинниках, причем автор подчеркивает, что сам факт наличия одной формы причастия должен был привести к необходимости широко использовать ее с разными значениями. В некоторых учебных пособиях, статьях имеется также стремление показать нечеткость в выражении видового значения причастиями современного немецкого языка. Так, Л.Р. Зиндер и Т.В. Стросва–Сокольская отмечают шаткость видового значения у причастий II переходных глаголов. Данные авторы видят у причастия II в словосочетании *ein besetzter Platz*, скорее значение настоящего времени, словосочетание же *der vom Lehrer gefragte Schüler* понимают двойко – как "ученик, спрашиваемый учителем", и как "ученик, спрошенный учителем" [Зиндер, Строева–Сокольская 1941: 130]. Подобную же точку зрения развивает Н.В. Арзуманова в своей статье об атрибутивном употреблении причастий в современном немецком языке. Причастия II предельных и нейтральных глаголов, по мнению Н.В. Арзумановой, не обязательно выражают совершенное действие. Данный автор подчеркивает важность контекста для видового значения этих причастий. В качестве примера Н.В. Арзуманова приводит ниже следующие случаи употребления причастий: *Die von uns erzeugte Produktion wird ausgeführt; Die von uns herausgegebene Zeitung heißt "Vorwärts"*. Видовое значение длительности, несовершенности причастия *erzeugt* из первого примера автор противопоставляет значению совершенности этого же причастия в следующем примере: *Die von uns erzeugte Produktion wurde noch einmal geprüft* [Арзуманова 1954: 18–19].

Кроме констатации влияния контекста на видовое значение причастия Н.В. Арзуманова стремится выявить те значения контекста, которые способствуют восприятию видового значения причастий II нейтральных и предельных глаголов как несовершенности, длительности. Автор без достаточных, на наш взгляд, оснований выводит значение причастий II из вневременного плана контекста всего предложения. На это можно бы было возразить, что рассмотрение примеров с глаголом в настоящем времени способствовало трактовке автором временного плана предложения как постоянного. Если же мы заменим настоящее время личного глагола на прошедшее, то значение постоянства действий вышеприведенных предложений утрачивается. (Ср. *Die von uns erzeugte Produktion wurde ausgeführt, Die von uns herausgegebene Zeitung hieß "Vorwärts"*).

Несмотря на имеющиеся недостатки в трактовке Н.В. Арзумановой контекста, а также в понимании связи вида и времени, такой подход к видовому значению причастий с учетом контекста кажется нам весьма плодотворным и дающим исследователю гораздо больше, чем схематическое рассмотрение видового значения причастия без учета контекста, как это имеет место почти во всех диссертациях, посвященных причастиям. У исследователей, посвятивших свои диссертации причастиям, можно было найти лишь отдельные замечания о возможности влияния контекста на видовое значение причастий. Так, И.И. Ревзин [Ревзин 1950: 71, 79]. В.Г. Чуваева [Чуваева 1950: 167] подчеркивают в некоторых местах своих работ зависимость видо-вре-

менного значения от синтаксической функции причастий. В диссертациях О.П. Мартыновой и С.Л. Файнштейн содержится указание на возможность употребления причастий II нейтральных и предельных глаголов с несовершенным значением. В работе О.П. Мартыновой мы имеем только указание на возможность такого употребления причастий II нейтральных глаголов, не подтвержденное ни одним примером [Мартынова 1953: 38–39]. С.Л. Файнштейн же приводит следующий пример в качестве доказательства своего теоретического положения: *Wenn das rote Gespenst von den Konterrevolutionären, beständig heraufbeschworen und gebannt, endlich erscheint, so erscheint es nicht mit anarchistischer Phrygiermutze auf dem Kopfe, sondern in der Uniform der Ordnung, in roten Plumphosen* (К. Марх. "Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte") [Файнштейн 1953: 93–94].

На основании подобных примеров С.Л. Файнштейн пишет, что положение о перфектном значении причастий II предельных глаголов ей представляется чрезмерно категоричным. Мы вполне согласны с мнением С.Л. Файнштейн и считаем, что, видимо, следует объяснить схематичным подходом исследователей тот факт, что в лингвистической литературе последних лет вопрос о видовом значении причастий рассматривается, как правило, как нечто особое по отношению к системе личных форм глаголов. Б.М. Балин, ссылаясь на работы отечественных германистов, говорит о полной независимости видового значения причастий от контекста, об особом положении причастий по отношению к личным формам глаголов [Балин 1955: 54]. Благодаря схематическому подходу к возможности выражения причастиями видовых значений происходит искусственное обеднение системы немецких причастий по сравнению с причастиями русского языка. Так, Е.И. Шендельс в своем учебнике, в разделе "Сравнение с русским языком" пишет: "Форма настоящего времени страдательного залога (*решаемая задача*) не имеет соответствия в немецких причастиях. Она может быть переведена описательным путем: *die Aufgabe, die man löst / die Aufgabe, die gelöst wird / die zu lösende Aufgabe* [Шендельс 1952: 183]. А на с. 266 Е.И. Шендельс приводит пример, который опровергает ее же собственное положение со с. 183. При этом автор дает даже синонимичную форму – придаточное предложение, где личная форма глагола стоит в настоящем времени. Ср.: *Die in diesem Laboratorium angewandte neue Prüfmethode ist von einem sowjetischen Forscher vorgeschlagen worden u Die neue Prüfmethode, die in diesem Laboratorium angewandt wird, ist von einem sowjetischen Forscher vorgeschlagen worden* [Шендельс 1952: 266].

Между тем, примеры, где причастие II предельных и нейтральных глаголов имеет значение несовершенности, длительности, нередко встречаются в немецкой литературе и публицистике: *Zwar liebte er ihn und liebte auch fast schon den entnervenden, sich täglich erneuernden Kampf zwischen einem zähen und stolzen, so oft erprobten Willen und dieser wachsenden Müdigkeit, von der niemand wissen und die das Produkt auf keine Weise, durch kein Anzeichen des Versagens und Laßheit verraten ließ* (Th. Mann. "Der Tod in Venedig"). Сравним несовершенное видовое значение причастия *erprobt* из приведенного выше примера с совершенным видовым значением этого же причастия в следующем предложении: *Die Staatssicherheit verfügt über eine Reihe im Klassenkampf, in ihrer festen Verbundenheit zur Partei erprobter Genossen* ("Neues Deutschland", 1.4.1956); *Ihr nie ganz geschlossener Mund – Briefkastenmund nannten ihn die Jungen aus der Provinzstraße – öffneten sich weit* (F.C. Weiskopf. "Lissy"); *Die Spaltung Deutschlands war die von den Herren am stärksten gefragte Ware und sie hat der Adenauer-Partei das meiste eingebracht, ganz abgesehen von den Prozenten, die sie sich schon vor Jahren von den Aufrüstungsgewinnen sicherte* ("Neues Deutschland", 10.5. 1956).

В качестве общего вывода о состоянии изученности видового значения причастий немецкого языка необходимо отметить следующее:

1) Трактовка видового значения причастий имеет те же недостатки, что и трактовка видового значения личных форм глагола, а именно нечеткое определение сущности видового значения и взаимоотношения вида и времени.

2) При выяснении видового значения причастий не уделяется достаточного внимания семантическому содержанию самих глаголов, от которых образованы причастия, другими словами, иногда остаются без должного внимания значения переходности – непереходности, а в особенности предельности – неопределенности – нейтральности.

3) При выяснении видового значения причастий большинство авторов оставляют без всякого внимания возможность влияния контекста на видовое значение причастий. Между тем, примеры, приводимые отдельными авторами, свидетельствуют о том, что контекст может уточнять не только видовое значение глагола, но и видовое значение причастий.

4) Для современного немецкого языка остается неоспоримым только видовое противопоставление причастия I и причастия II от предельных непереходных глаголов: *der ankommende Zug – der angekommene Zug; der fallende Ball – der gefallene Ball*.

## К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОСТИ

Отечественные германисты подчеркнули отличие видового значения немецких глаголов от видовой категории русских глаголов, состоящее в том, что немецкие глаголы не могут выражать вне контекста преодоленности действием своего внутреннего предела. Например, глагол *kommen* может одинаково означать "приходить" и "прийти", глагол *bringen* – "приносить" и "принести". Отечественные исследователи в отличие от западных германистов правильно поставили вопрос о роли временных форм для зависящего от контекста совершенного или несовершенного значения глагола [Коленько 1951: 3; Роганова 1953; Балин 1955]. Не удивительно, что именно в германистике встал вопрос о различном отношении глаголов русского и немецкого языков к понятию внутреннего предела, о наличии в русском языке глаголов совершенного и несовершенного вида, а в немецком языке глаголов предельных и неопределенных. Правда, и в русском языкознании можно найти такие работы, где подчеркивается, что наряду со значением вида в семантике самого русского глагола может содержаться указание на определенное отношение к понятию предела [Маслов 1948: 303–316]. Но для русского языка при грамматически выраженной категории вида лексическое выражение видовых оттенков не представляет того интереса, какой оно представляет для языков, не обладающих грамматической системой видовых противопоставлений.

Для германистики представляет большой интерес как определение сущности выражения отношения действия к своему внутреннему пределу через семантику глагола, так и принцип классификации глаголов по различным лексическим группам, в зависимости от их отношения к пределу действия. В отличие от зарубежных славистов и германистов, мы под термином аспект понимаем лексически выраженное отношение действия к своему внутреннему пределу, т.е. понимаем его так, как и все отечественные германисты. За рубежом часто понятие аспект приравнивается к нашему термину вид, а лексически выраженное отношение действия к пределу выражается понятием "акционсарт" (*Aktionsart*). Следует обязательно подчеркнуть, что понятия "Aktionsart" и предельность "Aspekt", и "вид" полностью не покрывают один другого. Это связано с тем, что у зарубежных лингвистов отсутствует четкое понимание различия между грамматически выраженным отношением к пределу действия и лексически выраженным отношением к пределу. Тем более понятие "Aktionsart" не соответствует нашему пониманию аспекта в трудах тех лингвистов, которые не делают различия между "Aspekt" и "Aktionsart" (ср., к примеру, классификацию только по акционсартам у В. Штрайтберга). Русисты используют наряду с понятием предельности – неопределенности также термин "способ глагольного действия" как подтип понятия предельности – неопределенности. На уровне взаимоотношения предельность / неопределенность и способ глагольного действия возникает термин "акциональность", впервые употребленный С.-Г. Андерссоном в его монографии [Andersson 1972]; подробнее о несоответ-

ствии терминов в русском и зарубежном языкознании см. диссертацию Л.И. Зильберман [Зильберман 1956: 18–26].

Впервые понятия предельного и непредельного аспекта для германских языков вводят отечественные лингвисты Г.Н. Воронцова, М.Д. Натанзон, Н.В. Гейн [Воронцова 1950–1952; Натанзон 1948; Гейн 1948]. Теорией предельного и непредельного аспектов в отечественном языкознании широко пользуются исследователи глагольных форм германских языков, например, такие, как З.М. Ромм, З.Е. Роганова, Б.М. Балин, В.С. Пачковский, Л.И. Зильберман, И.И. Ревзин, С.П. Мартынова, Н.В. Смирнова, Е.А. Коленько, С.Л. Файнштейн и др. Правда, благодаря вниманию, которое уделялось теории предельности в первых работах, посвященных этой теме, в общем в разработке теории аспектов в германских языках за последние годы чувствуется весьма незначительный прогресс. Так, после Г.Н. Воронцовой, Н.Д. Натанзон, Н.В. Гейн возникла целая школа Б.М. Балина, в публикациях которой можно было встретить более или менее самостоятельный подход к проблеме предельности – непредельности глаголов. Однако следует отметить, что большинство лингвистов принимает на веру целиком и без оговорок разработанную вышеназванными авторами теорию предельности. При этом упускается из виду, что теория предельности – непредельности в ее современном виде имеет ряд неясностей и недоработок.

Начнем с определения сущности понятия "аспекта" германских глаголов. М.Д. Натанзон понимает под аспектом наиболее общую характеристику протекания глагольного действия, содержащуюся в самой семантике глагола [Натанзон 1948: 37–38]. З.М. Ромм внесла в определение аспектов уточнение, различая завершительную и пространственную предельность. Л.И. Зильберман характеризует аспекты как выражение максимальной степени абстрагирования от конкретного значения отдельного глагола, которое возможно в границах лексики [Зильберман 1956: 18]. Приведенные определения являются весьма абстрактными. Как понимать, например, "выражение максимальной степени абстрагирования от конкретного значения глагола" у Зильберман?

Ниже мы постараемся подойти к решению возникающих здесь вопросов.

Поскольку речь идет о лексических группах глаголов, классификация их на основе семантического анализа, проводимая обычно авторами исследований, представляется нам правомерной. При этом нам кажется существенным выделить ряд более мелких смысловых групп глаголов, у которых по-разному может конкретно проявляться отношение к внутреннему пределу и у которых в качестве внутреннего предела могут выступать разные моменты. Вместе с тем, поскольку речь идет о лексических группах, потенциально связанных с определенной грамматической категорией, вряд ли можно довольствоваться только семантическим анализом. Думается, что деление это должно подтверждаться и проверяться определенным формальным критерием, о чем речь и будет идти ниже.

Изложим несколько подробнее наше понимание семантических принципов выделения предельных, непредельных и нейтральных глаголов и характеристики отдельных более мелких групп глаголов, относящихся к ним.

Нам кажется прежде всего необходимым отдельно рассматривать глаголы переходные и непереходные, так как в качестве внутреннего предела у них выступают разные моменты. У непереходных глаголов в качестве предела, как правило, выступает достижение цели движения или состояния (например, у глаголов *kommen*, *sterben*), у переходных глаголов пределом действия является конечный момент действия, связанный с полным охватом прямого объекта действием (*bringen*, *zersetzen*).

У непереходных глаголов значения предельности – непредельности – нейтральности конкретно выявляется следующим образом:



## 1) Предельные переходные глаголы

а) Среди глаголов, относящихся к этой группе, мы должны в первую очередь отметить глаголы направленного движения, т.е. глаголы типа *kommen, aufstehen, emporsteigen*. Среди этих глаголов большинство глаголов приставочные. Многие отечественные лингвисты относят подобные глаголы к предельным. Зарубежные германисты усматривают у большинства таких глаголов перфективное значение. Но следует отметить тот факт, что у некоторых лингвистов глаголы направленного движения попадают в разные группы [Pollak 1920]. Так, в работе Г. Поллака на с. 391 глагол *verfliegen* относится к перфективным, на с. 397 глаголы *weggehen, ausfahren, vorfahren* – к терминативным, которые занимают у Г. Поллака примерно то же место, что у отечественных лингвистов занимают нейтральные глаголы. У О.П. Мартьяновой глагол *aufgehen* также относится к нейтральным глаголам.

б) К предельным переходным глаголам мы также относим глаголы изменения состояния, т.е. глаголы типа *altern, sinken, erstarren, versteinern*. К этим глаголам, особенно бесприставочным, у зарубежных лингвистов особый подход. Многие авторы относят эти глаголы к ингрессивным (начинательным); Г. Поллак [Pollak 1920: 391], О. Бехагель [Behagel 1924: 402] выделяют их в специальную группу мутативных глаголов. Мы считаем, что у глаголов типа *faulen, altern*, отношение к пределу выражено менее ярко, чем у глаголов направленного движения (глаголов типа *kommen*). Но все же мы можем в каждый отдельный момент протекания действия глаголов *altern, faulen, sinken* отметить стремление действия к своему внутреннему пределу. В каждый отдельный момент действие таких глаголов стремится достичь нового состояния, каждое новое состояние приближает субъект действия к конечному пределу действия, к полному его исчерпанию. Лингвисты, рассматривающие глаголы типа *altern* в качестве непредельных глаголов, с одной стороны, отмечают, что основной значения этих глаголов является постоянное изменение, постоянный переход из одного состояния в другое, но, с другой стороны, они не видят качественного характера этого изменения. Мы считаем, что глаголы изменения состояния, т.е. глаголы типа *altern, faulen* выражают предельность действия, но стремление к пределу у этих глаголов выражено менее ярко, чем у глаголов направленного движения.

в) К предельным переходным глаголам следует также отнести глаголы типа *gelingen, misslingen, glücken*. Эти глаголы мы можем охарактеризовать как глаголы удачного или неудачного протекания действия. В отношении предела действия эти глаголы выражают стремление действия к полному (удачному или неудачному) исчерпанию какого-нибудь явления, поступка (субъект действия в таких случаях, как правило, выражается отглагольными существительными). Глаголы этой группы весьма малочисленны.

г) Еще следовало бы выделить небольшую группу переходных глаголов со значением начинательной предельности. К этой группе можно было бы отнести глаголы типа *erhalten, erschallen, ertönen*. Но в отношении этих глаголов следует проявлять осторожность при отнесении их к глаголам предельным, так как глаголы *erhalten, erschallen, ertönen* могут употребляться и со значением непредельных глаголов, со значением просто звучания без ссылки на начало состояния звучания. Здесь мы имеем дело с многозначностью глаголов. С многозначностью же глаголов в некоторой степени связан нейтральный аспект переходных глаголов, к рассмотрению которого мы и переходим.

## 2) Нейтральные переходные глаголы

Нейтральность действия по отношению к своему внутреннему пределу проявляется в том, что, с одной стороны, действие может выражать стремление к достижению предела, с другой стороны, может терять хотя бы малейший намек на этот предел.

Сюда следует отнести такие глаголы ненаправленного движения, как *gehen, laufen, reiten, schwimmen*. Двусмысленность этих глаголов связана с возможностью двойного восприятия значения глаголов *gehen, laufen* и т. п. как действия направленного и как действия ненаправленного. При этом следует подчеркнуть, что значения направленного и ненаправленного действия не следует смешивать с подвидами русского несовершенного вида, а именно со значением определенности (им обладают глаголы *лететь, плыть, ехать*) и значением неопределенности (им обладают глаголы *летать, плавать, ездить*). Вся суть в том, что при русских определенных глаголах мы имеем дело с внешней направленностью действия [*он идет (шел) в город*], а у глаголов типа *gehen* мы имеем дело не с внешним пределом действия, а с внутренним. Так, если мы говорим *Er ging in die Stadt*, то глагол *gehen* не обязательно должен выражать внутреннюю направленность действия, так как это предложение может быть эквивалентно двум предложениям: *Er war unterwegs in die Stadt* и *Er ging in die Stadt hin*. В первом случае мы имеем дело с неопределенным значением глагола *gehen*, несмотря на наличие внешнего предела в виде обстоятельства места, во втором случае с предельным значением, так как предел понимается как нечто, заключенное в семантике самого глагола. Является ли тот или иной непереходный глагол нейтральным или предельным, мы можем определить и вне контекста, взяв глагол, например, в словаре. Но предельное и неопределенное значение нейтрального глагола выявляется только в общем контексте. Так, в следующем отрывке контекст свидетельствует о том, что нейтральный глагол *gehen* выступает с предельным значением: *Ein paar Vögel schwatzten, und das leise Rauschen der Bäume vermischte sich mit dem des Meeres, das sich dort tief unten ausbreitete und in dessen Ferne das Takelwerk eines Schiffes zu sehen war... Tony erkundigte sich: "Kommt der oder geht er"... "Geht! Das ist der, Bürgermeister Steenbock, der nach Rußland fährt"* (Th. Mann. "Buddenbrooks"). Интересно, что в этом же отрывке содержится другой нейтральный глагол (*fahren*), и несмотря на то, что при глаголе *fahren* мы имеем обстоятельство – *nach Rußland*, этот глагол воспринимается как неопределенный, как имеющий значение "auf der Fahrt sein".

Глагол же *gehen* воспринимается как предельный в связи с тем, что действие этого глагола противопоставляется действию предельного глагола *kommen*. Большинство отечественных лингвистов относят глаголы типа *gehen, laufen* к нейтральным. Но в отличие от нашей точки зрения эти исследователи видят в обстоятельствах направления движения внешний предел, способный превратить нейтральный глагол в предельный глагол. В зарубежной лингвистике вопрос отнесения глаголов типа *gehen, laufen* к той или иной семантической группе считается весьма дискуссионным. Так, В. Штрайтберг [Streitberg 1896] не относит глаголы типа *gehen, laufen* ни к перфективным (совершенным), ни к дуративным (несовершенным) глаголам. По мнению Г. Поллака [Pollak 1920: 399–401] глаголы такого типа следует относить к терминативным (как мы уже указывали выше, под терминативностью Г. Поллак понимает нечто сходное с тем, что мы понимаем под нейтральностью). По-разному относятся зарубежные германисты также к вопросу о внешнем и внутреннем ограничении действия глаголов типа *gehen, laufen*. В. Штрайтберг не усматривает в предложениях: *Ich fahre nach Rom, Ich gehe in die Kirche* ничего другого, как "Ich bin auf der Reise nach Rom" и "Ich bin auf dem Wege in die Kirche". В. Штрайтберг подчеркивает, что для него обстоятельства *nach Rom* и *in die Kirche* не означают ничего другого, как направление движения и ни в коем случае не цель действия. Г. Поллак считает, напротив, обстоятельства направления движения одновременно и целью движения. Мы уже выше высказывали свою точку зрения в отношении роли внешнего и внутреннего предела для нейтральных глаголов. Важно еще подчеркнуть, что внутренний пространственный предел может быть особенно четко выражен через приставки, бесприставочные нейтральные глаголы чаще употребляются с неопределенным значением. Таким образом, нейтральные непереходные глаголы, можно сказать, тяготеют по своему обычному употреблению к сфере неопределенных глаголов. Осо-

бенно четко тяготение этих глаголов к неопределённым глаголам проявляется при образовании причастий II. Как известно, от нейтральных непереходных глаголов не образуется атрибутивное причастие II.

### 3) *Неопределённые непереходные глаголы*

Среди глаголов этой группы следует, по нашему мнению, различать глаголы бытия и состояния.

а) К глаголам бытия мы относим глаголы типа *sein, liegen, stehen, sitzen, hängen*, т.е. глаголы, обозначающие наличие, местоположение лица или предмета. Глаголы данной группы однозначны в своем отношении к пределу. Эти глаголы обозначают длительное состояние, не ограниченное никаким пределом. Нам могут возразить, что глаголы этого типа могут в определенном контексте обозначать ограниченность действия, являясь эквивалентами русских совершенных глаголов ограничительного подвида. Так, если мы возьмем предложение: *Er saß eine halbe Stunde, dann ging er weg*, то в русском предложении мы, конечно, будем иметь глагол совершенного вида: "Он посидел полчаса, затем ушел", так как глагол *posidel* связан по своей префиксальной форме с категорией совершенного вида. По своему же категориальному содержанию эта форма как в немецком, так и в русском языке связана не с внутренним качественным ограничением действия, а с внешней границей этого действия. Ведь если вдуматься в фактическое положение вещей, то одно действие не может продолжаться до бесконечности. Если мы и говорим о неограниченном действии, то нужно думать, что эта неограниченность является относительной. Обычно мы не подчеркиваем ограниченность несовершенного действия (в немецком языке неопределённости) какими-нибудь временными рамками. Когда же мы хотим ограничить протекание несовершенного действия каким-нибудь отрезком времени, то в русском языке мы употребляем *posidet, prosidet час, lezhat, prolezhat час, postoyat, prostoyat час*. В немецком языке мы не имеем специальной формы для выражения ограниченного неопределённого действия. Ограниченность действия выводится из всего контекста предложения, а действие так и остается неопределённым. В качестве доказательства неопределённости такого действия мы хотим обратить внимание на тот факт, что действие во всей своей длительности до пресечения его внешней границей времени остается однородным, в качестве действия ничего не изменяется. Следует подчеркнуть, что глаголы бытия, т.е. глаголы типа *stehen, liegen, hängen* наиболее последовательно выражают значение неопределённости.

б) К глаголам физического состояния мы относим глаголы типа *blitzen, glänzen, summen, klingen, schallen*. Глаголы состояния могут иногда выступать во втором своем значении, а именно в значении начинательной предельности. Глаголы типа *klingen, schallen*, обозначающие состояние звучания, могут выступать в определенном контексте синонимами к префиксальным образованиям *erklingen, erschallen* и т.п.

Рассмотрев все непереходные глаголы, мы можем отметить, что среди них есть семантические группы, четко выражающие свое отношение к пределу действия (глаголы направленного действия, например, *kommen*; глаголы удачи, неудачи, например, *gelingen* – для предельного действия; глаголы бытия *sein, stehen* – для неопределённого действия), но часть глаголов (глаголы изменения состояния, например, *altern*, глаголы ненаправленного движения, например, *gehen*) выражают свое аспектное значение менее четко. Глаголы же начинательной предельности (например, *erschallen*) и глаголы состояния (например, *schallen*) выражают довольно нечетко свое отношение к внутреннему пределу и иногда могут употребляться как синонимы.

Среди переходных глаголов мы также можем выделить предельные, нейтральные и неопределённые глаголы. Внутри каждой семантической группы так же, как и

среди непреходных глаголов, мы не можем не заметить более мелкие лексические группы глаголов, при этом у одних глаголов отношение к внутреннему пределу проявляется более четко, у других аспектное значение можно определить с большим трудом. Для переходных глаголов мы можем предложить два критерия для определения аспекта. Первым критерием является значение стремления действия к своему внутреннему пределу. Внутренним пределом переходных глаголов, в отличие от непреходных, является не стремление к внутренней цели движения или к новому состоянию, а стремление к полному исчерпанию действия. Вторым критерием может служить степень охвата действием лица или предмета, являющегося прямым дополнением в предложении. На важность связи глагола с прямым дополнением для определения аспектов немецкого глагола указывали некоторые отечественные и зарубежные лингвисты [Гейн 1948: 208; Jakobsohn 1933: 297–302; Wustmann 1894: 5]. Мы понимаем связь действия со своим прямым объектом как полный или частичный охват действием объекта. При разделении переходных глаголов на предельные, непредельные, нейтральные мы можем проследить взаимодействие упомянутых выше критериев. Так, у предельных глаголов мы имеем стремление действия к своему собственному исчерпанию и одновременно значение полного охвата действием своего прямого дополнения. Предельные переходные глаголы не могут употребляться с дополнением частичности. Нельзя сказать: *Er bringt (brachte) an einem Buch, Er nimmt (nahm) an einem Buch, Er gibt (gab) an einem Buch, Er verläßt (verließ) an dieser Stadt*. Если же мы возьмем нейтральные глаголы, то стремление к внутреннему исчерпанию действия может содержаться в семантике глагола, но это значение может и отсутствовать. Основным критерием нейтральности аспектного значения переходного глагола может служить тот факт, что наряду с полным охватом действием своего объекта возможен также и частичный охват, как это имеет место в следующем ниже примере: *"Die Burschen traten in der Tat recht anmaßend auf", sagte er, fast nicht verständlich, während er an der Virginia zog* (B. Kellemann. "Totentanz").

Основную массу нейтральных глаголов можно употребить с объектом частичности. Так, можно сказать: *Er baut (baute) an einem Haus, Er isst (aß) an einem Fisch, Er trinkt (trank) an einem Glas Bier, Er schleift (schliff) an einem Detail, Er gräbt (grub) an einem Graben* и т.п. Для непредельных переходных глаголов характерно отсутствие стремления действия к своему исчерпанию. Отсутствие значения внутреннего предела у переходных глаголов, полная однородность действия от начала до конца является характерной чертой семантики этих глаголов. В отношении охвата непредельным действием прямого дополнения можно сказать, что этот критерий у непредельных глаголов совпадает с предельными глаголами. С непредельными глаголами, как и с предельными, не употребляются дополнения частичности. Так, нельзя сказать: *Er liebte an seinem Kind, Er erwartete an einen Zug, Er haßte an seinem Feind* и т.п. Возможность употребления с нейтральными глаголами объекта частичности, выраженного предложным дополнением, связана в большой мере с менее ярко выраженной переходностью этих глаголов, с возможностью для большинства нейтральных глаголов употребления без прямого дополнения, т.е. в непреходном значении (например, можно употребить: *Er las viel, er aß viel, er baute viel*). В отличие от нейтральных глаголов предельные глаголы, как правило, не могут употребляться без прямого объекта. В отношении же непредельных глаголов этот критерий оправдывает себя не всегда, т.к. некоторые непредельные глаголы, как и нейтральные, могут употребляться без прямого дополнения (например, можно сказать: *Er liebte, Er haßte*).

Пользуясь приведенными критериями, мы можем определенное количество переходных глаголов распределить по группам предельных, непредельных, нейтральных глаголов. Но мы еще раз хотим подчеркнуть, что среди каждой группы есть глаголы, четко проявляющие свой аспектный характер и глаголы, аспектный характер которых определяется с трудом. Мы вполне согласны с Х. Линдротом, когда он пишет о том, что выработать принципы классификации по аспектам (по терминологии

Х. Линдрота – "Aktionsarten") гораздо легче, чем провести разделение всех без исключения глаголов по аспектным группам.

Рассмотрим более подробно семантический состав предельных, нейтральных и неопределенных переходных глаголов.

### 1) Предельные переходные глаголы

Среди предельных переходных глаголов мы выделяем:

а) глаголы внешнего воздействия (глаголы типа *bringen, nehmen, geben*) и

б) глаголы внутреннего воздействия (под глаголами внутреннего воздействия мы понимаем не только те глаголы, которые вызывают в объекте изменение внутреннего состояния, например, *zerfetzen, vernichten, erfrischen*, но и те глаголы, которые вызывают в объекте изменение внешнего состояния, например *schmücken*). В отличие от глаголов внутреннего воздействия, глаголы внешнего воздействия не оставляют в объекте никаких следов. Так, если мы скажем *Ich nahm ein Buch*, то тем самым мы не подвергаем объект никакому изменению: книга остается в том же состоянии. Можно, конечно, было бы дать глаголам типа *zerfetzen, vernichten, schmücken* наименование типа "глаголы изменения состояния", но чтобы избежать смешения в терминах с глаголами типа *sterben, altern, erstarren*, которые мы уже назвали глаголами изменения состояния, мы наряду с наименованием "глаголы внешнего воздействия" сохраняем наименование "глаголы внутреннего воздействия" (ср. *zerfetzen, vernichten* и др.). У глаголов первой группы предельность проявляется с большей четкостью, чем у глаголов второй группы. В этом отношении мы можем сопоставить группу переходных глаголов внешнего воздействия с группой непереходных глаголов направленного движения (глаголами типа *kommen, aufstehen*), глаголы внутреннего воздействия с глаголами изменения состояния (глаголами типа *sterben, erstarren, altern*). У глаголов типа *zerfetzen, vernichten, erfrischen* при быстром характере протекания действия мы имеем довольно четко выраженную предельность, при длительном – некоторую неопределенность в выражении отношения действия к пределу. При длительном характере действие глаголов типа *zerfetzen, vernichten* вызывает картину более или менее постепенного перехода объекта из одного состояния в другое. При длительном протекании действия глаголов типа *zerfetzen* мы имеем в отдельные моменты дело, можно сказать, с частичным охватом действием своего прямого дополнения.

### 2) Нейтральные переходные глаголы

Среди нейтральных переходных глаголов можно выделить также

а) глаголы внешнего и

б) глаголы внутреннего воздействия.

Глаголы типа *prüfen, revidieren, besprechen* мы относим к глаголам внешнего воздействия. Глаголы же типа *bauen, graben, schleifen* мы рассматриваем как глаголы внутреннего воздействия. Несмотря на важность критерия частичного охвата действием прямого дополнения, можно сказать, что не для всех случаев этот критерий является ведущим. Так, для глаголов внутреннего воздействия, как правило, возможно употребление с объектом частичности (*an einem Haus bauen, an einem Graben graben, an einem Detail schleifen, an einem Stück Papier schneiden*).

Для нейтральных глаголов внешнего воздействия (глаголов типа *lesen, prüfen, revidieren, besprechen*) употребление объекта частичности иногда является затруднительным. Чаще значение частичности выражается не через объект, а через обстоятельство места. Например, можно сказать: *im Buch lesen, im Buch prüfen*. Правда, возможно и употребление *an Kenntnissen prüfen, im Buch revidieren*. Глагол же типа *besprechen* не допускает превращения прямого дополнения в предложное дополнение

ние частичности. (Невозможность употребления предложного дополнения частичности при глаголе *bespochen*, видимо, связано с большой транзитивирующей силой приставки *be-*.) Сравнивая состав семантических групп предельных и нейтральных глаголов, мы можем прийти к выводу, что он имеет много общего. И среди предельных, и среди нейтральных глаголов различаются глаголы внешнего и внутреннего воздействия. Правда, для предельных глаголов действителен критерий стремления действия к своему пределу и полный охват действием прямого дополнения, для нейтральных же глаголов отношение действия к своему внутреннему пределу выступает в недифференцированном виде, основным критерием нейтральности служит возможность восприятия действия как охватывающего только частично свое прямое дополнение. (Здесь можно было бы говорить о интранзитивном употреблении этих глаголов, т.к. при восприятии частичного охвата действием объекта мы имеем вместо прямого дополнения предложное дополнение.) Среди предельных глаголов можно было бы также отметить группу глаголов, где отношение к пределу действия выступает недостаточно четко, а объект действия, если и охватывается этим действием полностью, то не сразу, а постепенно. К таким переходным случаям можно отнести предельные глаголы внутреннего воздействия, в первую очередь беспрефиксальные (типа *brechen*, *reißen*). Вообще, следует подчеркнуть, что среди переходных глаголов нейтральные глаголы обнаруживают больше сходства с предельными, чем с неопределенными глаголами.

### 3) *Неопределенные переходные глаголы*

Неопределенные переходные глаголы (типа *lieben*, *halten*, *tragen*) составляют обособленную от других глаголов и довольно однородную по составу группу. Глаголы этой группы выражают длительное, приближающееся по своему значению к состоянию, действие. Это действие охватывает свой объект полностью, но не выражает никакого отношения к пределу действия. (Конечно, в составе фразеологических сочетаний глаголы типа *tragen*, *halten* могут приобретать значение предельности – например, в составе словосочетания *zur Schau tragen*.)

Среди возвратных глаголов мы также можем обнаружить предельные, неопределенные и нейтральные глаголы. Критерий выделения различных семантических групп, ввиду неоднородности глаголов, понимаемых как возвратные, будет смешанным. Так, предельные глаголы выделяются, главным образом, по принципу выражения изменения состояния, например, глаголы *sich verändern*, *sich entwickeln* (принцип выделения непереходных глаголов), а нейтральные глаголы – по принципу охвата действием своего объекта, например, *sich waschen*, *sich kämмен*, *sich rasieren* (принцип выделения переходных глаголов). Среди неопределенных возвратных глаголов мы различаем глаголы состояния по принципу отсутствия у этих глаголов значения стремления состояния к своей кульминационной точке, к своему внутреннему пределу, например, *sich erholen*, *sich bewegen*, *sich freuen* (принцип выделения непереходных глаголов).

Несмотря на все трудности разграничения глаголов по аспектам, приводящие к тому, что одни и те же глаголы попадают у различных авторов в различные лексические группы, мы считаем, что деление глаголов по лексическому характеру представляет собой необходимую базу для рассмотрения видового значения немецкого глагола. За последнее время поднимаются голоса за частичный или даже полный пересмотр предельности в германских языках. Так, Б.М. Балин считает необходимым делить немецкие глаголы только на предельные и неопределенные глаголы. Л.И. Зильберман также выделяет в своей диссертации фактически только две группы глаголов: предельные и неопределенные. Такая точка зрения объясняется слишком грамматикализованным подходом авторов к значению аспектов, рассматриваемых только в контексте.

Думается, что сомнения в целесообразности и в возможности деления глаголов с точки зрения предельности, высказанные некоторыми лингвистами, в значительной мере объясняются тем, что классификация глаголов по признаку предельности проводится обычно только на основании семантического анализа. Между тем, существует и формальный критерий, подтверждающий деление глаголов по признаку предельности: подобно тому, как деление глаголов на переходные и непереходные находит себе и обоснование, и подтверждение в отношении этих групп глаголов к грамматической категории залога, также и деление глаголов по признаку отношения к пределу действия находит свое обоснование и подтверждение в отношении к грамматической категории вида. Вопрос осложняется тем, что личным формам немецкого глагола противопоставление совершенности – несовершенности несвойственно. Не случайно этому моменту и не было уделено достаточно внимания в первых работах о предельности, где вопрос о предельности поднимался в связи с анализом употребления времен [Воронцова 1950–1952; Натанзон 1948]. Однако такой критерий все же существует и для германских языков, если обратиться к системе причастий. Наиболее отчетливо связь между лексическим характером глагола и категорией вида выступает у причастий непереходных глаголов, где возможность самостоятельного употребления причастия полностью определяется предельным или непредельным характером глагола. Так, например, можно образовать соотносительную пару причастий от предельного непереходного глагола *ankommen*: *der ankommende Mensch – der angekommene Mensch*, но нельзя противопоставить: *der gehende Mensch – der gegangene Mensch*, т.к. причастие II от непредельных и нейтральных глаголов в атрибутивной функции не употребляется. У переходных глаголов картина менее четкая, так как наличие соотносительных форм причастия I и причастия II связано у них в первую очередь с категорией залога. Однако у переходных глаголов, как правило, в системе причастий наблюдается также и четкая видовая дифференциация. Например: *der vernichtende Blick – das (längst) vernichtete Opfer*; *der einladende Hausherr – die (eben) eingeladenen Damen*. Если для залоговой дифференциации основной служит значение переходности, то для видовой дифференциации (правда, менее развитой и менее четкой) основой служит значение предельности. Отечественные германисты, внесшие определенный вклад в разработку этой теории, понимают "аспект" как абстракцию более высокого порядка, чем это есть на самом деле, что приводит к излишней грамматикализации лексического характера протекания действия. Другим существенным недостатком теории предельности мы считаем недостаточную разработанность в ней вопроса о критерии подразделения глаголов на предельные, непредельные, нейтральные. Мы предлагаем считать аспект чисто лексическим понятием, допускающим значительную нечеткость в распределении глаголов по группам, допускающим определенное количество переходных случаев среди предельных, нейтральных и непредельных глаголов. Мы также считаем, что нельзя выдвинуть единого критерия для подразделения на группы всех глаголов. Так, для непереходных глаголов основным критерием для выделения глаголов предельных, непредельных, нейтральных является отношение к цели действия или состоянию. Для переходных глаголов можно наметить два критерия. Первым критерием является отношение к моменту своего полного исчерпания. Вторым критерием является полный или неполный охват действием своего объекта. Второй критерий особенно важен для определения нейтральных глаголов.

При классификации глаголов на предельные, непредельные и нейтральные следует учитывать отношение этих глаголов к видовым противопоставлениям в системе глагола для немецкого языка, в частности в системе причастий. С одной стороны, видовое значение причастий может служить средством формального подтверждения того или иного аспекта глагола. С другой стороны, при исследовании видового значения причастий следует основываться на аспектном значении глагола.

#### 4. Способы глагольного действия (акциональность)

Даже при строгом противопоставлении в рамках аспектуальности совершенного и несовершенного вида в русском языке присутствует широкая система способов глагольного действия, которые зачастую пересекаются с русскими видами и которые придают русской речи особый колорит, иногда трудно переводимый на другие языки. Способами глагольного действия условно называются семантические группировки глаголов, выделенные по признакам: протекания действия во времени (начинательные, ограничительные, финитивные, инхоативные); отношения к достижению результата действия (собственно результативные, завершительные, накопительные, терминативные, распределительные); интенсивности действия; кратности действия (многократности и однократности); уменьшительности, усилительности и смягчительности действия, выражения состояния (статальная группировка). Эти семантические группировки перекрещиваются с видами, вступая с ними во взаимодействие. Например: глаголы начинательного, финитивного и ограничительного способов действия в большинстве своем являются глаголами только совершенного вида; глаголы статального способа действия являются глаголами только несовершенного вида. В то же время многие способы действия допускают наличие видовых пар глаголов, например, начинательные: *занять* – *заневать*; финитивные: *отвести* – *отцветать*. Способы действия могут или выражаться формально, при помощи префиксации и суффиксации, или могут быть формально не выражены. Подробнее см. о способах глагольного действия в русском языке в "Грамматике современного русского литературного языка" [ГСРЛЯ 1970: 346–350] в которой рассмотрено 24 способа действия русского глагола.

В немецком языке мы имеем также проявление способов глагольного действия, акционсартов (Aktionsarten), акциональности (по терминологии С.Г. Андерссона), но представлены они меньшим количеством типов. Согласно исследованию В. Шмидта в немецком языке можно отметить 9 акционсартов (способов глагольного действия). Это эгрессив, ингрессив, результатив, дуратив, инхоатив, мутатив, фреквентатив, каузатив, интензив. К этим девяти способам действиям добавляется десятый – эффектив. Как показало исследование в рамках моей докторской диссертации, это акциональное значение устанавливается у некоторых типов глаголов, например, у глаголов, образованных с помощью наречий – приставок типа *hinaus / heraus*, и орнаментивных глаголов типа *versilbern, vergolden* [Рахманкулова 1974: 248–273].

Способы глагольного действия в немецком языке в большей мере связаны с категорией предельности – неопределенности, чем русские способы глагольного действия, которые все-таки в основном опираются на грамматическое противопоставление совершенный вид – несовершенный вид. Таким образом, эгрессив, ингрессив, результатив, инхоатив, каузатив, интензив, эффектив всегда выражают предельность; дуратив, мутатив, фреквентатив относятся к сфере выражения неопределенности. Элементы систем акциональных отношений в русском и немецком языках входят в строй обоих языков в зависимости от "силы" оппозиции совершенный вид – несовершенный вид, предельность – неопределенность. На фоне видов русского языка способы глагольного действия тяготеют больше к своей лексико-семантической сущности. В немецком же языке способы глагольного действия на фоне предельного и неопределенного аспектов обладают более абстрактным содержанием, чем способы глагольного действия в русском языке.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попытались претворить в жизнь предложение Й.Л. Вайсгербера, заключающееся в том, что, прежде чем иметь право говорить о наличии в немецком языке противопоставлений по виду, аналогичному противопоставлению двух видов (совер-



шенного и несовершенного) в славянских языках надо "перелопатить" (durchstöbern) весь строй (Sprachbau) немецкого языка.

Попытка опереться на крупные авторитеты в области изучения аспектуальности (К. Бругман, Б. Дельбрюк, В. Штрайтберг, А.В. Бондарко и Б.М. Балин) выявила только полную зависимость точек зрения германистов от воззрений аспектологов-славистов. Даже выход в контекст, привлечение параллельных конструкций, расширенного контекста в рамках лингвистики текста (школа Б.М. Балина) не дают положительного ответа относительно наличия вида в немецком языке. Здесь скорее решается вопрос о возможности перевода с русского языка на немецкий в свете теории относительности Сепира–Уорфа.

И все-таки исследователи второй половины прошлого столетия показали, что в немецком языке есть "островки" проявления настоящих видовых противопоставлений. Пока можно отметить два таких небольших раздела в грамматике немецкого языка: это противопоставление причастия I и причастия II от предельных непереходных глаголов: *der ankommende Zug – der angekommene Zug* и употребление инфинитива I и инфинитива II в обороте с *ohne... zu*: *Ohne ein Wort zu sagen, ging er weg; Ohne ein Wort gesagt zu haben, ging er weg.*

В основном, при просмотре большого корпуса примеров (100.000 карточек из картотеки словаря Р. Клаппенбах ) можно было обнаружить только проявление способов глагольного действия (акционсартов): эгрессива, ингрессива, результатава, инхоатива, дуратива, мутатива, фреквентатива, каузатива, интенсива и эффективива. Так, исследования автора показали, что только четыре лексико-семантических группы глаголов, а именно 1) глаголы ориентированного местоположения субъекта в пространстве; 2) глаголы ориентированного перемещения объекта в пространстве; 3) глаголы перемещения субъекта в пространстве (глаголы движения); 4) глаголы абстрактной деятельности дают 152 случая проявления способов глагольного действия. Например, в модели предложения: *Er liegt sich müde* мы имеем значение результатава; *Es setzt Stiche; Es setzt Tote* также значение результатава. А в модели предложения *Er tut dichten* – значение дуратива. В системе моделей предложения, где глагол обладает способностью проявлять какой-нибудь способ глагольного действия, можно сделать даже некоторые гипотетические наметки. Так, наряду с *Er liegt sich müde* возможны употребления *Er sitzt sich müde; Er steht sich müde*, но невозможны *Er hängt sich müde; Er steckt sich müde.*

Если взять еще восемь основных лексико-семантических групп глаголов (глаголы конкретной деятельности, глаголы мыслительной деятельности, глаголы речевой деятельности, глаголы зрительной деятельности, глаголы слуховой деятельности, глаголы проявления чувств и эмоций, глаголы проявления отношений, глаголы передачи предметов и информации), то они могут дать еще 300 моделей предложений, где финитный глагол проявляет один из 10 способов глагольного действия. Причем, следует учитывать, что в рамках структурно-функциональных моделей предложения (СФМП) как правило, проявляются акциональные значения. Возможно, конечно, выражение и других дополнительных значений, например модальных. Однако последние выражаются в рамках СФМП весьма редко. При рассмотрении вышеупомянутых четырех лексико-семантических групп глаголов было обнаружено на 152 случая акционального значения только четыре случая проявления модального значения. Существуют также такие случаи проявления способов глагольного действия, как употребление приставочных глаголов. Так, мы можем сравнить глаголы *bauen* и *erbauen*, когда второй глагол выражает значение результатава. Как известно, в аналитических глагольно-именных словосочетаниях типа *zum Ausdruck bringen, zum Ausdruck kommen* выражаются также акциональные значения. В структурно-функциональных моделях предложения с глаголами, образованными при помощи наречий – приставок типа *heraus / hinaus* проявляется акциональное значение эффективива. Все средства выражения акциональности в немецком языке не носят системного харак-

тера но, выступая в определенном контексте, они все-таки обнаруживают основные оттенки противопоставления по линии совершенности – несовершенности

Таким образом, мы приходим к той точке зрения, что способы глагольного действия в русском языке служат скорее возможности проявления нюансированности лексического значения, а в немецком языке способы глагольного действия (акционсарты) являются базой для контекстуального проявления совершенности – несовершенности через предельность – неопределенность Это вытекает из четкой логики подразделения всех немецких способов глагольного действия на средства выражения предельности и неопределенности

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адмони 1955 – В Г Адмони Введение в синтаксис современного немецкого языка М, 1955  
Аксаков 1855 – К Аксаков О русских глаголах М, 1855  
Арзуманова 1954 – Н В Арзуманова Атибутивное употребление причастий в немецком и русском языках // Труды ВИИЯ М, 1954  
Балин 1955 – Б М Балин О роли словосочетаний и контекста в разграничении способов протекания действия” в современном немецком языке Дис канд филол наук Л, 1955  
Балин 1969 – Б М Балин Соотношение основных понятий аспектологии // Вопросы романо германского языкознания Вып 3 Челябинск, 1969  
Бархударов 1956 – Л С Бархударов Журнал “Иностранные языки в школе” в 1953–1954 гг (Обзор статей по вопросам языкознания) // ВЯ 1956 № 1  
Белостоцкая, Мазурская 1949 – О М Белостоцкая Е И Мазурская Учебник немецкого языка для ВУЗов заочного обучения Ч II М, 1949  
Богородицкий 1935 – В А Богородицкий Общий курс русской грамматики М, Л, 1935  
Бондарко 1971 – А В Бондарко Вид и время русского глагола (Значение и употребление) М, 1971  
Бондарко 1983 – А В Бондарко Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии Л, 1983  
Булаховский 1952 – А А Булаховский Курс русского литературного языка Т 1 Киев, 1952  
Виноградов 1947 – В В Виноградов Русский язык М, Л, 1947  
Воронцова 1950–1952 – Г Н Воронцова Значение перфекта (Present Perfect) в современном английском языке Дис докт филол наук М, 1950–1952  
Востоков 1891 – А Х Востоков Сокращенная русская грамматика М, 1891  
Гадд, Браве 1947 – Н Г Гадд Л Я Браве Грамматика немецкого языка / Под ред акад Щербы М, 1947  
Гейн 1948 – Н В Гейн Функции неотделимых приставок в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1948  
ГРЯ 1953 – Грамматика русского языка Т 1 Фонетика и морфология М, 1953  
Гухман 1955 – М М Гухман Развитие залоговых противопоставлений в древних германских языках и становление системы форм страдательного залога Дис докт филол наук М, 1955  
ГСРЛЯ 1970 – Грамматика современного русского литературного языка Изд АН СССР М, 1970  
Жирмунский 1948 – В М Жирмунский История немецкого языка М, 1948  
Зильберман 1956 – Л И Зильберман Категория предельности и семантика наречных частиц в глагольных образованиях типа *to go out* в современном английском языке Дис канд филол наук М, 1956  
Зиндер, Строева-Сокольская 1941 – Л Р Зиндер, Т В Строева-Сокольская Современный немецкий язык Л, 1941  
Кавецкая 1955 – Р К Кавецкая Категория вида в действительных причастиях // Труды историко-филологического факультета Воронежского государственного университета Т 39 Воронеж, 1955  
Коленько 1951 – Е А Коленько Конструкция *sein* с причастием II в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1951  
Маковский 1955 – М М Маковский Функции и значения глагольного префикса *ga-* в готском языке Дис канд филол наук М, 1955

- Маковский 1959 – *М М Маковский* К проблеме вида в готском языке // Уч зап МГПИИЯ Т XIX М, 1959
- Мартынова 1953 – *О П Мартынова* Место причастия II в грамматической системе современного немецкого языка Дис канд филол наук М, 1953
- Маслов 1948 – *Ю С Маслов* Вид и лексическое значение глагола в современном русском языке // ИАН ОЛЯ 1948, 4
- Маслов 1948 – *Ю С Маслов* Из истории второго причастия германских языков // Язык и мышление XI М, Л, 1948
- Маслов 1955 – *Ю С Маслов* О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке // Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР Вып 15 М, 1955
- Натанзон 1948 – *М Д Натанзон* Относительное употребление времен в современном немецком языке (Употребление плюсквамперфекта) Дис канд филол наук М, 1948
- Натанзон 1950 – *М Д Натанзон* Употребление плюсквамперфекта // ИЯШ 1950 № 3
- Николич 1845 – *Н Николич* Опыт пояснения видов русских глаголов Дерпт, 1845
- Некрасов 1865 – *Н Некрасов* О значении форм русского глагола СПб, 1865
- Павский 1850 – *Г Павский* Филологические наблюдения над составом русского языка Рассуждение третье О глаголе СПб, 1850
- Пачковский 1955 – *В С Пачковский* Проблема взаимосвязи между выражением способов протекания действия и управлением глаголов в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1955
- Потебня 1968 – *А А Потебня* Из записок по русской грамматике Т IV М, 1968
- Размусен 1891 – *Л П Размусен* О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках // Журнал Министерства просвещения СПб, июль 1891
- Рахманкулова 1974 – *И С Рахманкулова* Исследование семантики немецких глаголов в рамках структурно-функциональных моделей предложения Дис докт филол наук М, 1974
- Резвин 1950 – *И В Резвин* Первопричастный оборот и его грамматические и лексические эквиваленты в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1950
- Роганова 1953 – *З Е Роганова* Перевод видовых форм русского языка на немецкий язык Дис канд филол наук М, 1950
- Ромм 1951 – *З М Ромм* Категория вида и семантика глагольных приставок в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1951
- Смирнова 1954 – *Н В Смирнова* Причастия в современном немецком языке (Самостоятельное употребление причастий I и II и возможность перехода слов из категории причастий в состав других частей речи) Дис канд филол наук М, 1954
- СРЯ 1952 – Современный русский язык Морфология (Курс лекций под ред В В Виноградова) М, 1952
- Файнштейн 1953 – *Л С Файнштейн* Обособление имени прилагательного и причастия в немецком языке Дис канд филол наук М, 1953
- Черный 1877 – *Э Черный* Об отношении видов русских глаголов к греческим временам СПб, 1877
- Чуваева 1950 – *В Г Чуваева* Синтаксическая функция причастных оборотов в современном немецком языке Дис канд филол наук М, 1950
- Шафранов 1852 – *С Шафранов* О видах русских глаголов в синтаксическом отношении М, 1852
- Шендельс 1952 – *Е И Шендельс* Грамматика немецкого языка М, 1952
- Эрлих, Тримм, Вольф, Бергман 1949 – *Э Эрлих, А Тримм, Л Вольф, Ф Бергман* Учебник немецкого языка для ВУЗов М, 1949
- Andersson 1972 – *S G Andersson* Aktualität im Deutschen Eine Untersuchung unter Vergleich mit dem russischen Aspektsystem Uppsala, 1972
- Becker 1841 – *K F Becker* Organism der Sprache Frankfurt-am-Main, 1841
- Behagel 1924 – *O Behagel* Deutsche Syntax Bd II Heidelberg, 1924
- Belić 1924 – *A Belić* Zur slavischen Aktionsart // Streitberg Festsgabe Heidelberg, 1924
- Blatz 1896 – *F Blatz* Nhd Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung der deutschen Sprache Bd II Karlsruhe, 1896
- Brugmann 1904 – *K Brugmann* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen Straßburg, 1904
- Delbruck 1897 – *B Delbruck* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen Bd IV Tl II 1897

- Engelin 1902 – *A Engelin* Grammatik der neuhochdeutschen Sprache Berlin, 1902
- Erdmann 1886–1898 – *O Erdmann* Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung Stuttgart, Gotha, 1886–1898
- Gering 1873 – *H Gering* Über den syntaktischen Gebrauch der Participia im Gotischen Dissert I–II Halle / Saale, 1873
- Guerike 1915 – *I Guerike* Die Entwicklung des altdutschen Participiums unter dem Einfluss des Lateinischen Dissertation Königsberg, 1915
- Grimm 1837 – *J Grimm* Deutsche Grammatik Tl IV Göttingen, 1837
- Heinsius 1835 – *Th Heinsius* Teutonisch, oder theoretisch – praktisches Lehrbuch der gesamten deutschen Sprachwissenschaft Teil I Berlin, 1835
- Herbig 1896 – *G Herbig* Aktionsart und Zeitstufe // IF 16 Bd III–IV Hf Straßburg, 1896
- Heyse 1914 – *J Heyse* Deutsche Grammatik oder Lehrbuch der deutschen Sprache Hannover, Leipzig, 1914
- Jakobsohn 1933 – *H Jakobson* Aspektfragen // IF Bd 51 Hf IV 1933
- Koschmieder 1929 – *E Koschmieder* Studium zum slavischen Verbalaspekt // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen Bd 56 1929
- Lehmann 1877 – *A Lehmann* Sprachliche Sünden der Gegenwart Braunschweig, 1877
- Leskien 1914 – *S A Leskien* Grammatik der serbokroatischen Sprache Tl 1 Heidelberg, 1914
- Lindroth 1906 – *Hj Lindroth* Zur Lehre von den Aktionsarten // PBB Bd 31 1906
- Matthias 1914 – *Th Matthias* Sprachleben und Sprachschaden Leipzig, 1914
- Michaelis 1922 – *K Michaelis* Neuhochdeutsche Grammatik Hannover, 1922
- Meyer 1928 – *E A Meyer* Ruhe und Richtung, Aktionsart und Satzen im Neuhochdeutschen Marburg, 1928
- Meyer 1906 – *K Meyer* Zur Syntax des participium praesentis im Althochdeutschen Dissert Magdeburg, 1906
- Meyer 1917 – *K H Meyer* Perfektive, imperfektive und perfektische Aktionsart im Lateinischen // Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 69 Bd 6 Hf 1917
- Miklosich 1879 – *F Miklosich* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen Bd IV Wien, 1879
- Paul 1905 – *H Paul* Die Umschreibung des Perfektums in Deutschen mit *haben* und *sein* // Abhandlungen der I. Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Bd XXII I Abt München, 1905
- Paul 1920 – *H Paul* Deutsche Grammatik Bd IV Halle / Saale, 1920
- Paul, Stolte 1950 – *H Paul H Stolte* Kurze deutsche Grammatik Halle / Saale, 1950
- Pollak 1920 – *H Pollak* Studien zum grammatischen Verbum I Über Aktionsarten // PBB 44 Bd 1907
- Rodenbusch 1907 – *E Rodenbusch* Beiträge zur Geschichte der griechischen Aktionsarten // IF Bd 21 Hf I–II 1907
- Schmidt 1968 – *V Schmidt* Die Streckformen des deutschen Verbums Substantivisch – verbale Wortverbindungen in publizistischen Texten der Jahre 1948 bis 1967 Halle / Saale, 1968
- Spitzbardt 1954 – *H Spitzbardt* Aspekte und Aktionsarten // Für Anglistik und Amerikanistik 1954 № 1
- Streitberg 1891 – *W Streitberg* Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen // PBB Bd XV 1891
- Streitberg 1896 – *W Streitberg* Urgermanische Grammatik Heidelberg, 1896
- Streitberg 1907 – *W Streitberg* Zum gotischen Perfektiv // IF Bd XXI Straßburg, 1907
- Sutterlin 1907 – *L Sutterlin* Die deutsche Sprache der Gegenwart Leipzig, 1907
- Sutterlin 1924 – *L Sutterlin* Neuhochdeutsche Grammatik München, 1924
- Vernalecken 1861 – *Th Vernalecken* Deutsche Syntax Tl I Wien, 1861
- Willmanns 1906 – *W Willmanns* Deutsche Grammatik Abt 3 Straßburg, 1906
- Wunderlich, Reis 1924 – *H Wunderlich H Reis* Der deutsche Satzbau Stuttgart, Berlin, 1924
- Wustmann R. 1894 – *R Wustmann* Verba perfecta namentlich im Heland Leipzig 1894

© 2004 г. А.А. ЛЕВИТСКАЯ

**АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ:  
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗИ,  
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО**

Идея Ю С Маслова [Маслов 1978 22] и А В Бондарко [1983 76–77] о том, что функционально-семантическое поле аспектуальности, по всей видимости, можно считать универсалией, полностью подтверждается на материале осетинского языка. В современном осетинском языке главными компонентами этого поля являются способы действия, категория предельности/непредельности, грамматическая категория глагольного вида и грамматическая категория кратности. В роли ядра функционально-семантического поля аспектуальности в осетинском языке выступают категории глагольного вида и кратности.

Все осетинские глаголы четко дифференцированы по виду либо как глаголы совершенного вида, либо как глаголы несовершенного вида. Существует три ряда глагольных форм, выражающих видовые значения, которые могут быть интегрированы в рамках оппозиции достигнуто/недостигнуто предела действия. Все осетинские глаголы НСВ (бесприставочные в инфинитиве, приставочные глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени и приставочные глаголы с аффиксом *-цæй-*) противопоставляются всем глаголам СВ (приставочным формам в инфинитиве, приставочным глаголам настоящего, будущего и прошедшего времени) по аспектуальному семантическому основанию "направленность действия на достижение предела".

Наибольший с точки зрения общей и сопоставительной аспектологии интерес имеют формы одного и того же глагола, представляющие действие как направленное на достижение предела и достигшее этот предел. Например *æрбатулъын* "прикатить" – *æрбацæйтулъын* "прикатывать", *рацæуын* "выйти" – *рацæйцæуын* "выходить", *фæпырхканын* "разбить" – *фæцæйпырхканын* "разбивать" и др.

Приставочные глаголы с аффиксом *-цæй-* и те же глаголы без этого аффикса противопоставляются как видовые формы одной и той же лексемы, то есть противопоставление их отвечает требованию "эмансипированности от лексических различий" [Маслов 1978 28], выдвигаемому в качестве самого важного критерия при доказательстве видового характера глагольной оппозиции. В такого рода парах мы имеем чисто видовую оппозицию, формообразовательного характера. Однако подобное видовое формообразование возможно лишь в сфере приставочных глаголов предельно-результативной семантики, причем с определенными ограничениями, связанными с аспектуально-акциональной и пространственно-ориентационной семантикой некоторых приставок (*а-*, *ба-*, *ны-*). Большая же часть приставочных и бесприставочных глаголов не имеет видовых коррелятов по семантическому основанию "направленность действия на достижение предела".

Глаголы с аффиксом *-цæй-* выражают либо процессуальный характер действия *intra terminos*, между его начальным и конечным пределом, где-то в "середине" его течения [Маслов 1978 34], либо указывают на недостижимость предела действия вследствие его прерванности. Например, в следующих предложениях глаголы с аффиксом *цæй-* выражают процессу-

альность действия: а) *Салдат йа фадьл арбацэйхаста хэцэнгарз... стай ма ноджыдар дыууа салдаты арбацэйхастой: иу-чемодан, инна – чысылгомау радиоприемник* "Солдат за ним нес оружие,.. и еще два солдата несли: один – чемодан, а другой – небольшой радиоприемник"; *Шэфта рацэйдэхтысты зылды жандармерийа "Шефы возвращались из окружной жандармерии"*; *Йе, лаппу, йе та чысыл лаппу-лаг... ктах сцэйиста уаеамае уаеэласаны гуыффаме, быттондар цамэй сбыра уый тыххай* "Не то мальчик, не то маленького роста паренек заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов..." и др.

Глаголы с аффиксом *-цэй-* обозначают также, как отмечено выше, направленное на достижение предела действие, не реализованное во всей полноте вследствие его прерванности. Значение этого типа глаголов с *-цэй-* близко значению недостижимости предела в формах имперфекта ряда языков, употребленных "в качестве *imperfektum de sonatu*", "имперфекта (безуспешной) попытки" (лат. *dabam* "я давал" в смысле "пытался дать") [Маслов 1978: 16]. Подобная разновидность видового значения определяется в аспектологии как *к о н а т и в н а я* [Бондарко 1971: 27] или *к о н а т и в н о - т е н д е н т и в н а я* [Маслов 1959: 308]. Например: – *Цэй, зынаргэ амбалтта... – рацэйдырдта Иван Федорович аме банцад* "– Что ж, товарищи дорогие... – начал было Иван Федорович и смолк"; *Немыцаг салдат, Валяйы чи бауагта мидаме йа чемоданиме, уый фацэйахста Уляйы йа цонгай фэлае йам чызг бакаст анцад аме анауынон цастангасай* "Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него" и др.

Какое именно из значений – процессуальности или прерванности действия – выражает глагол с *-цэй-*, выявляется в конкретном контексте. Например: *Раззагта фацэйзгьордтой телы тыхтоны рдам, фэлае сө Главан ацахста аме арвыста телын быруйы бацауанма* "Передние побежали было к козлам, опутанным проволокой, но Главан перехватил их и направил в проход в заграждении" – здесь глагол *фацэйзгьордта* обозначает прервавшееся действие. Сравним с другим контекстуальным употреблением этого же глагола: *артыккаг авг куы фехста, уадшй, парчы куы фацэйзгьордта, уадма, Сержка аьдариддар кодта, уйдон инстинктивон аггдауай кодта, аме, аевицаган, йа бон дар нал бауыдаид, цы рцыд, уый аерхуыды канын* "С того момента, как он бросил третью бутылку, и до того момента, как он осознал, что бежит по парку, он все делал инстинктивно и вряд ли мог бы восстановить в памяти, как все это происходило" – здесь тот же глагол *фацэйзгьордта* обозначает процессуальный характер действия.

Как разновидность конативно-тендентивного типа значения могут быть выделены примеры употребления приставочных образований с *-цэй-* с оттенком готового совершиться действия. Например: *Уый фаста ма суагьд кодтой ма феллад суадзыны тыххай, феллад суадзыны фаста андар афсаддон хайма фацэйхаудтан, аз та комендантай ракуыртон, сразы канын ай кодтон, аме мын нахионты эшелоны бынат скодта...* «Потом мне отпуск дали, а после отпуска я попала бы (в осет. букв.: "чуть было не попала") в другую часть, а я упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим...».

Таким образом, глагольные образования с аффиксом *-цэй-* выражают либо конкретно-процессное значение, либо конативно-тендентивное значение; эти значения могут быть интегрированы в единое, более общее, значение недостижимости предела действием, направленным к достижению предела, который в зависимости от лексической семантики приставочного глагола может быть более или менее абстрактным [Авилова 1976: 23–26].

Это значение направленности на достижение предела действия оказывается по-разному представленным приставочным глаголом (как достигнутость предела) и тем же глаголом с *-цэй-* (как недостижимость предела). Фактически мы имеем бинарную оппозицию по семантическому основанию аспектуального содержания, которая носит формообразовательный характер: грамеммы противопоставляются

только по одному аспектуальному признаку. Роль осетинского аффикса *-цæй-* в известной мере напоминает роль русских суффиксов имперфективации *-ива-* / *-ыва-*, *-ва-*, *-а-*. Например: *переписать* // *переписывать*, *опошлить* // *опошлять*, *расцедряться* // *расцедриваться* [РГ-80: 588–590].

Отличительной особенностью осетинского имперфективирующего аффикса является то, что он имперфективирует лишь приставочные глаголы, тогда как с помощью суффиксов имперфективации в русском языке регулярно образуются глаголы несовершенного вида как от префиксальных, так и от бесприставочных глаголов совершенного вида. Кроме того, функциональная нагрузка аффикса *-цæй-* значительно меньше в сравнении с суффиксами имперфективации: известно, что русские имперфективы обозначают как действия конкретно-процессные, так и многократные, поскольку суффиксы имперфективации одновременно являются и показателями многократности [РГ-80: 350–355]. Аффикс *-цæй-* имеет лишь одну функцию – указателя недостижимости предела действия.

Основными частновидовыми значениями, выражаемыми глаголами несовершенного вида в осетинском языке, являются: 1) конкретно-процессуальное; 2) конативно-тендентивное: а) прерванного или б) готового совершиться действия; 3) общефактическое, или обобщенно-фактическое; 4) постоянного отношения.

Для русских глаголов в НСВ, наряду с конкретно-процессным, постоянного отношения и обобщенно-фактическим (во всех их разновидностях) значениях, основным является также значение неограниченной кратности действия. В осетинском языке это значение не является релевантным для семантического потенциала НСВ и связано с действием грамматической категории кратности.

Значение кратности действия выражается конструкцией "глагол + частица *-иу*", которая может быть противопоставлена тому же глаголу без частицы *-иу* как не имеющему значения повторяемости действия, т.е. в осетинском языке возможна оппозиция многократность/однократность действия. Никакого другого дополнительного лексического значения эта оппозиция не имеет. Противопоставление по данному аспектуальному основанию возможно для глагола любого значения: любое действие может быть произведено один раз или несколько раз (в разные периоды времени), следовательно, противопоставление по признаку кратности в принципе не может быть ограничено какими-то семантическими (лексическими) рамками. Аналитический способ выражения [Арутюнова 1956: 89–93; Гухман 1955: 343–359; Жирмунский 1976: 82–124; Смирницкий 1956: 41–52] кратности глагольного действия, исключаяющий сопротивление глагольной лексики по "словообразовательным причинам", способствует неограниченным возможностям для выражения неоднократной повторяемости любого глагольного действия. Конструкция "глагол + частица *-иу*" употребляется "для выражения многократности или обычности во всех временах" [Абаев 1962: 551; Гуриева 1959: 58] и, добавим, наклонениях.

Обязательность, регулярность выражения значения кратности любого глагольного действия при соотношении с ситуацией повторяющегося в разные локально-временные промежутки действия во всех временах и наклонениях с помощью особой конструкции "глагол + частица *-иу*" позволяет говорить о существовании в осетинском языке грамматической аспектуальной категории кратности, выражающейся противопоставлением двух рядов форм: глаголов без частицы *-иу* как выражающих значение однократного характера действия и тех же самых глаголов с частицей *-иу*, указывающих на кратность действия.

Категория кратности принципиально отличается от категории вида. Если категория вида относится к числу субъективно-объективных категорий, "устанавливающих тот угол зрения, под которым рассматривается действительность и ее элементы", то категория кратности является, на наш взгляд, категорией объективной, "по преимуществу отражающей наблюдаемые и преломляемые сознанием человека связи и отношения объективной действительности" [Маслов 1975: 161].

Как известно, "в семантической стороне грамматического строя славянских языков" закрепился тот "взгляд на действие", который отражается в признаке неделимой целостности действия, присущем совершенному виду в отличие от несовершенного" [Бондарко 1973: 14]. Этот признак не релевантен вообще для коммуникации, "не является обязательным для передачи основного смысла высказывания" [Бондарко 1973: 15]. В осетинском языке субъективно-объективной категорией вида устанавливается тот угол зрения, под которым действие рассматривается как достигнутое или недостигшее внутреннего предела развития. Что же касается характера аспектуальной информации, передаваемой категорией кратности, то, как можно убедиться на любом примере, осетинской конструкции с частицей *-иу* всегда соответствует русский эквивалент, выражающий значение повторяемости действия в полном объеме в разные локально-временные периоды через неопределенные промежутки времени, т.е. между языками обнаруживается сходство в языковой интерпретации, в соотношении факта языка с фактом объективной действительности [Холодович 1963: 9]. Такое сходство свидетельствует об объективном характере категории кратности, отражающей кратность действия как объективный факт объективной действительности.

С точки зрения функциональных соответствий можно сказать, что неограниченно-кратному типу употребления русского НСВ (во всех разновидностях) в осетинском соответствует сфера употребления категории кратности. Если в русском языке неограниченно-кратное значение – это одно из основных значений НСВ, то в осетинском языке произошел, так сказать, раздел на сферы влияния в обозначении характера протекания и распределения во времени действия между оппозицией СВ:НСВ и категорией кратности.

Наличие в современном осетинском языке функционально-семантического поля аспектуальности, ядром которого являются грамматическая категория вида и грамматическая категория кратности, заметно отличает осетинский язык от родственных ему иранских языков и сближает со славянскими. В осетиноведении принята точка зрения о близости между славянским (русским) и осетинским глагольным видом, которая, по мнению многих исследователей, основывается на общности функций провербов, способных перфективировать глагол.

В наиболее концентрированном виде теория "превербной перфективности" в осетинском нашла свое отражение в "Скифо-европейских изоглоссах" В.И. Абаева, в очерке "Грамматические изоглоссы. Провербы и перфективность" [Абаев 1965: 51–68]. Основная идея очерка о том, что в осетинском и славянском имется далеко идущая "близость в перфективирующей функции провербов" и что "эта близость лучше всего может быть объяснена как результат ареальных скифо-славянских языковых контактов в Восточной Европе" [Абаев 1965: 68], позднее была повторена автором в еще более категоричной формулировке: "В скифо-европейский период скифо-иранские наречия отделились уже от остального иранского мира, но вступили в длительные контакты с языками тогдашнего европейского круга: славяно-балтийскими, германскими, кельтскими, предком латинского языка, предком тохарских языков. Эти контакты имели ряд языковых последствий. В грамматике перфективирующая роль провербов, которая в древнеиранском только намечалась, стала законом" [Абаев 1977: 8]. По мнению В.И. Абаева, этот закон уже действовал в древнеосетинском языке в период "от второй половины II тыс. до н.э. до первых веков н.э.", а точнее, до гуннского нашествия, т.е. до IV века н.э. [Абаев 1965: 53].

Как было доказано в работах многих аспектологов и, прежде всего, Ю.С. Масло-ва, во всех европейских языках, о которых говорит В.И. Абаев, провербы выступают показателями не перфективности, а предельности.

Что касается русского языка, то, как известно, "только с середины XII века по конец XIV века укрепляется и окончательно формируется значение совершенного вида и происходит осмысление приставок как видообразующего средства в русском языке" [ИГРЯ 1982: 277–278].



Таким образом, совершенно очевидно, что перфективирующая функция глагольных приставок в осетинском языке не могла развиваться как результат скифоевропейских контактов в период с середины II тыс. до н.э. до IV века н.э., к тому же, как подчеркивает [Зализняк 1963: 5], даже в эту эпоху наибольшей близости "прямое взаимопонимание между славянами и скифами было уже практически невозможно" [Зализняк 1963: 21].

Кроме того, чрезвычайно ценную аргументацию в пользу способности превербов уже в древнеосетинском языке маркировать предельность, мы извлекаем из дигорского диалекта осетинского языка.

Расхождения между дигорскими и иронскими языковыми фактами отражают, как известно, глубокие в хронологическом и лингвистическом отношении процессы: "В области фонетики и отчасти морфологии дигорский диалект отражает нормы, переходные от древнеиранских к современным иронским. Иначе говоря, в ряде явлений фонетики и морфологии дигорский и иронский диалекты могут быть рассматриваемы как два последовательных этапа развития одного и того же языка" [Абаев 1949: 360].

Многими исследователями и, прежде всего, В.И. Абаевым установлен целый ряд расхождений между иронским и дигорским диалектами в употреблении превербов, в их значениях, в их функциях.

Расхождения в функционально-семантической нагрузке между иронскими и дигорскими превербами, а также отражение в обоих диалектах постепенного характера процесса превращения бывших древнеиранских предлогов в превербы показывает, что формирование функций превербов и значений приставочных глаголов в целом относится к сравнительно недавнему, "кавказскому", периоду истории осетинского языка. Именно в этот период глагольные префиксы вовлекаются в круг новых обязанностей: при глаголах движения – перемещения они не просто указывают на направление движения в пространстве, но за каждым из них закрепляется значение определенной ориентационной локализации позиции наблюдающего за действием: наблюдатель находится либо в начале, либо в конце действия в позиции внутри, снаружи, внизу, наверху. Новые пространственно-ориентационные значения были в т о р и ч н ы м и по сравнению со способностями осетинских превербов обозначать предельный характер действия. Доказательством тому, что к моменту развития в осетинских префиксах значения пространственной ориентации они уже выполняли роль маркеров предельности, может служить и такой факт, как функционирование в осетинском языке большого числа глагольных образований, подвергшихся опрошению, – об этом языковом явлении писали Цаболов [Цаболов 1957: 321–333], Козырева [Козырева 1951: 10–11], Абаев [Абаев 1965: 63–64].

В результате переразложения основы приставки в таких глаголах не осознаются, хотя исторически выделяются как мертвые, непродуктивные, в отличие от живых, продуктивных. Р.Л. Цаболов выделяет как непродуктивные следующие превербы: *æв-/æф-*; *æм-/æн-/*, *и-*, *ив-*, *у-*, *фæл-*, *фæр-*, *рæ-/ло-/*. Им противостоят живые, продуктивные: *а-*, *æр-*, *æрба-*, *ба-*, *ны-*, *ра-*, *с-*, *фæ-* [Цаболов 1957: 321].

Развивая идею возникновения перфективной функции в осетинских превербах под влиянием скифоевропейских контактов, В.И. Абаев привлекает как аргумент в пользу своей гипотезы и большую группу глагольных образований, подвергшихся опрошению. «Показательно, – пишет В.И. Абаев, – что в этих случаях глагол, несмотря на наличие преверба, не имеет перфективного значения. Чтобы придать такое значение, надо снабдить его еще одним превербом, например: *ныгæнын* "хоронить", здесь мертвый преверб *ны-* (ср. *ба-ныгæнын* "по-хоронить"). О чем это говорит? Конечно, о том, что перфективирующая функция не является для осетинских превербов исконной. Она не унаследована от древнеиранского. В тот относительно древний период, когда в осетинском происходило сращение некоторых превербов с некоторыми глагольными основами, превербы еще не сообщали глаголу перфективного значения, т.е. сохранили еще то положение, которое было в древнеиранском. Таким образом, ...мы получаем решительное подтверждение вторичного характера пер-

фективирующей функции превербов в осетинском... Этот процесс проходил в контакте и взаимодействии со славянскими языками» [Абаев 1965: 64]. В.И. Абаев, несомненно, прав, рассматривая лексикализованные глагольные образования как доказательство вторичного характера перфективирующей функции в современных осетинских превербах. Однако применительно к тому периоду истории осетинского языка, о котором пишет В.И. Абаев, следует говорить, как отмечалось выше, только о предельности, но не о перфективности глагольного действия. И в этом смысле чрезвычайно существенным представляется именно тот факт, что подавляющее большинство лексикализованных форм являются глаголами предельными в абсолютном употреблении, или, реже, глаголами с подвижной границей предельности/непредельности, т.е. в определенных контекстах допускающих представление о действии как о предельном. Например: *авзарын* "выбирать"; *авзидын* "замахиваться", *авзийын* "выпадать" (о волосах); *арвитын* "посылать"; *авзилын* "бросать, выкидывать"; *аргавдын* "резать живое существо".

Приведенные и многие другие примеры опрощенных глагольных образований подтверждают нашу гипотезу о том, что в древнеиранском, а затем и в осетинском языке была развита система маркировки предельного характера действия с помощью превербов. Особый смысл эта гипотеза получает при сопоставлении с таким фактом, как отсутствие сращенного преверба в иронских глаголах, соответствующих более архаичным дигорским глаголам с мертвой приставкой *и-*.

Например:

<b>дигорский</b>		<b>иронский</b>
<i>игурун</i>	"рождаться"	<i>гуырын</i>
<i>игъосун</i>	"слушать"	<i>хъусын</i>
<i>изайун</i>	"расти, оставаться"	<i>зайын</i>
<i>ирайун</i>	"радоваться"	<i>райын</i>
<i>исæрун</i>	"закалять"	<i>сарын</i>
<i>исæфун</i>	"пропадать"	<i>сæфын</i>
<i>исæрдун</i>	"смазывать"	<i>сæрдын</i>
<i>итауын</i>	"расстилать, сеять"	<i>таун</i>
<i>ихалун</i>	"развязывать, портить"	<i>халын</i> и др.

При соединении иронских (бесприставочных) глаголов с живыми, продуктивными, превербами утраченный преверб восстанавливается: *гуырын* "рождаться" *ра-* = *й-* = *-гуырын* "родиться"; *хъусын* "слушать" // *ба-* = *й-* = *ахъусын* "услышать"; *зайын* "оставаться" // *баззайын* "остаться" (где *-з-* из *-й-* через ассимиляцию); *сæрдын* "смазывать" // *байсæрдын*, *райсæрдын* "смазать"; *сæфын* "пропадать" // *æрбайсæфын* "пропасть"; *сарын* "закалять" // *байсарын* "закалить"; *тауын* "сеять" // *байтауын* "посеять"; *райтауын* "расстелить"; *уарын* "раздавать" // *байуарын* "раздать, поделить"; *халын* "разрушать" // *байхалын* "разрушить" и т.д.

Если восстановление утраченного преверба в процессе словообразования отмечается Р.Л. Цаболовым [Цаболов 1957: 328–329] как доказательство "недавности появившейся разницы в употреблении превербов", т.е. недавней утраты иронскими формами мертвых превербов, то для нас этот факт принципиально важен как свидетельство о позднем, сравнительно новом в осетинском языке явлении перфективации с помощью превербов. Этот вывод вытекает из того, что необходимость в маркировке предельности с помощью превербов отпала, на наш взгляд, вследствие развившейся в осетинских глагольных префиксах перфективирующей способности. А поскольку в ряде глаголов утраченный преверб все еще легко восстанавливается, что доказывает недавность процесса утраты осетинскими превербами роли показателей предельности, то и возникновение в них перфективирующей способности тоже следует рассматривать как явление сравнительно недавнего времени. Постепенно, когда категория глагольного вида охватила в осетинском всю глагольную лексику, и категория предельности/непредельности оказалась подчиненной категории вида,

стала, по-видимому, ненужной, а потому утрачивалась и система "маркировки" предельности.

Следы этой постепенной "утраты" еще сохранились в примерах, подобных вышеприведенным.

Аналогичная ситуация имела место и в славянских языках, где "оппозиция предельности/непредельности сохраняется в снятом виде, будучи перекрыта развитием совершенности и несовершенности: старые различия предельных и непредельных глаголов проявляются в том, что предельные глаголы, как правило, могут выступать как в совершенном, так и в несовершенном виде или же в одном совершенном, тогда как непредельные глаголы выступают только в несовершенном виде" [Маслов 1961: 175–176].

Следовательно, данные дигорского, более архаичного диалекта в сравнении с данными иронского диалекта тоже подтверждают, что осетинские глагольные приставки, несомненно, обладали способностью маркировать предельность. Эта особенность осетинского языка как иранского хорошо коррелирует с данными древних и современных иранских языков, подтверждающими использование в этих языках глагольных приставок как показателей предельного характера действия. Так, например, Д.И. Эдельман [Эдельман 1975: 347] подчеркивает, что "древнеиранский располагал довольно богатой системой предлогов-превербов, уточнявших протекание действия в пространственном, временном отношении, а также указывавших на предельность действия". Аналогичное утверждение находим у Г. Райхельта [Райхельт 1978: 302]. А. Мейе отмечал [Мейе 1931: 132], что в древнеперсидском "формы, снабженные превербами, служили для указания на действие, достигшее предела, завершения". Е.Е. Арманд приводит 16 древнеперсидских глаголов с приставками *ava-* и *ni-*. Все анализируемые в статье глагольные значения – предельной семантики [Арманд 2000: 209–213]. На эту же особенность глагольных приставок в древних индоевропейских языках обращает внимание и Ю.С. Маслов: "Ряд глагольных образований с маркированным значением предельности и непредельности был отмечен в древних индоевропейских языках и восстанавливается для индоевропейского праязыка в работах Дельбрюка, Вандриеса, Шантрена, Мейе и других лингвистов" [Маслов 1962: 16].

Как считают специалисты, "в эпоху существования древнеперсидского и древнеосетинского (скифского) языков, т.е. примерно в середине I тыс. до н.э., различия между ними были еще очень невелики, эти языки еще очень недалеко отошли от общеиранского состояния, являясь, по существу, близко родственными диалектами общеиранского" [Оранский 1973: 83–84].

Следовательно, можно предполагать, что и в скифском языке превербы соответствующей семантики могли выступать в роли показателей предельности. Интересно, что даже те немногочисленные примеры приставочных глаголов, которые имеют "паспорт" скифских, могут служить подтверждением нашему предположению: *a-raz* "направлять, устраивать" [Абаев 1949: 154]; *a-rga* (из *a-gra*) "благословлять" [там же: 154]; *a-may* "строить" [там же: 153]; *para-data* (*da-* "устанавливать" + приставка *para-*) "назначенный, предустановленный" [там же: 175]; *fra-xvay* "пронзать" [Абаев 1979: 347]; *fal-dar* "сокрушать" [там же].

Таким образом, у нас нет оснований сомневаться в том, что к началу кавказского этапа истории осетинского языка его отличала хорошо развитая система маркировки предельности глагольного действия с помощью приставок. Эту особенность осетинских превербов можно рассматривать как генетически унаследованную из индоевропейской общности.

В современном осетинском языке превербы, сочетаясь с глаголами определенных лексико-семантических групп и, прежде всего, с глаголами движения–перемещения, "выражают не только направление передвижения абстрактно в пространстве, но и положение наблюдающего субъекта по отношению к движущемуся предмету" [Абаев 1949: 107].

*a* – движение наружу, с позиции наблюдателя внутри;  
*pa* – движение наружу, с позиции наблюдателя снаружи;  
*ба* – движение внутрь, с позиции наблюдателя снаружи;  
*арба* – движение внутрь, с позиции наблюдателя внутри;  
*ны* – движение вниз, с позиции наблюдателя наверху;  
*ар* – движение вниз, с позиции наблюдателя внизу;  
*c* – движение вверх как с точки зрения находящегося внизу, так и с точки зрения находящегося наверху.

Например:

<i>Касын</i>	<i>ба-касын</i> "заглянуть внутрь" (с позиции наблюдателя снаружи)
"смотреть",	<i>арба-касын</i> "заглянуть внутрь" (с позиции наблюдателя внутри)
"глядеть"	<i>ны-касын</i> "глянуть вниз" (с позиции наблюдателя сверху)
	<i>pa-касын</i> "выглянуть изнутри наружу" (с позиции наблюдателя "снаружи")
	<i>скасын</i> "взглянуть наверх" (безотносительно позиции наблюдателя).

Отличительной особенностью пространственных значений осетинских превербов является сема ориентации наблюдателя. "Ориентацией называется грамматическая категория, показывающая позицию говорящего, обозначенную глаголом действия по отношению к направлению" [Шанидзе 1955: 143]. Этот элемент значения в осетинских, иранских по происхождению, глагольных префиксах расценивается В.И. Абаевым как субстратный, кавказский, развившийся в осетинских аффиксах в иберийско-кавказском окружении [Абаев 1949: 106–107].

Как известно, в иберийско-кавказских языках функционируют превербы как направления, так и ориентации, в разных языках развитые в разной степени [Ахвледиани 1960: 179–184; Кумахов 1964: 164–165, 190–199; Хайдаков 1975: 19–29; Тарланов 1977: 93; ГКЧЛЯ 1970: 168–181; Дешериева 1979: 111].

"Не менее двух тысяч лет аланы-осетины являются народом кавказским и находятся в тесных отношениях и взаимодействии с народами коренного кавказского этнического круга, поэтому хорошо понятно происхождение локальной семантики в глагольных префиксах осетинского языка, – той особой семантики, которая составляет его специфику сравнительно с индоевропейскими глагольными префиксами" [Абаев 1949: 76, 107].

Таким образом, ареальные связи осетинского языка в иберийско-кавказском окружении на протяжении достаточно длительного отрезка времени (не менее двух тысяч лет) позволили развить в глагольных приставках пространственно-ориентационные значения, не столь разнообразные как в дагестанских языках или грузинском, но достаточные для того, чтобы стать вторым важнейшим условием для формирования видовых значений, категории вида в осетинском языке.

Напомним, как складывался вид в русском языке. Как известно, доминантой начального этапа развития категории вида в русском языке было формальное и семантическое развитие несовершенного вида. В праславянском, в древнерусском для грамматического «разграничения двух семантических возможностей, двух значений, выразившихся ранее одной формой: "процессной направленности" на достижение результата, предела (быть в процессе собирания и т.п.) и самого его реального достижения (*собрать*)... используется имеющаяся в наличии модель, прямой задачей которой было выражение неопределенности и многократности предельного действия. Во вторых членах "пар" *из-носить / из-нести; вы-носить / вы-нести; прилетети / прилетати; пасти / падати* и т.д. наряду с их прежними неопределенно-многократным значением развивается процессное. Эти пары или некоторые их типы (в первую очередь, тип *прилетети / прилетати*) дают модели для образования к существующим предельным глаголам вроде *сбьрати* производных основ процессного и неопределенно-многократного значения.

Неопределенность и многократность выступают как способ представления процессного значения, как его внутренняя форма, его "этимон". Такое образование, как

*вынести*, кроме значения "несколько раз вынести" и получает значение "начать вынесение, но не закончить его, быть в процессе вынесения". И таким же образом возникающее в этот момент *собирает*, которое буквально должно было бы значить только "какое-то количество раз соберет", получает значение "начал, но еще не кончил собирание, находится в процессе собирания, занят собиранием". Эти возникающие по аналогии формы типа *собирает* являются уже с самого начала, так сказать, формами несовершенного вида. Их возникновение было началом рождения несовершенного вида и, тем самым, вообще вида в собственном или узком смысле слова» [Маслов 1961: 190–191].

Как неоднократно подчеркивал А.В. Бондарко, в формировании русского несовершенного вида исключительная роль принадлежала семантическому и формальному развитию значения процессности. В свою очередь, "важнейшим контекстуальным и ситуативным условием реализации функции процессности является признак перцептивности: "Процессное действие – это действие, воспринимаемое в процессе его протекания, действие наблюдаемое (или воспринимаемое на слух, осязаемое и т.д.). Признак перцептивности реализуется и конкретизируется в обозначении момента фиксации процесса, наблюдателя (воспринимающего субъекта) и места протекания воспринимаемого процесса (в определенном отношении к позиции восприятия) [Бондарко 1980: 14]. При реализации признака перцептивности очень важно, как соотносятся сема "место наблюдения" с семой "место протекания действия" [Бондарко 1983: 133].

В осетинских глаголах предельно-результативной семантики с приставками *ра-*, *арба-*, *ар-*, *с-*, *фа-* обнаруживаем именно такое соотношение названных сем "позиции наблюдателя" и "пространственного направления действия", которое позволяет обозначить процессность действия, не противоречит признаку перцептивности, поскольку локальная ориентация наблюдателя и пространственное направление действия совпадают, соответствуют:

- ра-* – движение наружу и наблюдатель снаружи;
- арба-* – движение внутрь и наблюдатель внутри;
- ар-* – движение вниз и наблюдатель внизу;
- с-* – движение вверх (безотносительно позиции наблюдателя);
- фа-* – движение в любом направлении (безотносительно локализации наблюдателя).

Приведем сравнительный анализ пространственно-ориентационных значений других приставок:

- а-* – движение наружу, а наблюдатель внутри;
- ба-* – движение внутрь, а наблюдатель снаружи;
- ны-* – движение вниз, а наблюдатель наверху.

Как видим, момент фиксации процесса, воспринимаемого наблюдателем, не может быть выражен в этих приставочных образованиях в силу их локальной семантики, а точнее, в силу несоответствия локальной ориентации наблюдателя тому пространственному направлению действия, которое обозначается данными приставками.

Развитие и стабилизация в приставочных глаголах определенных лексико-семантических групп и, прежде всего, в глаголах движения–перемещения с приставками *ра-*, *арба-*, *ар-*, *с-*, *фа-* пространственно-ориентационных значений, позволяющих "перцептировать" (воспринимать) процесс, в сочетании со значением предельности, обеспечило семантическую возможность для формального выражения значения процессности и значения достигнутого предела в глаголах результативно-предельной семантики.

К сожалению, мы не располагаем никакими памятниками письменности древнеосетинского языка, по которым можно бы проследить в какой-то мере развитие этого процесса. Единственный источник, отражающий более древнее, в сравнении с современным осетинским языком, состояние, – это дигорский диалект. Данные дигорского диалекта, в котором также функционируют глагольные образования с -

*цай-*, показывают, что этот аффикс не обязательно придает глаголу значение процессуальности, недостижимости предела. «Дигорский... часто не дает заметного отличия от форм без *-цай-* глагольных образований с этим аффиксом. *Рацаййивгъудай ма дога* "ушло мое время"; *ниццаййкалдай ма маеуг* "рухнула моя башня". Вместо *рацаййивгъудай* "ушло" и *ниццаййкалдай* "рухнула" здесь можно было бы сказать также *райивгъудай* "ушло" и *никкалдай* "рухнула", так как речь идет о вполне завершившихся действиях» [Абаев 1949: 419].

Приведенные данные позволяют, во-первых, отметить незаконченность процесса становления в дигорских глагольных образованиях с *цай-* значения недостижимости предела, а во-вторых, эти данные в какой-то степени отражают тот период в истории осетинского языка, когда бывшее значение уже выхолостилось в глагольных образованиях с *цай-*, а новое, аспектуальное, еще не стабилизировалось.

Со временем на основе значения конкретной процессуальности в глагольных образованиях с *-цай-* развивается более абстрактное значение недостижимости предела действия, т.е. значение, свойственное современным формам НСВ, выраженным глаголами с *-цай-*.

В противоположность аспектуальной семантике глагольных образований с *-цай-* в их производящих, в приставочных глаголах, актуализируется, все более осмысливается как свойственное именно этим формам значение достигнутого, реализуемого внутреннего предела действия – предела, ограниченного качественно, т.е. направленного на достижение предела, свойственного данному действию по его природе (сфера предельно-результативных глаголов), и предела, ограниченного количественным проявлением действия (предельно-количественные глаголы). Следующий шаг в развитии осетинского вида состоит: 1) в осмыслении приставочных образований, имевших производную форму с *-цай-*, как указывающих на достигнутое внутреннее абстрактное предела действия, и, следовательно, 2) в осмыслении приставок как видообразующего средства.

Только со стабилизацией противопоставления приставочного глагола и его производного с аффиксом *-цай-* в качестве видовой оппозиции по семантическому основанию "направленность на достижение предела", реализуемого как "достигнутость/недостигнутость предела", было возможно окончательное осмысление приставок в качестве видообразующего средства, а затем – соотношение бесприставочных (производящих) и приставочных (производных) глаголов как разных по виду и поляризация бесприставочных (производящих) как НСВ и приставочных (производных) как СВ.

Процесс превращения приставочных глаголов в глаголы совершенного вида носил, очевидно, постепенный характер и охватил не все приставочные способы действия сразу. Более того, и в современном осетинском языке существует группа приставочных глаголов, которые следует рассматривать как недифференцированные по виду. Речь идет о большой группе приставочных образований с превербом *-фа-*.

Поскольку в зону видовых значений вовлекались, как это можно предполагать, исходя из свойственных многим языкам общих закономерностей в развитии видовых противопоставлений, прежде всего глаголы предельной семантики, то отвечавшие этому требованию обязательной семантической предельности опрошенные (не осознаваемые как приставочные) глагольные образования использовались для выражения видовых значений самым активным способом.

С развитием и стабилизацией видовой категории, когда "видовая корреляция одерживает верх над корреляцией действий детерминированных и индетерминированных, детерминированные основы получают известное предрасположение к перфективному употреблению" [Ван-Вейк 1962: 252], категория предельности/непредельности оказывается скрытой, подчиненной категории вида, "проявляет себя косвенно во взаимодействии с другими категориями и через это взаимодействие" [Маслов 1962: 16–19], отпадает необходимость "в прямом и непосредственном грамматическом ее выражении" [Там же].

Напомним в этой связи еще раз о ситуации со сращенными в дигорском диалекте "старыми" провербами, которых уже нет в иронских формах, но они восстанавливаются в процессе приставочного словообразования. Эта ситуация сохраняет четкие следы постепенного подчинения категории предельности/непредельности категории вида, следы постепенной утраты потребности в маркировке с помощью провербов предельного характера действия, поскольку категория глагольного вида со временем охватила всю осетинскую глагольную лексику.

Наша гипотеза о том, что возникновение категории глагольного вида в осетинском языке стало возможным с развитием категории пространственной ориентации и формирование видовых значений в осетинском началось в кругу приставочных глаголов движения–перемещения в результате взаимодействия аспектуальных (предельность) и пространственно–ориентационных значений, очень важно, как нам кажется, с историко-типологической точки зрения. Как неоднократно отмечалось многими авторами, необходимость выражения имперфективного значения возникла в кругу приставочных глаголов, которые в позднем праславянском языке, равно как и в предписьменную эпоху развития древнерусского языка, составляли самую многочисленную группу глагольной лексики. Первоначально именно она была достаточно отчетливо дифференцирована по категориям определенности/неопределенности и предельности/непредельности, на стыке которых и началось формирование видовых значений. Поэтому развитие категории имперфективности шло главным образом в этой сфере [ИГРЯ 1982: 163].

Таким образом, и в русском (славянском) языке, и в осетинском (иранском) языке сходные лингвистические предпосылки явились базой для развития в обоих языках грамматической категории глагольного вида. Если в древнерусском языке «самая высокая и очевидная стелень перфективации... представлена приставочными образованиями определенных глаголов движения типа "нести"» [Ружичка 1962: 313], то, очевидно, и в древнеосетинском языке была сходная ситуация.

Приставочные глаголы являлись в древнейший период исторического развития глагольного вида в осетинском языке, так же, как и в русском, глаголами, недифференцированными по виду. Осмысление приставок как видообразующего средства, сообщающего глагольной основе значение совершенного вида, происходило постепенно, на протяжении длительного времени, в связи со стабилизацией значения совершенного вида в приставочных глагольных образованиях. Самым поздним этапом в истории развития видовых отношений в осетинском, так же, как и в русском, следует считать процесс поляризации производящих бесприставочных и производных глаголов. Он имел вторичный характер, так как мог начаться только после стабилизации сферы совершенного вида и закрепления за провербами видообразующей функции.

Отражением того, что процесс осмысления приставочных глаголов как глаголов СВ и приставок как видообразующего средства был длительным, охватил не все языковые формы сразу, служит, в известной мере, группа приставочных глаголов с префиксом *фæ-*, не дифференцированных по виду, так как по ряду причин эта группа оказалась на периферии формировавшейся категории вида.

Выбор в качестве имперфективного члена разных моделей в каждом из рассматриваемых языков существенно повлиял на окончательное формирование категориальных значений НСВ и СВ в русском и в осетинском языках и во многом определил то различие между ними на уровне категориальных значений, которое их отличает на современном этапе.

В древнеосетинском языке глагольные образования с аффиксом *-цæй-* сразу, с самого начала их привлечения к выполнению аспектуальной функциональной нагрузки, выступают в строго однозначном плане: выражают только процессуальное значение. Для выражения значений, соответствующих функционированию русского неограниченно-кратного значения НСВ (во многих его разновидностях), в осетинском языке используется аналитическая конструкция "глагол + частица *-иу*".

Выражение политемпоральной кратности действия с помощью конструкции "глагол + частица -иу" – явление сравнительно позднего в истории осетинского языка времени. Об этом свидетельствуют данные дигорского диалекта, где многократность может быть выражена формами сослагательного наклонения, как в сочетании с частицей -иу, так и без нее [Абаев 1949: 360]. Присоединение частицы -иу к глаголу в повелительном наклонении может выражать и будущее время, и многократность [Абаев 1949: 589]. Какое конкретное значение имеется в виду, выясняется только благодаря контексту, т.е. "один и тот же компонент в условиях различного рода соединений выполняет практически как бы различные функции, образует разные соединения и приписывает форме полного глагола различные категории" [Гухман 1955: 343]. Это обстоятельство является фактором, указывающим на неокончательную грамматикализацию конструкции "глагол + частица -иу" и, следовательно, подтверждением сравнительно недавнего времени возникновения категории кратности в осетинском языке.

Важно отметить, что первым важнейшим фактором возникновения вида в осетинском языке явилась развитая предком осетинского языка способность обозначать предельный характер глагольного действия с помощью приставок (именно этот фактор мы определяем как генетическую предпосылку в осетинском языке). Вторым важнейшим фактором стало развитие в кавказский период "биографии" осетинского языка пространственно-ориентационных значений в превербах (это элемент кавказского субстрата в осетинском языке, это результат ареальных связей), и, наконец, типологическое сходство обнаруживается между русским (славянским) и осетинским (иранским) языками в строении и содержании функционально-семантического поля аспектуальности в результате реализации в этих языках сходных лингвистических предпосылок. Семантической базой грамматического противопоставления СВ/НСВ в обоих языках является универсальный признак ограниченности/неограниченности развития действия во времени, однако конкретное отражение этого признака в семантической стороне грамматического строя сопоставляемых языков различно: в русском языке он выступает как обязательное указание на целостность/нецелостность действия, а в осетинском языке – на достигнутость/недостигнутость предела.

Использование в древнерусском языке для разграничения значений "процессной направленности" на достижение предела действия и самого его реального достижения итеративов в качестве модели, прямой задачей которой ранее было выражение неопределенности и многократности предельного действия, обусловило в дальнейшем развитие в русских глаголах НСВ наряду с конкретно-процессным значением как основным значением НСВ и значения неограниченной кратности действия.

В осетинском же языке основные значения видовых форм вырабатывались под влиянием других факторов, что, в свою очередь, привело к формированию в осетинском языке, кроме категории вида, аспектуальной категории кратности, составляющей вместе с категорией вида ядро функционально-семантического поля аспектуальности, на периферии которого находятся способы действия и лексические средства обозначения характера протекания и распределения во времени действия.

Сопоставляемые языки при очевидном типологическом сходстве заметно отличаются не только разным сочетанием универсальных и идиоэтнических аспектуально-акциональных компонентов в способах действия, не только объемами и содержанием семантических потенциалов видовых значений, но и тем, как взаимодействуют в каждом из этих языков средства ядра и периферии при отражении одной и той же ситуации объективной действительности.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1949 – В И Абаев Осетинский язык и фольклор. Т I М ; Л., 1949  
Абаев 1962 – В И Абаев Грамматический очерк осетинского языка // Осетино-русский словарь. 2-е изд. Орджоникидзе, 1962.



- Абаев 1965 – В И Абаев Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965.
- Абаев 1977 – В И Абаев Значение ареальных контактов в истории языка // Материалы пятой региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Орджоникидзе, 1977.
- Абаев 1979 – В И Абаев Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания Древнеиранские языки. М., 1979.
- Авилова 1976 – Н С Авиллова Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976
- Арманд 2000 – Е Е Арманд Соотношение превербов *ana-* и *ni-* в древнеперсидском языке // Василию Ивановичу Абаеву 100 лет. Сборник статей по иранистике, общему языкознанию, евразийским культурам. М., 2000.
- Арутюнова 1965 – Н Д Арутюнова О критерии выделения аналитических форм // Аналитические конструкции в языках различных типов. М.; Л., 1965.
- Бондарко 1971 – А В Бондарко Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
- Бондарко 1973 – А В Бондарко О некоторых аспектах функционального анализа грамматических явлений // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973.
- Бондарко 1980 – А В Бондарко Об уровнях описания грамматических единиц (На примере анализа функций глагольного вида в русском языке) // Функциональный анализ грамматических единиц Л., 1980.
- Бондарко 1983 – А В Бондарко Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
- Ван-Вейк 1962 – Н О Ван-Вейк О происхождении видов славянского глагола // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- ГКЧЛЯ 1970 – Грамматика кабардинско-черкесского литературного языка. Нальчик, 1970.
- Гуриева 1959 – М А Гуриева О словообразовательной функции глагольных префиксов // Известия Сев.-Осетинского научно-исследов. ин-та. Орджоникидзе, 1959.
- Гухман 1955 – М М Гухман Глагольные аналитические конструкции // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
- Жирмунский 1976 – В И Жирмунский Об аналитических конструкциях // Общее и германское языкознание. М., 1976.
- Исаев 1966 – М И Исаев Дигорский диалект осетинского языка. Фонетика Морфология. М., 1966
- ИГРЯ 1982 – Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
- Козырева 1954 – Т З Козырева Глагольные приставки и их основные функции в осетинском языке // Известия Сев.-Осет. научно-исследов. ин-та. Орджоникидзе, 1954.
- Маслов 1959 – Ю С Маслов Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
- Маслов 1961 – Ю С Маслов Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961.
- Маслов 1962 – Ю С Маслов Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании // Вопросы общего языкознания. Л., 1962.
- Маслов 1975 – Ю С Маслов Введение в языкознание. М., 1975.
- Маслов 1978 – Ю С Маслов К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
- Оранский 1979 – И М Оранский Вопросы историко-типологической классификации иранских языков // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
- РГ-80 – Русская грамматика. М., 1980.
- Ружичка 1962 – Р Ружичка Глагольный вид в "Повести Временных лет" // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Смирницкий 1953 – А И Смирницкий Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках // Ин. яз. в шк. 1953. № 2.
- Цаболов 1957 – Р Л Цаболов К истории осетинских превербов // Известия Сев.-Осет. науч.-исслед. ин-та. Орджоникидзе, 1957. Т. XIX.
- Эдельман 1975 – Д И Эдельман Категория времени и вида иранских языков. Т. II. Эволюция грамматических категорий. М., 1975.

© 2004 г. А.Б. ПЕНЬКОВСКИЙ

**О РАЗВИТИИ СКРЫТЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА**

(от Пушкина до наших дней)\*

**Категория масштаба: 1. захолустье; 2. скитаться**

Как было показано в работе [Пеньковский 2002], в русском литературном языке на протяжении последних полутора столетий формируется (в сущности уже сформировалась!) скрытая "Категория масштаба", обнаруживающая себя в о с л о ж н е н и и центра или периферии семантической структуры слова д о п о л н и т е л ь н ы м (дифференциальным или интегральным) п р и з н а к о м 'Большое – Малое' (во всех его параметрических вариантах). Так, имена *жилец* и *житель* (ср. также *жилица* и *жительница*), общее значение которых 'обитатель – обитательница', для современного языкового сознания противопоставлены по признаку "масштаба места обитания": "малый масштаб" (ММ) – "большой масштаб" (БМ): *жилец / жилица* (квартиры, дома, пещеры... – ММ) – *житель / жительница* (города, сельской местности, Европы, земли... – БМ). В пушкинскую эпоху этого противопоставления еще не существовало. Имена *жилец / жилица* и *житель / жительница* были тогда абсолютными эквивалентами как в их прямом, так и в переносных значениях и в разного рода перифразах. Ср.: "Ищу стихий других, земли *жилец* усталый; / Приветствую тебя, свободный океан" (А.С. Пушкин. "Завидую тебе, питомец моря смелый...". 1823 г.) и "В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась *тесная каморка* с одним окошечком <...> ...Пленный танцмейстер, уединенный *ее житель*, <...>, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши..." (А.С. Пушкин. Арап Петра Великого. VI. 1827 г.). Память об этом уже изжитом состоянии сохраняется сегодня только в фразеологическом *не жилец (на белом свете)*<sup>1</sup>.

Именно такова – без з а к р е п л е н н о г о "масштабного" компонента! – семантическая структура образующих антонимические пары слов с корнями *-част-* и *-ред(-к)-*, свободно употребляющиеся в ММ и БМ-контекстах с пространственным (П) и временным (В) значением. Ср. *частый гребень, гребень с часто расположенными зубьями* – (ММП); *частые звезды, звезды, часто усеявшие небо* – (БМП); *частое сердцебиенье, сердце билось часто и неровно* – (ММВ); *частые сердцебиенья, часто повторяющиеся сердцебиенья* – (БМВ); *частый дождь, капли дождя падали часто* – (ММПВ); *частые остановки поезда, поезд часто останавливался* – (БМПВ) (см. об этом в [Пеньковский 1991]). Это, однако, лишь пережиток прежнего до- и безмасштабного состояния, из которого, закрепившись за ММ- или БМ-контекстами и вобрав в себя соответствующее специализированное "масштабное" значение, уже полностью вышла значительная группа русской лексики со всеми ее частеречными подразделениями.

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ (гранты 01-04-00-201-а и 01-04-00-132-а).

<sup>1</sup> Ср. также устаревшее *не жилица*: "Очень мы плакали, расставаясь: я чувствовала, что нам больше не суждено было видеться в этой жизни. Она тоже предчувствовала, что не долго живет, и говорила мне это. Я, конечно, ее утешала, звала в Москву, а сама видела, что при ее слабости и болях она *не жилица*..." (Д.Д. Благово. Рассказы бабушки. 15. IX. 1850-е гг.).

Сегодня мы уже не можем назвать свертком ни свернутый клочок бумаги ("Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: – Кому угодно будет вынуть тему? <...> вдруг заметил он в стороне подымающуюся ручку в белой маленькой перчатке <...> Она встала безо всякого смущения и со всевозможной простотою опустила в урну аристократическую ручку и *вынула сверток...*" – А.С. Пушкин. Египетские ночи. III. 1835 г.)<sup>2</sup>, ни свернутый листок растения ("Возле здоровых листьев есть как будто больные, возле цветка лилии есть прицветник, пожелтевший *сверток*, который бы хотелось сорвать и бросить..." – В.Ф. Одоевский. Недовольно. XVI. 1867 г.), как не могут быть названы *ношей* ни церковные дары ("Идет из кустов пономарь и звонит; / И следом священник с дарами. / <...> / Но лугом стремился кипучий ручей; / Свирепо надувшись от сильных дождей, / Он путь заграждал пешеходу; / И спутнику пастырь дары отдает; / И обувь снимает и смело идет / *С священной ношей* в воду" (В.А. Жуковский. Граф Гапсбургский. 1818 г.), ни легкий поднос с чайной посудой ("...дверь открылась и вошла Верочка. Твердо и легко выступая, несла она на зеленом подносе две чашки кофе и сливочник. <...> Борис Андреич и Петр Васильич поднялись оба с дивана; она присела им в ответ, не выпуская из рук подноса, и, подойдя к столу, поставила на него *свою ношу*" – И.С. Тургенев. Два приятеля. 1853 г.), ни несколько газет и брошюр в руках человека ("Иностранные газеты и брошюры, насколько их можно было достать, очутились в руках даже наименее привычных *к такой ноше...*" – П.В. Анненков. Замечательное десятилетие. 1870-е гг.), ни тем более все то, что является его неотчуждаемой принадлежностью («...он видит: близко, рядом / Идет старуха нищая с клюкой, / Окинула его пытливым взглядом / И говорит: "Скиталец бедный мой! / <...> / Я старость, я пришла без зова, / Подруга новая твоя! / <...> / Тебя в ненастные, сомнительные дни / Я шарфом обвяжу, подам тебе калоши... / *А зубы, волосы... На что тебе они? / Тебя избавлю я от этой лишней ноши*"...» – А.Н. Апухтин. Старость. 1886 г.). "Маломасштабные" употребления этих слов, утрачены безвозвратно<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Ср. также: «С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы послали вам *две стихотворные пиесы* ("Чиновник" и "Зимняя дорога") моего Ивана; *сверток* оставлен у Жуковского..." (С.Т. Аксаков – Н.В. Гоголю. 22 ноября 1845 г.). В ответном письме Гоголь, имея в виду эти же стихи, пользуется словом *посылка* в неизвестном сегодня обобщающем значении 'посланное': "Письмо ваше от 23 генваря получил <...> Прежних стихов, вами посланных Жуковскому, я не получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли к нему какая-нибудь *посылка* на мое имя" (Н.В. Гоголь – С.Т. Аксакову. 23 марта 1846 г.). Ср. также: «Не знаю, что подумать о нем, то есть Пушкине. Еще в апреле *послал я к нему "Старую быль" и приписку в стихах, и письмо в прозе весьма дружеское, le tout* через Погодина; не получая ответа, писал я к Погодину справиться, доставил ли Погодин *мой пакет* Пушкину; к сожалению, Каратыгин его ни разу не застал дома <...> между тем справился я у Погодина, через знакомого в Москве, и оказалось, что письмо мое послано куда следовало еще тогда: стало, Пушкин получил и молчит: худо; но вот что хуже: князь Н. Голицын, мой закадычный друг, <...> полагает, что *моя посылка* к Пушкину есть *une grande malice* <злая насмешка>..." (П.А. Катенин – Н.И. Бахтину. 7 сентября 1828 г.); "Посылаю к вам, любезный князь Петр Андреевич, и последнюю выписку. Предоставляю и ее в полное ваше распоряжение, но только с тем, чтоб не выдавать меня на старости лет моих в случае нападков <sic> на меня от смирдистов, если вы заблагорассудите поместить *посылку* мою в вашем сборнике" (И.И. Дмитриев – П.А. Вяземскому. 18 декабря 1836 г.).

<sup>3</sup> Поэтому, как можно предполагать, наше восприятие *ноши* в приводимом ниже примере из Вяземского: "Щадить порочных есть уж шаг один к порокам. / Иль мне причтется в грех, когда в веселый час / Я посмеюсь писцам, ползущим на Парнас, / *Кряхтя под ношею стихов своих тяжелых...*" (П.А. Вяземский. К Жуковскому. 1812 г.) отличается от того, каким оно было у автора и его современников. Действующий запрет на "маломасштабное" употребление этого слова "утяжеляет" в нашем сознании вес этой "ноши стихов", метафорическая тяжесть которых становится "физической" тяжестью самой ноши.

*Сверток* сегодня – отнюдь не все, что свернуто, "что-либо свернутое", как точно для своего времени определяет Даль, уточняя: "трубка, скаток. *Сверток бумаг, холста; сверток табаку*" [Даль, 147], и в современном языковом сознании соотносится по значению скорее с глаголом *завернуть* (ср. толкование [Ож. 1975: 645]: "Завернутые во что-н. вещи. *Сверток с книгами*")<sup>4</sup>, чем с этимологически мотивирующим *свернуть*<sup>4</sup>. Связь с этим последним уже настолько ослаблена, что [Ож.] вообще опускает соответствующее значение, не считая нужным дать его даже с пометой "устар.". "Большие" же словари, вполне оправданно фиксируя это значение, а н а х р о н и ч н о отдают ему первое место: "1. Что-либо (бумага, материя и т.п.), свернутое в трубку; свиток" [БАС 1962, 13: 305], "1. Предмет, свернутый трубкой или свитый" [МАС 1988, IV: 42], не замечая ни его безусловной устарелости (как и устарелости толкователей "*свиток, свитый*"<sup>5</sup>), ни замкнутого круга его предметных связей: только *сверток чертежей, сверток нот, сверток холста* (ср.: "Иногда Глаголевский заносил с собой *сверток разных картинок, гравированных и литографированных...*" – Я.П. Полонский. Признания Сергея Чалыгина. V. 1867 г.; "Каратаев <...> достал из-за пазухи *сверточек обрезков холста* и, не глядя на него, отдал француз..." – Л.Н. Толстой. Война и мир. 4, 2, XI<sup>6</sup>), но не \**сверток ковра, \*сверток толя, \*сверток обоев, \*сверток клеенки, \*сверток линолеума, \*сверток рабицы* и т.п., для которых сегодня используется только заимствованное в конце XIX в. *рулон* < франц. *rouleau* – первая фиксация в словаре иностранных слов 1937 г. [БАС 1961, 12: 1563]<sup>7</sup>, уже готовое взять на себя всю полноту "большемасштабной" семантики. Остаются незамеченными и "управительные" различия между *сверток*<sup>1</sup> – сверток с

<sup>4</sup> Ср.: "Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на головс *что-то завернутое в холст*. <...> Войдя в мою комнату, она *положила свой сверток на стол*..." (И.А. Бунин. Весной в Иудее. 1946 г.).

<sup>5</sup> Так же анахронично и толкование слова *свиток* в БАС, выдвигающее на передний план без помет его устаревшее значение "Узкая полоса бумаги или пергамента, свернутая в трубку", ошибочно иллюстрируемое примером его употребления в цитате из А. Болотова как специализированного культурного термина: "[В нише] хранятся у них книги из священного писания ветхого завета, написанные... на пергаментных свитках" [БАС 1962, 13: 390]. Ср. иллюстрации в наших "малых" словарях: "Папирусный свиток. Древняя рукопись в свитке" [Ож 1975: 648; ОШ 1997: 703]. Ср., с одной стороны, *свиток* в качестве термина: «Он <Софокл> смолкнул, и судьи дивятся. / Сыны, к земле потупя взор, / Как осужденные, боются / Услышать казни приговор. / Народ воздвигся и вызывает: / "Читай, читай стихов твоих!" / И старец *свиток раскрывает*, / И, вновь воссев, народ утих» (П.А. Катенин. Софокл. 1818 г.), и с другой, пример устаревшего – нетерминологического – использования этого слова: «...стоявший за креслом Пальмерстона "тостмастер" провозгласил здоровье королевы. Все поднялись, и раздалось девять оглушительных "ура" – Three times three – три раза по три. Тостмастер кричал первый и подавал знак *свитком*, вроде жезла, который держал в руке...» (И.С. Тургенев. Обед в обществе английского литературного фонда. 1858 г.).

<sup>6</sup> Ср. в русском переводе записанного П. Виардо по-французски последнего (1883 г.) рассказа Тургенева "Конец" ("Une fin"): "Позднее выяснилось, что девочка сбежала из дому через сад, не сказав никому ни слова, и взяла с собой только *сверточек платьев* и пару башмаков на смену", где "*сверточек платьев*" передаст "*petit paquet de vêtements*" французского оригинала (см.: И.С. Тургенев. Полн. собр. соч.: В 15 тт., М.; Л., 1967. Т. XIII: 375, 388).

<sup>7</sup> Показательны различия в словарных определениях этого слова. [Ож.], как и [ОШ] (в котором, кстати сказать, *сверток* вообще странным образом отсутствует; то же в НСРЯ) толкуют *рулон* (ср. также вышедший из употребления и забытый ранний вариант *руло* [Уш. 1939, III: 1404; БАС 1961, 12: 1563 – первая фиксация в словаре Михельсона 1866]), пользуясь словом *трубка*: "Трубка гибкого материала, свернутого для хранения" [ОШ 1988: 688]; "Материал (бумага, клеенка и т.п.), свернутый в трубку" [Ож. 1975: 634]. То же в [БАС]: "Свернутая в трубку бумага, ткань, линолеум и т.п." [БАС 1961, 12: 1564]. [МАС] же неожиданно оказывается более анахроничным и, следуя [Уш.], толкует *рулон* через *сверток*: "Круглый сверток бумаги, обоев, клеенки и т.п." [Уш. 1939, III: 1404; МАС 1987, III: 740].

чем (отличающийся, как было показано выше, сдвинутыми семантическими связями) и замкнутым в узком кругу *сверток*<sup>2</sup> – *сверток чего*, с его новой "маломасштабной" семантикой (в противопоставлении *рулону* – *рулону чего*)<sup>8</sup>.

И *ноша* в современном языке – отнюдь не все "то, что можно нести в один раз", как определяет [СЦСРЯ 1867, II: 981], а, как толкует [Уш. I: 600], "то, что переносят на себе", или, в еще более точной формулировке, "груз, переносимый на себе" [БАС 1958, 7: 1433; Ож. 1975: 384; МАС 1986, II: 512; ОШ 1997: 423; НСРЯ 2000: 1051]. Именно 'груз' и является центром "масштабной" семантики *ноши*. Всякая *ноша* – это 'груз', и притом 'значительный'. Отсюда такие обычные атрибуты *ноши*, как *тяжелая*, *тяжкая*<sup>9</sup> и, по отношению к субъекту стоящего за ней действия (*тащить*, *тянуть*, *влачить* и др.), – *неподъемная*, *непосильная*, *роковая*, откуда такие ее предикаты, как *давить* и *гнест*. Ср. переносно: "Будь уверен, что никто не принимает живейшего участия в твоей судьбе, чем я. Будь здоров и *не давай жизненной ноше раздавить тебя*" (И.С. Тургенев – Я.П. Полонскому. 16 ноября 1860 г.). Молчаливо предполагается, что такой груз естественно было бы не переносить, а перевозить (ср. *кладь* и *поклажа*<sup>10</sup>). Отсюда в толкованиях *ноши* скрыто-уступительное "на себе". Поэтому "*всякому своя ноша тяжела*" (А.Н. Островский. В чужом пиру похмелье), но одновременно и "*своя ноша не тянет*", как утверждает успокоительная сентенция в ответ на сочувствие или беспокойство по поводу ее непомерной тяжести: потому и не тянет, что *своя*. Поэтому же *ноша*, в отличие от *бремени* и *тяжести*, может быть *драгоценной* ("Руслан, снм гласом оживленный, / Берет в объятия жену, / И тихо с *ношей драгоценной* / Он оставляет вышину / И сходит в дол уединенный..." – А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. V) и, как в цитированном выше примере из Жуковского, даже *священной*<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Ср. редкие случаи совмещения двух этих значений: "Она <...> с беспокойством поглядела на Кремнева и сказала: – Пожалуйста, бросьте в печь эти несчастные письма, – и она указала на *большой сверток бумаги, перевязанный розовой лентой*. <...> Кремнев взял *сверток* (я думаю, около ста писем, если не более), и мы вышли..." (Я.П. Полонский. Признания Сергея Чалыгина. XXXVI. 1867 г.); "Мефистофель шел, гуляя, / По кладбищу, влодь могил... / Теплый, яркий полдень мая / Лик усталый золотил. // Мусор, хворост, тьма опенок, / Гниль какаго-то ручья... / Видит: брошенный ребенок / В *свертке грязного тряпья*..." (К. Случевский. На прогулке. 1881 г.). Ср. также пример, находящийся на границе двух эпох в истории этого слова и потому допускающий двойное его понимание: "...тут <в приемной князя Воронцова> был пристав с *большим свертком*, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа..." (Л.Н. Толстой. Хаджи-Мурат. X. 1896 г.).

<sup>9</sup> Ср. также – с редким для этого имени эпитетом – *тучный*: "Беда грабителям! Беда / Их конным вьюкам, *тучным ношам*: / Кулак, топор и борода / Пошли следить их по порошам..." (Ф.Н. Глинка. 1812 год. 1830-е гг.).

<sup>10</sup> Ср.: "...чаще и чаще слышались взлеты вырывающегося пара; здания и *пустые вагоны, ожидающие клади*, замелькали перед вами – и вы полетели..." (М.В. Авдеев. Поездка на кумыс. 1856 г.). Ср. также *тяжесть*<sup>2</sup> (обычно в формах мн. числа) как общее имя и для того, что несут (*ноша* и *бремя*), и для того, что везут (*кладь* или *поклажа*): "Все они <французские части, бежавшие из России> побросали друг друга, побросали *все свои тяжести*, артиллерию, половину народа..." (Л.Н. Толстой. Война и мир. 4. 3. XVII); "Очень она <людка> была грузна, а еще ее переполняли *всякой поклажей и тяжестями*..." (И.С. Тургенев. Легенда о св. Юлиане. II. 1876 г.). Показателен приводимый ниже пример, где способ доставки *поклажи* не назван, но безусловно подсказывается контекстом: "Два дня спустя Инсаров, по обещанию, *явился к Берсеневу с своею поклажей*. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, устал мебель, подтер пыль и вымет пол. Особенно долго он возился с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок" (И.С. Тургенев. Накануне. XI. 1859 г.).

<sup>11</sup> Ср. также: "...Там, по холмам Бородинским, / Юноша *нес на плечах тело, пробитое пулей*: / Свежая кровь по мундиру алой тянулась дорожкой. / – Друг! Ты куда же *несешь свою благородную ношу*? – В ответ он: / – Братцы! Товарищ убит! Я местечка ищу для могилы..."

Однако помимо "весового" компонента, "масштабная" семантика *ноши* включает еще и <1> "акционально-динамическую", а также <2> "пространственную" и "временную" составляющие.

<1> Ношу, в отличие от тяжести (ср.: "Идут годы, тяжелые годы, / *Та же тяжесть им давит на плечи; / Но не шлют они дерзкие речи / И не вторят речам непогоды...*" – К. Случевский. Кариатиды. 1856 г.; "Придет пора, нальется плод, / *А тяжесть ветви к долу клонит...*" К. Случевский. "Как будто снегом опушила..." 1890 г.), груза и бремени ("Женские кариатиды еще безобразнее мужских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, *страдающую под тягостным бременем, и с необыкновенным усилием во всех членах поддерживающую целое здание или огромную часть оногo?*" – К.Н. Батюшков. Прогулка в Академию художеств. 1814 г.; "...есть слезы холодные, скупю льются слезы: их по капле выдавливают из сердца *тяжелым и недвижным бременем* налегшее на него горе..." – И.С. Тургенев. Рудин. XI. 1855 г.; "Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее: *оно как кошмар давило ей грудь неподвижным мертвенным бременем*" – И.С. Тургенев. Накануне. XXI. 1859 г.) несут, а не держат. Поэтому не соответствует современной норме переносное использование этого слова в приводимом ниже контексте с "статически неподвижным" субъектом: "...я остановился на большой и твердой кочке, ухватил обеими руками голову за волосы и потянул вверх изо всей силы. <...> Наконец напряженные мои усилия увенчались желаемым успехом: я вытащил человеческую фигуру самого огромного размера. <...> К счастью, мысль, что оба мы стояли на самом зыбком подножии, потому что *кочка уже начала колебаться от двойной ноши*, – эта мысль в самую пору промелькнула в моей голове..." (О. Сомов. Роман в двух письмах. I. 1832 г.).

<2> Но ношу и не просто несут. Ее переносят на более или менее значительное расстояние, что предполагает наличие точки отправления (point de depart), где ее поднимают, взваливают на себя, и точки прибытия и доставки, где ее опускают и сбрасывают (сваливают, скидывают, слагают), причем затрачивают на это более или менее значительное время. Ср.: "Они <жители дома> часто слышат, как оно <привидение> ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что

---

(Ф.Н. Глинка. Славное погребение. 1841 г.). Как свидетельствуют такие словоупотребления, ношей может быть также и человек (живой или мертвый), что также отличает ее от всех других членов рассматриваемого тематико-синонимического ряда. Поэтому оказывается возможным использование этого слова и тогда, когда глагол *нести* выступает в своем метафорическом предметно-субъектном значении (например, о водном потоке), и тогда, речь идет не о том, кого переносят на себе, как в приведенном выше примере из "Руслана и Людмилы", а о том, кого перевозят (и следовательно, не держат на руках, а только придерживают руками). Ср.: 1. "Вдруг огромный и крутой / Вал пловцам навстречу хлынул, / Челн, как пух, из бездны вскинул / На хребет высокий свой. / *Он несет их, полных страха, / Между безднами кружит, / И у берега с размаха / Ношу бросил на гранит*" (А.И. Подолинский. Смерть Перси. 4. 1834–1836 гг.). 2. "Снег на землю валится, сын дорогою мчится, / *И под буркою ноша большая...*" (А.С. Пушкин. Бурды и его сыновья. 1833 г., где "*ноша большая*" – "*полячка младая*"). Характерные для современного языка ограничения на положительно-оценочное и личное употребление других членов нашего словесного ряда в прошлом не действовали: «А Мария? Она спасена; но бледная, бесчувственная, она лежала, как мраморное изваяние, на руках своего избавителя. Софья узнала в нем своего доктора. *Он поспешно вынес на берег свое время и, слагая ее на луг, казалось взором говорил Софье: "Вот она, ваша подруга, а вам возвращаю ее..."*» (М.С. Жукова. Вечера на Карповке. 1837 г.); "Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь. <...> А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди *это новое, бесконечно дорогое бремя...*" (И.С. Тургенев. Накануне. XVIII. 1859 г.). Ср. также: "А я с младенчества нес великое бремя *моей неизменной любви к ней, – к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой...*" (И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. IV).

полы в доме трещат и окна дрожат" (А. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. 1, 2. 1825 г.).

Этому комплексу обязательных признаков и ош и связанных с нею действий и состояний не соответствуют "маломасштабные" *ноши* в приведенных выше примерах из Тургенева, Анненкова и Апухтина<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Таковы же "большемасштабные" переносные, ментальные, значения этого слова: "О чем-либо обременительном, тяжелом" [БАС 1958, 7: 1433], "Что-л. обременительное, доставляющее хлопоты, заботы" [МАС 1986, II: 512]: "...главу подставивши смиренно, / Чтоб *ношу бед от промысла принять*, / Себя отдав руке неоткровенной, / Не ми творца, страдалец, вопрошать..." (В.А. Жуковский. На кончину ее величества королевы Виртембергской. 1819 г.); "Смотрите: вот старик седой изнеможенный, / На ветхих костылях, *под ношей лет согбенный*..." (Е.А. Баратынский. <Отрывки из поэмы "Воспоминания">, 1820 г.); "Когда-нибудь – и скоро – я / *Оставляю ношу бытия*..." (М.Ю. Лермонтов. Ангел смерти. II. 1831 г.); "А я еще живу и *ношу дней таскаю*..." (П.А. Вяземский. 12 июля 1854 года) и т.п. То же с поглощением – *ноша* 'ноша дней, лет, жизни, бытия': "Блажен, кого постигнул бой! / Пусть долго с жизнью хилой, / Старик трепещущей ногой / Влачится над могилой; / Сын брани *мигом ношу в прах / С могучих плеч свергает* / И, бодр, на молнийных крылах / В мир лучший улетаёт" (В.А. Жуковский). Ср.: "С чего тюремщику, если он не какой-нибудь изверг, которых так же мало, как и великих людей, с чего ему ненавидеть колодника? *Они оба несут две довольно тяжелые ноши*..." (А.И. Герцен. По разным поводам. 1846 г.); "*Экую я ношу навалил на Вас* – и каким нравственным мучением, какой душевной истоме подверг Вас! Поверьте, что этой услуги я никогда не забуду..." (И.С. Тургенев – И.П. Борису. 18 марта 1868 г.); "Дай мне восторгов любви с их обманами, / Дай мне безумья желаний живых, / Дай мне погаснувших снов с их туманами, / Дум животворных и грез золотых, / Дай – и возьми всю уверенность знания, / *Всю эту ношу убитых страстей*..." (К. Случевский. "Дай мне минувших годов увлечения...". 1892 г.). То же в сравнении: "Но весело, должно быть, господа, / Разгар любви следить в душе прекрасной, / Подслушать вздох, задумчивую речь, / Подметить взгляд доверчивый и ясный, / *Былое сбросить всё, как ношу с плеч*..." (И.С. Тургенев. Параша. 1843 г.); "О, если бы я мог, хоть в эту ночь немую / *Забиться в грезах золотых / И всё прошедшее, как ношу роковую, / Сложить у милых ног твоих*" (А.Н. Апухтин. Отравленное счастье. 1881 г.).

Для современного языка такие словоупотребления, по-видимому, нужно считать устаревшими. Не случайно "малые словари" их не отмечают, хотя приводят близкие по значению обороты с именем *бремя*: *бремя забот, нести свое бремя*; [Ож. 1975: 57; ОШ 1997: 59]. Таковы же *бремя жизни, бремя лет, бремя грехов человеческих, бремя дум, бремя печали и печалей, бремя ошибок и заблуждений* и т.п. Ср.: "Что несноснее *бремени самых скучных дел? Бремя безделья или праздности*; и есть люди, страждущие в одно время от того и другого" (Д.Н. Блудов. Украденная записная книжка. 1823 г.); "Да, много было нас, – и где тот светлый рой?.. / О, каждая из нас узнала *жизни бремя*..." (К. Павлова. "Да много было нас..." 1839 г.); "...не погубит *гора бремя* / В ней этой тайны неземной..." (К. Павлова. 10 ноября 1840 г.); "*Под тяжким бременем нужды изнемогая, / Прекрасным этот мир бедняк не назовет*" (А.Н. Плещеев. "Да! Этот мир хорош..." 1846 г.); "Скучала ли Васена одиночеством, грусть ли тайная гнала ее, или тяжело ей стало *бремя людской молвы, бремя мирского презрения и отчуждения – тяжкое бремя* во всяком кругу, во всяком мире, раскинут ли он в многодомных городах, замкнут ли в бедной и малой деревушке" (М.В. Аджеев. Огненный змей. 1853 г.); "Кто и зачем обязал меня без отдыха *нести это бремя – непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления*..." (И.А. Бунин. Ночь. 1925 г.). Можно полагать поэтому, что имена *ноша* и *бремя* в современном языке находятся в отношениях дополнительной дистрибуции: первое (лишенное жесткой оценочной коннотации) является носителем конкретных, материально-физических значений, тогда как второе – с закрепленной отрицательной оценкой – целиком принадлежит ментальному миру. Ср. прямое разграничение этих двух значений: "Взгляните на поденщика, который, окончив труд свой, бросается на голый камень и с *ношею плеч своих слагает все бремя душевное*..." (К.Н. Батюшков. Похвальное слово сну. 1809 г.). Ср. еще: *стать бременем* (не *ношей*!) и устар. *стать в бремя*: "Ему потом уж стали в *бремя* / Затеи девы удалой" (Е.А. Боратынский. Цыганка. IV. 1829–1841 гг.). Ср. фразеологизованное *разрешиться от бремени* (о роженицах) при асимметричных полногласных *бере-*

Сходные изменения обнаруживаются и в недавней истории множества других слов и, в том числе, в истории слов <1> *захолустье* и <2> *скитаться*, вынесенных в заглавие этой работы.

### <1> *Захолустье*

Наши "малые" словари [Ож. 1975: 208; ОШ 1997: 224] толкуют *захолустье* как "место, далекое от культурных центров, глухая провинция" (с эксплицирующим БМП-определением *далекое*) и иллюстрируют это значение краткими речениями: "правильным" (с точки зрения советской идеологии) "*Дореволюционное захолустье*" [Ож.] или нейтральным "*Жить в захолустье*" [ОШ].

"Большие" словари предлагают сходные определения: "глухая провинция, место, удаленное от культурных центров" [Уш. 1935, I: 1068], "глухое, удаленное, малонаселенное место; глушь" [БАС 1955, 4: 1065], "глухое, отдаленное от культурного центра место" [МАС 1985, I: 592] и иллюстрируют их цитатами из литературных текстов от Пушкина, Белинского и Тургенева до Телешова, Скитальца и Гладкова. Ср.: "Первые опыты Пушкина огласились во всей России, проникли во все ее захолустья..." (Белинский); "Судьба закинула его в такое захолустье, что ни через него, ни мимо него ехать было некуда" (Телешов); "Каких только глухих захолустьев нет в нашей стране!" (Скиталец). Ср. также: "...оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень..." (Н.Ф. Павлов. Ятаган. 1833 г.); "...бедная Аделаида на ту минуту забыла, что сплетни такая типография в свете, которая все и о всех и без цензуры печатает, и от блестящей столицы до темного захолустья рассылает все, как по телеграфу" (В.П. Горчаков. Дневник. Конец 40-х гг.); "Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы всё в них переделала, начиная, разумеется с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову..." (И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. XV. 1858 г.) и под.

При этом [БАС] и [МАС] выделяют (за двумя черточками) – в качестве "смыслового оттенка" – значение "глухая, малолюдная, удаленная часть города; окраина" [БАС], "глухая, отдаленная от центра часть города" [МАС], которое свидетельствуется цитатами из Григоровича, Герцена, Достоевского. Например: "Я жил в одном

---

*менная, беременность*. Ср. в этой связи устар. (не отмечаемое "малыми" словарями!) простор. и обл. *беремя* – вязанка (хвоста), 'охапка (дров, сена, травы)' [БАС 1950, I: 397; МАС 1985, I: 80]. Ср. также *нести ярмо*: "Под бурею судеб, унылый, часто я, / Скучая тягостной неволей бытия, / Нести ярмо мое, утрачивая силу, / Гляжу с отрадою на близкую могилу, / Приветствую ее, покой ее люблю, / И цепи отряхнуть я сам себя молю, / Но вскоре мнимая решимость позабыта" (Е.А. Боратынский. Из А. Шенье. 1829 г.); "Все сверстники мои давно уж на покое, / И младшие давно сошли уж на покой; / Зачем же я один несу ярмо земное, / Забытый каторжник на каторге земной" (П.А. Вяземский. "Все сверстники мои...". 1872 г.) и *нести (брать) (свой) крест (жизни)*: "...рано ль, поздно ли найду успокоенье / И жизни крест я перестану несть..." (Н.Ф. Щербина. "Мне люди говорят...". 1840-е гг.); "Я пал под горем и бедами; / Мне тяжело нести свой крест" (Н.Ф. Щербина. Утренняя молитва. 1844 г.); "Когда на тернистом пути испытания / Я крест свой тяжелый несу без рошания / И чужд я корыстной мольбе, – / Услышь меня... Слава Тебе!" (Н.Ф. Щербина. Истина молитвы. 1847 г.); "И дальше я живу в стремленье безотрадном, / И жизни крест беру я на себя..." (Н.П. Огарев. Монологи. III. 1844–1847 гг.). Ср. также соединение *креста* и *ноши* у Вяземского: "Я жизни таинства и смысла не постиг; / Я не сумел нести святых ее вериг, / И крест, непосланный мне свыше мудрой волей – / Как воину хоруvg дается в ратном поле, – / Безумно и грешно, чтобы вольней идти, / Снимая с слабых плеч, бросал я по пути. / Но догонял меня крест с ношею суровой, / Вновь тяготел на мне, и глубже язвой новой / Насильно он в меня вралстал..." (П.А. Вяземский. Сознание. 1854 г.). В этой связи ср. также: *под бременем* / *под грузом* / *под гнетом* / *под игом* / *под тяжестью* чего, но \**под ношей* чего, \**под крестом* чего, \**под ярмом* чего.



из лондонских захолустий" (Герцен); "Склонность к уединению заставила Тахтамышеву поселиться в одном из отдаленнейших захолустий Москвы" (Григорович); "Тушар жил в захолустье <Петербурга>, и из окон видна была застава..." (Достоевский) и т.п.

Совершенно очевидно, однако, что такого рода словоупотребления, вполне обычные в литературном языке до конца третьей четверти XIX в. (более того – значительно превышающие по частоте случаи использования этого слова в БМ-контекстах!), находятся за пределами и современной литературной нормы и воспринимаются как безусловно устаревшие. Ср. еще:

а) "В городе Т. существует *Растеряева улица*. Принадлежит к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем..." (Г.И. Успенский. Нравы Растеряевой улицы. 1866 г.).

б) "Пушкин уверял, что обвинение в развратной жизни моей в Петербурге не иначе можно вывести, как из вечеринки, которую давал нам Филимонов и на которой были Пушкин, Жуковский и другие. Филимонов жил тогда *черт знает в каком захолустье*, в деревянной лачуге, точно похожей на бордель..." (П.А. Вяземский. Записные книжки. 1828 г.); "– Наказание божие эта мостовая! – произнесла Вера Яковлевна. – *Угроздило же сделать на лучшей улице! Уж делали бы где в захолустье!*..." (М.С. Жукова. Дача на Петергофской дороге. 1845 г.). "...одевшись так, чтобы ничем не выделяться из толпы, мы тихонько, чуть не задними ходами, уходили из дома, садились в конку или на простого извозчика <...> и отправлялись куда-нибудь в Гавань, на Пески, под Смольный. <...> *Целыми часами мы бродили по разным захолустьям*, заходили в лавки, покупали лакомства, раздавали его <sic> встречавшимся ребятишкам..." (М.В. Крестовская. Вопль. 1900 г.). Ср. в осознанной художественной стилизации у Б.А. Садовского (1881–1952 гг.) в рассказе "Петербургская ворожея. Эпизод из жизни Пушкина": "Фонтанка и посейчас <1818 г.> такая же глухая речонка, какой она была во дни императрицы Екатерины. Правда, покойная государыня повелела одеть в гранит ее низкие берега, но *за железными перилами Фонтанка осталась по-прежнему захолустьем*. <...> Дальше, за дворцом стелются унылые финские болота <...> Здесь мирная и тихая, не по-столичному жизнь. <...> Дикая и неприятная местность открыла несколько разбросанных жалких хижин..." (1910 г.).

в) "Полк собирался во Всесвятской роще; когда моя рота пришла, то уже все роты были на месте. Сейчас же переменяли мундиры, потому что шли в старых; надевая белых брюк на солдат, отправились под Тверскую заставу. Я думал, что прикажут одеваться *где-нибудь в захолустье*: не тут-то было, нас привели к самой заставе, и велено надевать панталоны..." (Из дневника ротного командира И.И. Гладилова. 1841 г. // Русский архив. 1901 г. Кн. 2. Вып. 6, с. 283); «Нередко у самого бедного москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни – когда-нибудь перестать шататься по квартирам и зажить своим домиком. И вот, с горем пополам, призвав на помощь родное "авось", он *покупает пустопорожнее место в каком-нибудь захолустье* и лет пять, а иногда и десять, строит домишко о трех окнах, покупая материалы то в долг, то по случаю, изворачиваясь так и сяк. И наконец, наступает вожделенный день переезда в собственный дом; домишко плох, да зато свой и притом с двором, – стало быть, можно и кур водить, и теленка есть где пасти <...> Таких домишек в Москве неисчислимое множество, и они-то способствуют ее обширности, если не великолепию...» (В.Г. Белинский. Петербург и Москва. 1844 г.); "Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому *не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье*..." (И.С. Тургенев. Муму. 1854 г.); "Оправясь от болезни, продолжал я обычные прогулки с Иваном Васильевичем <...> Сомневаюсь, *было ли в Москве такое глухое захолустье, куда бы он по временам не заходил*..." (Воспоминания Федора Петровича Лубяновского. 1854 г. // Русский архив. 1872 г. Кн. 1. Вып. 1, с. 135); "Новое поколение знает старую Москву по комедии Грибоедова <...> Но, по несчас-

тию, драматический Нестор в своей московской летописи часто мудрствовал лукаво. В некоторых захолустьях Москвы, может быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные им на сцене. Но при этой темной Москве была и другая еще, светлая Москва..." (П.А. Вяземский. Допотопная, или допожарная Москва" и т.п.

Будучи словарями ретроспективного ("ближнедиахронического") типа, "большие" словари вполне оправданно фиксируют такие словоупотребления, но совершают несомненную ошибку, не сопровождая их необходимой пометой "устар.". Тем самым искажается не только реальная языковая картина живого настоящего, не знающего "маломасштабного" захолустья, но и реальная языковая картина недавнего прошлого, в котором семантическая структура захолустья еще не была оложнена "масштабным" компонентом.

Как свидетельствуют приведенные выше примеры, захолустье в эту эпоху – 'окраина, глухое, безлюдное место в составе любого целого', будь то отдаленная губерния или ландшафтный регион в составе России, деревня или уездный город в составе губернии или всей страны, окраинная улица в городе или даже отдаленные неухоженные помещения в усадьбе, задворки. Ср.: "Множество особых сараев, погребов, подвалов, кухонь, амбаров, кладовых, наконец, обширный сад – такова была порядочная громада, составлявшая каждый княжеский двор. Отличительными чертами их были многолюдство, вечный шум, вечный приезд, толкотня, грязь, не пересыхавшая, особливо в захолустьях, даже и в летние жары..." (Н.А. Полевой. Клятва при гробе Господнем. 1. VII. 1832 г.); "Под вечер пришли они в дом скряги, были приняты грубо и отведены в какое-то захолустье, где предложили им самый скудный ужин" (С.Н. Глинка. Записки. IV. 1840-е гг.)<sup>13</sup>.

По, как всегда точному, определению Даля, захолустье – это "глушь, глухое место, закоулок или малолюдная часть в городе; отдаленное и малонаселенное, малопроезжее место, затишье" [Даль, I: 660]. То же в сжатом виде в Словаре Академии 1867 г.: "Место глухое, отдаленное" [СЦСРЯ, II: 146]<sup>14</sup>. Обращает на себя внимание почти обязательное для словарных определений захолустья использование толкователей глухое место и глушь, которые могут рассматриваться как его полные эквиваленты. Соответственно глушь толкуется как "место, удаленное от центров общественной и культурной жизни" [Уш. 1935, I: 575]; "то же, что захолустье" [ОШ 1997: 133] и т.п., что вполне соответствует фактам живой речи и литературному словоупотреблению как в современном его состоянии, так и в недавнем "безмасштабном" прошлом. Ср.: "[Баклушин – Насте] Но как вы попали в эту глушь? Ведь это край Москвы, это – захолустье" (А.Н. Островский. Не было ни гроша..., I: 6) и "...я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание" (М.Н. Загоскин. Московский старожил. 1842 г.).

<sup>13</sup> Ср. также захолустье – о замкнутом существовании одинокого художника в его мастерской в противопоставлении бурной жизни большого света: "...Тогда я видел свет из окна моей мастерской, со стороны, на сцене, и он примелькался мне, наскучил, опротивел; теперь я вышел из этого захолустья, кинулся сам в этот свет, заглянул за кулисы, взял и себе роль – и без всякого эгоизма сознаюсь, что свет не стоит того, чтобы им заниматься" (А.В. Тимофеев. Художник. 1834 г.).

<sup>14</sup> Ср. еще далевское (без помет о какой-либо диалектной его принадлежности) *заглушь* – "глухое место, глушь; место пустопорожнее, небойкое, неторное..." [Даль, I: 568], способное, может быть, пролить некоторый свет на темную этимологию *захолустья* (см. [Фасмер 1967, II: 83–84; Шанский и др. 1975: 160]) и, в частности, прояснением семантики приставки *за-*, которой, по сопоставлению с *замостью*, *зарядьем* и *под*., приписывается пространственное значение в рамках именной модели, тогда как *заглушь* (вместе с *затишьем*) представляют собой отглагольные образования (ср. *заглохнуть*, *заглушить*, *затихнуть*), в которых *за-* несет значение достижения полноты (завершенности) признака.

Я намеренно привожу "маломасштабные" применения этих двух слов, поскольку исходным семантическим центром толкователей *глушь* и *глухое место* (ср. еще *глухомань!*) является, несомненно, 'безлюдность' и 'малолюдность' (ср. в "Словаре языка Пушкина": "1. Лесная чаща (6); 2. Глухое, пустынное, безлюдное место (45)" [СП 1956, I: 489], тогда как 'отдаленность' (от чего бы то ни было и любого масштаба) скорее всего вторична и (что безупречно объясняется логикой реальной жизни) производна от 'безлюдности'<sup>15</sup>. Отсюда также и 'тишина', находящая выражение в далевском "*затишье*" как толкователе *захолустья*<sup>16</sup>. Ср. также – *Глухо!* – как словесная реакция на отсутствие ожидаемого отклика-ответа и не фиксируемое нашими словарями *безответный* (о густом саде) – 'глухой': "Всякий день Нялочка гуляла часа по два в этом верхнем саде. По этой аллее бегала она когда-то и пяти лет от роду <...> Наконец тут же гуляет она почти семнадцатилетней девушкой <...>. *Этот сад все тот же пустынный, безответный...*" (Е. Салиас. Крутоярская царица. V. 1893 г.). Ср. еще: "*Глушь и скука царствовали в больнице. Всякий думал об одном, как бы скорее на вольный воздух. Выписывавшийся вон наводил на всех уныние...*" (Н.В. Успенский. Брусиллов. 1860 г.) и *заглохнуть* (об улицах и дорогах) – 'зарасти сорняком, стать непроезжими и безлюдными': "...в селах полуразвалившиеся хижины и *заглохшие сором и крапивою улицы* переносили воображение в веки первобытные" (О. Сомов. Гайдамак. I. 1828 г.).

О том же говорят и факты "садово-лесного" и – шире – вообще природного применения этих слов, вполне обычные, живые и сегодня для *глуши* и *глухомани*, ср. [Юш 1997: 193], но уже забытые для *захолустья*. Ср.: "Пробудит ли пернатых хоры / Твоя веселая заря? – / И, ранний страж *глухих пустынь*, / Она прогонит ли в их горы, / В их *захолустья*, дичь и норы / Толпы разбойников с долин?" (Ф.Н. Глинка. Иов. XXXVIII. 1830-е гг.); "Нелегко подойти к нашему левому флангу. Нападающие должны проходить *по захолустьям*, рытвинам и кустарникам..." (Ф.Н. Глинка. Очерки Бородинского сражения. 1849 г.); "Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже наверно могли скрываться *в его <леса!> захолустьях...*" (И.С. Тургенев. Поездка в Полесье. 1857 г.). То же в словарных толкованиях *захолустья* – в качестве подзначения у Даля: "чаща в лесу" [Даль I: 660] или как

<sup>15</sup> Ср. также тургеневское (в рассказе "Стучит!" 1874 г.) *заглазный* 'недоступный взгляду посторонних наблюдателей' → 'отдаленный', не отмеченное ни одним из словарей (в том числе и "Словарем русских народных говоров") и пропущенное комментаторами во всех публикациях "Записок охотника": "– Что ж? Лошадей нанять в Тулу прикажете? – пристал ко мне Ермолай. – Да разве можно в этом захолустье найти лошадей? – воскликнул я с невольной досадой... – *Деревня, в которой мы находились <в 45 верстах от Тулы>, была заглазная, глухая...*" (И.С. Тургенев. Полн. собр. соч.: В 15 томах. Т. 4. М., 1963, с. 367).

<sup>16</sup> Ср. в языке Пушкина не только "*глушь лесов*": "Одна в *глуши лесов* сосновых / Давно, давно ты ждешь меня..." ("Подруга дней моих суровых..." 1826 г.), но и "*глушь степей*": "Верхом, в *глуши степей* нагих, / Король и гетман мчатся оба..." (Полтава. 1828 г.), и "*глушь долин*": "В *глуши долин*, в печальной тьме лесов / Один, один брожу уныл и мрачен..." ("Любовь одна – веселье жизни хладной..." 1816 г.). Ср. еще у Тургенева (в речи Касьяна): "– Хожу я и в Курск, и подале хожу, как случится. В болотах ночью, в залесьях, *в поле ночью один, во глуши*: тут кулички рассвистятся..." (Касьян с Красивой Мечи. 1851 г.) и "...я пошел побродить *по небольшому, некогда фруктовому, теперь совсем одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью*" (Живые мощи. 1874 г.). Ср. в переносном употреблении: "Я издаю не примеры, но полное собрание лучших стихотворений Российских <...> Беру из каждого лучшее <...> И кому удалось во всю жизнь свою написать один только порядочный quatrain, за что ж этому бедному сироте погибать в *глуши* какого-нибудь журнала?" (В.А. Жуковский – А.И. Тургеневу. 15 сентября 1809 г. // В.А. Жуковский. Эстетика и критика. М., 1985, с. 360).

второе его значение в СЦСРЯ: "2. В лесу: глухое место, из которого не видно поля" [П: 146]<sup>17</sup>.

## <2> Скитаться

Если собрать воедино достаточно представительный корпус живых для современного состояния языка употреблений этого слова, соответствующих узальной норме (минимально – хотя бы иллюстративный материал наших толковых словарей: *скитаться по белу свету; ...целый год за границей; ...то по северу, то по югу; ...по обширному таежному краю всю осень и зиму, короткая дни и ночи в охотничьих избушках, в балаганах и зимовьях; ...по Северу; ...по лесам с ружьем на плече; ...целый день по пустым равнинам; ...по гостиницам и меблированным комнатам; ...из дома в дом по улицам столицы; ...по людям, из дома в дом; ...по пришкам; ...по театрам; ...из труппы в труппу; ...по обедам и купцам; ...и следующую ночь по улицам и др. под.*), то станет ясно, что общими, интегральными и признаками их семантической структуры, в дополнение к центральному значению 'сознательного беспорядочного передвижения живого субъекта в горизонтальном пространстве из пункта в пункт – обычно с периодическим возвращением в некую исходную точку', являются соотносительные "масштабные" составляющие:

**1. МП:** а) "масштаб" целостного пространства, в границах которого происходит передвижение субъекта: *белый свет, Европа, таежный край, леса и равнины, города, город, улицы* и т.п.; б) "масштаб" частных локусов-пунктов в этом пространстве: *континенты и страны* (в мире); *страны и города* (в Европе); *города и ландшафты* (в крае); *улицы и дома / владельцы домов, "рабочие места"* (в городе) и др. под. и в) "масштаб" расстояния между этими пунктами. Отсюда, что естественно и необходимо, поскольку пространственное передвижение осуществляется во времени, также сопряженный с МП

**2. МВ (масштаб времени):** *вся жизнь или часть жизни; многие годы; на старости лет, несколько лет; целый год; всю осень и зиму; дни и ночи; весь (целый) день, всю (целую) ночь* и т.д.

Именно различия в "масштабе времени" наши "большие" словари кладут в основу разграничения и противопоставления двух вариантов целостного значения *скитаться* (и его номинализации *скитание*), которое "малые" словари толкуют как "Странствовать без цели, вести бродячий образ жизни. С. по белу свету. С. по чужим углам (жить у чужих людей, переходя от одного к другому. // сущ. *скитание*. -я, ср." [Ож. 1975: 664; ОШ 1997: 722]: **1.** "Переходить, переезжать из одного места в другое, проводить жизнь в странствиях" <в иллюстрациях "*целый год*", "*век*", "*всю осень и зиму*"> и **2.** "длительное время ходить, бродить где-л." <в иллюстрациях "*целый день*"> [МАС 1988, IV: 109]. То же в [БАС]: **1.** "Переходить, переезжать из одного места в другое; вести бродячий, неоседлый образ жизни" <в иллюстрациях "*жизнь*",

<sup>17</sup> Тот же семантический комплекс ('безлюдность' и 'пустота / запустение') передается редким сегодня, но достаточно широко употреблявшимся в недавнем прошлом словом *дичь* – "дикое, глухое место" [СП 1965, I: 648; Ож. 1975: 154; МАС 1985, I: 404; ОШ 1987: 168]. Отсюда обычные в эту эпоху сочетания "*глушь и дичь*", "*дичь и глушь*", "*дичь и голь*": "От меня не жди новостей: живу я в лесу, в дичи, в глуши, в одиночестве..." (П.А. Катенин – А.С. Пушкину. 9 мая 1825 г.) – и не только по отношению к лесу: "Вот выезжает он в долину; / Какую ж видит он картину? / *Кругом пустыня, дичь и голь*..." (А.С. Пушкин. "Альфонс садится на коня..." 1836 г.); "Но есть поныне горсть людей / *В дичи лесов, в дичи степей*..." (М.Ю. Лермонтов. Последний сын вольности. 1839 г.). Ср. еще: "...он глядел... и эта свежая, *стенная, тучная голь и глушь* <...> вся эта давно им не виданная, русская картина навела на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства..." (И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. XVIII. 1858 г.) и т.п.

"всю осень и зиму", "с детства...", "с той поры..." и др. > 2. "Много, долго ходить, бродить где-либо" <в иллюстрациях "целый день", "следующую ночь"> [БАС 1962, 13: 937–938]. Ср. показательное разграничение в [БАС], где "Она, бездомная, скиталась по людям, из дома в дом, зарабатывая хлеб стиркой" (Панова) иллюстрирует *скитаться*<sup>1</sup>, тогда как "Гавриловна, целый день скитавшаяся по обедням и купцам, поздно вечером воротилась в дом Галкиных" (Гл. Успенский) – *скитаться*<sup>2</sup>, разграничение, которым постулируется противопоставление по признаку "большого" (жизнь) – "малого" (целый день) "масштаба" времени.

Какое из двух предлагаемых лексикографами – [Ож.] и [БАС] решений справедливо? Какое из них отвечает реальным отношениям современного языка? Очевидно, что (отвлекаясь от явно ошибочного указания [Ож.] на "бесцельность" как обязательный компонент семантики *скитаться*<sup>18</sup>) тот или иной ответ на эти вопросы зависит от той или иной "масштабной" интерпретации таких временных показателей, как *целый день*, *целую ночь* и др. под. Очевидно также, что никаких инструментов, способных дать нам объективные результаты, никаких точных "масштабных весов" для определения "масштабного веса" таких единиц не существует. Бессмысленно спрашивать себя: "целый день" – это длительность большая или малая? А "целый месяц"? А "целая неделя"? А "целая минута"? Ведь речь идет не об их "весе" на неких мировых весах и не об их весе для нашего индивидуального сознания, а об их весе в представлении самого языка, который обладает своими инструментами, необходимыми для операции измерения "масштабного" веса слова и стоящего за ним понятия, – своими специальными "весами" и "гирями", в числе которых можно было бы назвать прежде всего положительные и отрицательные данные о сочетаемостных возможностях слова, потенциального носителя "масштабного" значения.

Так, легко убедиться в том, что в современном языке глагол *скитаться* не вступает в связь с такими именами единиц времени, как *час* или *полчаса* (\**скитался целых полчаса*, \**целый час скитался по улицам города*) и, следовательно, самым своим присутствием в тексте уже маркирует высказывание, как говорящее о "большом времени" ("grand aevi spatium"), независимо от величины его абсолютной длительности и независимо от а) наличия или б) отсутствия в тексте прямых показателей времени.

а) "*Скитался он долго в восточных краях / И чудную славил природу...*" (И.И. Козлов. Бейрон. 1824 г.); "...Между тем *проходили годы*, начатые зданья оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я *скитался от двора к двору, от передней к передней* с моим портфелем, который полнел час от часу более..." (В.Ф. Одоевский. *Opere del Cavaliere...* 1832 г.); "Она способна, она может так любить – она го-

<sup>18</sup> На самом деле *скитания* всегда связаны с теми или иными целеполаганиями. Это может быть осознанная конкретная лежащая в будущем цель: *скитаться в поисках работы и заработка, скитаться по лесам в поисках дичи* и т.п. Ср.: "...неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и *целых три года проскитался по России от одного доктора к другому*, беспрестанно переезжая из города в город..." (И.С. Тургенев. *Дворянское гнездо*. XI. 1858 г.); "Но верой пламенной душа его горела / От первых детских лет. Тавл он мысль свою, / И вот однажды бросил дом, семью, / Оставивши письмо, что на служенье богу / Уходит он. Отец и мать / Чуть не сошли с ума; потом его искать / Отправились в неизвестную дорогу. / Семь месяцев, влача томительные дни, / По всем монастырям *скитались они...*" (А.Н. Апухтин. *Год в монастыре*. 1883 г.). Но это может быть также цель как ментальное обоснование: *скитаться в тоске, отчаянии, душевной смуте, в томительном ожидании кого-, чего-л.* и т.д. Ср.: "Ах! небо чуждое не лечит сердца ран! / Напрасно я *скитался* / Из края в край ..." (В.А. Жуковский. *Разлука*. 1815 г.). Именно такого рода *скитания* могут представляться рациональному сознанию беспцельными. Ср.: "Среди людей, мне близких... и чужих, / *Скитаюсь я – без цели, без желанья. / Мне иногда смешны забавы их... / Мне самому смешней мои страдания...*" (И.С. Тургенев. *Толпа*. 1843 г.).

това будет скитаться со мною вечно, до земле неприязненной..." (И.А. Полевой. Живописец. 1833 г.); "— Где вы всё это время пропадали, что вас не было видно? — Скитался кой-где. А вы всё в Петербурге находились?.." (И.С. Тургенев. Затишье. 1854 г.); "Нельзя себе представить, сколько добрых и честных людей, без всякой вины отставленных или выключенных из службы, в сие мрачное <павловское> время скиталось без пропитания. Они принимали всякие низкие должности в знатных и помещичьих домах..." (Ф.Ф. Вигель. Записки. I. 1850-е гг.); "Несколько лет тому назад был я в Дрездене. Я остановился в гостинице. С раннего утра до позднего вечера скитаясь по городу, я не почел за нужное познакомиться с моими соседями..." (И.С. Тургенев. Переписка. 1856 г.); «В течение всей этой ночи мы скитались, по французскому выражению, как преступные души, "comme des âmes en peine"; входили в комнаты, садились рядышком на стульях залы, осведомлялись о Тропмане, взглядывали на часы, зевали, опять спускались по лестнице на двор, на улицу, возвращались, садились опять...» (И.С. Тургенев. Казнь Тропмана. II. 1870 г.); "[Мениппа] ...И вот теперь шестое лето / Скитаюсь по чужим землям... / Я сына все ищу..." (А.Н. Майков. Два мира. 2. 1872–1882 гг.); "А в поле ветер. День холодный / Угрюм и свеж — и целый день / Скитаюсь я в степи свободной, / Вдали от сел и деревень..." (И.А. Бунин. "Не видно птиц..." . 1889 г.); "Во сне мучительном я долго так бродил, / Кого-то я искал, чего-то добивался; / Я переплыл моря, пустыни посетил, / В скалах карабкался, на торжищах скитался..." (К.К. Случевский. "Во сне мучительном..." . 1899 г.); "Порой хотелось бы всех веяний весны, / <...> / Хотелось бы, чтоб степь вокруг меня легла, / <...> / Ущелий Терека и берегов Днепра, / Парижской толчеи, безлюдья Иордана, / Альпийских ледников живого серебра, / И римских катакомб, / И лилий Гулистана. // Возможно это все, но каждое в свой срок / На протяжения великих расстояний, / И надо ожидать и надо, чтоб ты мог / Направить к ним пути своих земных скитаний..." (К.К. Случевский. "Порой хотелось бы..." . 1902 г.) и т.п. Ср. также: "Вся молодость моя — скитанья / Да радость одиноких дум..." (И.А. Бунин. "Седое небо надо мной". 1889 г.); "...впереди ожидал меня немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного..." (И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. 4. X). То же в переносном употреблении (со склеенным обозначением пространства и времени): "Я видел сон... Не всё в нем было сном / Погасло солнце светлое — и звезды / Скитались без цели, без лучей / В пространстве вечном..." (И.С. Тургенев. Тьма. 1845 г.). Ср. еще: "Недаром добивался я письма, начатого в Гапсале, любезная графиня... Какое странное, милое, горячее и печальное письмо <...> Но отчего так долго скиталось это милое письмо? Это — тайна судьбы и почтового ведомства..." (И.С. Тургенев — Е.Е. Ламберт. 3 октября 1859 г.) и под.

б) "Мысль, что хозяин его <Шантилье> скитается по чужим землям, как бедный изгнанник, туманила для глаз моих предметы..." (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. 1790 г.); "Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба..." (К.Н. Батюшков. О характере Ломоносова. 1815 г.); "Пускай пойду, стена, / Драйдашего искать средь трупов убиенных / Или скитаться с ним в пустынях отдаленных" (И.И. Дмитриев. Мадекасская пленница. 1827 г.); "Мы скитаемся в лесу, как дикие звери..." (М.Ю. Лермонтов. Вадим. XXI. 1833–1834 гг.); "Родимый край, тебя, друзей, / Без сожаленья, навсегда / Покину... и пойду тогда. / И безнадежен и суров, / Искать неведомых богов, / Скитаться с жадностью немой / Среди чужих, в земле чужой..." (И.С. Тургенев. Разговор. 1844 г.); "Скитаться с моим мизерным додишком по Петербургу, среди <sic!> вонючих квартир, видя недоступный себе образ жизни, я не могу..." (А.В. Дружинин. Дневник. 6 сентября 1845 г.); "...Будто уж и мы никогда не были молоды, будто в нас никогда не играли, не кипели, не дрожали силы жизни? И мы бывали в Аркадии, и мы скитались по светлым её полям..." (И.С. Тургенев. Переписка. VI. 1856 г.); «"Сокрушил меня царевич; / Кто мне что ни говори, / А, любя стихи да рифмы, / Не годится он в цари, / Я лишу его наследства". /

А жена ему <царю> в ответ: / "Будет, беденький, по царству / Он скитаться, как поэт"» (Я.П. Полонский, Сны. 4. 1856–1859 гг.) и т.п., где значение "большого времени" по умолчанию выводится из органически сопряженных с ним и непосредственно представленных в этих текстах знаков "большого пространства" ("grand loci spatium"). То же в переносном употреблении: "Давным давно ко мне не приходила Муза; / К чему мне звать ее!.. К чему искать союза / Усталого ума с красавицей мечтой! / Как бесприютные, как нищие скитались / Те песни, что от нас на божий свет рождались..." (Я.П. Полонский. "Томит предчувствием болезненный покой...". 1885 г.). Ср. также *проскитаться*: "Пришли европейцы: / Земля им нужна – / И стали туземные / Гнать племена. / И всех истребили, – / Последний бежал, / В лесах проскитался, / Без вести пропал..." (Н.П. Огарев. Америка. 1842 г.) и т.п.

Отсюда понятный запрет на сочетание *скитаться* с пространственными именами "малого масштаба". Действительно, мы можем *бродить по дому* (*около дома, вокруг дома, по квартире, по комнатам, из комнаты в комнату, по кабинету* и т.п.), мы можем по дому *болтаться, колобродить, метаться, мыкаться, расхаживать, слоняться* (*слоны слонять*), *ходить и шагать туда и сюда, взад и вперед, из стороны в сторону, из угла в угол, шмыгать и шнырять* и т.д., но *скитаться по дому* (*около дома, вокруг дома; по квартире, по комнатам, по кабинету* и т.п.), как и *блуждать, рыскать, таскаться, толкаться, шататься и шляться по дому* нам современным языком не разрешено. Все эти глаголы называют действия, которые могут осуществляться только в "большом пространстве". Ср.: "Нет у певца страны родной, / Из края в край далекой / Он с арфой звонкой за спиной / *Блуждает* одиноко..." (Н.П. Огарев. Миннезингер. 1843 г.); "В житейском море я один *блуждаю* – / То к мирной пристани гоню мою ладью, / То снова царус поднимаю" (Я.П. Полонский. Воспоминание. 1853 г.); "...он был готов *по целым дням, не евши, рыскать по полям и лесам в погоне за дичью и зверем*" (И.С. Тургенев. Незадача. 1872 г.); "...он *беспрерывно, днем и ночью рыскал по имению, всё хотел своими глазами видеть...*" (И.С. Тургенев. Старые голубки. 1883 г.); "Даламберта, Дидерота, Мармонтеля описывает он шарлатанами, обманывающими народ за деньги, побродягами, *таскающимися по передним вельможам для испрашивания милостыни...*" (П.А. Вяземский. Фон-Визин. VI. 1830–1848 гг.); "Не найдя никакой деятельности в среде, в которой родился, он сделался туристом; *потаскавшись лет десять по Европе, он воротился усталый и принялся читать...*" (А.И. Герцен. По разным поводам. 1846 г.); "И я пойду, пойду опять, / Пойду бродить в густых лесах, / Степной дорожкой блуждать, / *Толкаться в шумных городах...*" (Я.П. Полонский. Узник. 1844 г.); "...я чрез три дня уеду отсюда *шататься по Италии*" (А.А. Иванов – Н.В. Гоголю. Июль. 1840 г.); "...церемониться мне с тобой нечего: недаром мы с тобой вместе учились, вместе *шатались по свету* и вместе дрались на Кавказе..." (А.В. Дружинин. Полянка Сакс. 1847 г.); "...мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. *В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние...*" (В.И. Даль. Говор. 1848 г.); "Я, *убивая время, шатался по городу, по Слободам, в Заречье встречал и провожал поезды на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих...*" (И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. 2. XVII)<sup>19</sup>. Ср. также *странствовать, путешествовать, кочевать* и (специализированно связан-

<sup>19</sup> Особо следует отметить расхождение между прямыми, физическими, БМ-значениями глагола *блуждать* (1. бродить в поисках дороги; 2. скитаться) и его переносными ментальными употреблениями, которые безразличны к "масштабу пространства" обозначаемого действия. Ср. *блуждать* (о мысли и мыслях), с одной стороны, и *блуждать* (о взгляде, взоре, улыбке, усмешке), с другой. В этой связи обращает на себя внимание также сформировавшаяся за последние полтора-два века асимметрия в соотношении между финитными и причастными формами "безмасштабного" глагола *бродить* в его переносных, ментальных значениях: *мысли блуждают / бродят – блуждающие / \*бродящие мысли; взор, взгляд блуждает / бродит – блуждающий / \*бродящий взгляд, взор; улыбка (усмешка) блуждает / бродит на губах –*

ное с ездой) *колесить*, с одной стороны, и *сновать*, с другой<sup>20</sup>. Особо следует выделить принадлежащие к этой семантической группе устаревшие "безмасштабные" *маячить* 1. 'мыкаться, ходить, двигаться, качаться из стороны в сторону' (ММ); 2. 'бродить, скитаться' (БМ) [БАС 1957, 6: 740 – без иллюстраций] и этимологически производящее для этого последнего (не отмечаемое нашими большими словарями)

*блуждающая* / \**бродящая на губах улыбка (усмешка)*. Ср.: "Унынье томное *бродило тусклым взором* / По роцам и лугам, пустеющим вокруг..." (П.А. Вяземский. Первый снег. 1817 г.); "И *влажный взор его бродил* / По диким соснам и камням..." (М.Ю. Лермонтов. Последний сын вольности. 1830 г.); "В мыслях мрак темнее ночи... / Сердце смолкнуло в ней вдруг, / И бессмысленные очи / *Бродят медленно вокруг*..." (А.И. Подолинский. Смерть Пери. 11. 1834-1836 гг.); "...*взгляд ее* немного прищуренных и как бы вглядывающихся во что-то далекое *глаз бесцельно бродил по окрестному виду*" (М.В. Авдеев. Подводный камень. 1. 3. 1860 г.).

В языке пушкинской эпохи – с характерной для него последовательно проведенной с метрией в отношении между единицами каждого данного парадигматического звена языковой системы и их воплощениями – этого расхождения еще не было. Ср.:

а) *взгляд* – *взгляды*: "И с *взглядом друга* не встречался / *Бродящий мой во мраке взгляд*" (П.А. Вяземский. К моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину. 1812 г.); "И сей *бродящий взгляд* мне внятен: / Он ищет Бурцова средь нас..." (П.А. Вяземский. К партизану-поэту. 1815 г.);

б) *взор* – *взоры*: "Там, брося – с высоты *бродящий взор* на воды / Улисса по следам, / По тьме, по ветру, по волнам / Бегущего, как ей казалось, догоняет..." (Г.Р. Державин. Цирцея. 1804 г.); "Томится сладостным желаньем; / *Бродящий взор* его блестит..." (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. 4. 1817–1820 гг.); "С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. <...> Это зрелище представилось Ромуальду и Всеславу, когда они, запыленные, вошли в комнату. <...> Эмма в забытьи, с *бродящими окрест взорами*, опиралась на плечо Отто..." (А.А. Бестужев-Марлинский. Замок Нейгаузен. III. 1824 г. – Заметим здесь также *окрест* в "маломасштабном" значении!);

в) *глаза*: "...мутные, *бродящие глаза* его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии..." (О. Сомов. Юродивый. 1827 г.);

г) *очи*: "Не спалось лишь ей, не смыкала очей... / И *бродящим, открытым очам*, / При лампадном огне, в шпикае и броне / Вдруг явился Ричард Кольдинггам..." (В.А. Жуковский. Иванова ночь. 1822 г.);

д) *дума* – *думы*: "Возможно ли в свое творенье, / Уняв веселых мыслей шум, / Тогда вперяя холодный ум, / Отделкой портить небылицы, / Плоды *бродящих резвых дум*, / И сокращать свои страницы?" (А.С. Пушкин. Моему Аристарху. 1815 г.);

е) *мысль* – *мысли*: "...мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле с книжкою в руках и с *мыслями, бродящими в минувшем и в будущем*..." (М.Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская. III. 1836-1838 гг.) и т. п.;

ж) *рука*: "Перо! тебя давно *бродящая рука* / По преданной тебе бумаге не водила..." (П.А. Вяземский. К перу моему. 1816 г.).

Ср. также *бродячий*: "На сны, в ночи *бродячие*, похожа / Моя тревожная любовь..." (Н.П. Огарев. "А часто не хотел себе я вверить..." 1842 г.) и *блудящий*: "И над болотом меж кустов / *Огни блудящие* спешат / Укрыться от дневных огней..." (М. Ю. Лермонтов. Последний сын вольности. 1830 г.).

<sup>20</sup> Ср. также показательные – с "масштабной" точки зрения – сопоставления типа \**скитаться по улице* – *скитаться по улицам* ("Более двух часов *скитался* Лаврецкий *по улицам города*..." – И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. XXXVIII, 1858 г.), \**скитаться по полю* – *скитаться по полям* ("Мы же и одному русаку бывали рады, – вернее, нашим *скитаньям* за ним *по осенним полям*, на осеннем воздухе" – И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. 4. VIII); \**скитаться по деревне* – *скитаться по деревням*, \**скитаться по саду* – *скитаться по садам* и т. п. и, с другой стороны: \**скитаться по саду* – *скитаться по лесу* или *по парку*, \**скитаться по деревне* – *скитаться по городу*, \**скитаться по полю* – *скитаться по равнине*, откуда ясно, что *сад* и *деревня* (как *улица* и *поле*), даже если это *большой сад* и *большая деревня*, *длинная улица* и *широкое поле*, несут в себе скрытое значение "малого масштаба", тогда как *равнина* и *парк*, *лес* и *город*, даже если это *небольшой лес* и *небольшой город*, – скрыто "великомасштабны". Совершенно очевидно, что "масштабность" в таких случаях определяется тем, что находится – не находится в поле зрения субъекта этого действия.



*маяться* 1. 'ходить из стороны в сторону' (ММ); 2. 'бродить, скитаться' (БМ). Ср.: "Прошло семь лет. Не считаю нужным рассказывать, что именно происходило со мной в течение всего этого времени. *Помаялся я таки по России*, заезжал в глушь и в даль, и слава богу! Глушь и даль не так страшны, как думают иные, и в самых по-таенных местах дремучего леса, под валежником и дромом, растут душистые цветы" (И.С. Тургенев. Яков Пасынков. II. 1855 г.).

Однако до конца третьей четверти пушкинского XIX века употребление *скитаться* в сочетаниях с "маломасштабными" именами пространства отнюдь не воспринималось как нарушение какой-либо литературной нормы и было вполне обычным в текстах самых высоких языковых авторитетов этой эпохи:

"Нередко к вечеру, *скитаясь меж кустами*, / Когда мы с поля шли, и в роще соловей / Свистал вечерню песнь, – он томными очами / Уныло следовал за тихую зарей" (В.А. Жуковский. Сельское кладбище. 1802 г.); "Он не знал, что ему делать со своими деньгами <...>; с ужасом смотрел, как <в маскараде> *скитались перед ним несчастные жертвы праздности, тщеславия и немощи...*" (Н.Ф. Павлов. Маскарад. II. 1835 г.); "...но были между ними <жителями Петербурга> и такие, которые удачно подделывались под парижанина и притворялись петербуржцами: то смотрели беспечно бог знает куда, то искали спасения от одиночества, страдали модным несчастием быть выше толпы, *скитались сиротой на московском бульваре...*" (Н.Ф. Павлов. Миллион. I. 1839 г.); "Каждый день, / Я вам сказал, она в саду *скиталась...*" (И.С. Тургенев. Параша. X. 1840 г.); "...но между тем / Как по саду они *вдвоем скитались*, / Что, если б он, кого все знаем мы, / <...> / Что, если б бес печальный и могучий / Над садом тем, на лоне мрачной тучи / Пронесся..." (И.С. Тургенев. Параша. LVIII. 1840 г.); "Я всходил на холм зеленый, / Я всходил по вечерам; / И тебя, мой ангел милый, / Ожидал и видел там. / Помнишь шёпот старых сосен, / Шелест трав и плеск ручья... / Ах! с тех пор, как околдован, / У холма *скитаюсь я...*" (И.С. Тургенев. "Я всходил на холм зеленый...". 1840 г.); "Его голый затылок, с косицами крашенных волос и засаленной анненской лентой на галстучке цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо *скитающимся во время танцев вокруг игорных столов...*" (И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. XIII. 1858 г.); "Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик набежал и испстрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые бревна, около которых я *скитался...*" (И.С. Тургенев. Первая любовь. 1860 г.); «В течениис всей этой ночи мы *скитались*, по французскому выражению, как *преступные души*, "comme des âmes en peine"; входили в комнаты, садились рядышком на стульях залы, осведомлялись о Тропмане, взглядывали на часы, зевали, опять спускались по лестнице на двор, на улицу, возвращались, садились опять...» (И.С. Тургенев. Казнь Тропмана. II. 1870 г.); "Ночь наступила, сальная свеча тускло горела на столе. Чертопханов перестал *скитаться из угла в угол*; он сидел весь красный, с помутившимися глазами..." (И.С. Тургенев. Конец Чертопханова. XIII. 1872 г.); "Потом он стал *скитаться по саду*, издали поглядывая на павильон, около которого уже началась возня укладки..." (И.С. Тургенев. Песнь торжествующей любви. VIII. 1881 г.); "Вечно одетая в серое платье и серую шаль, от которой пахло камфарой, она *скиталась по дому*, как тень, неслышными шагами..." (И.С. Тургенев. Клара Милич. I. 1882 г.) и др. под. То же в переносном употреблении: "...несмотря на всё наше сосредоточенное мужество, уже не один взгляд украдкой *скитался по углам комнаты*, отыскивая знакомую шляпу..." (И.С. Тургенев. Рец. [Поэтические эскизы. М., 1850], 1851 // И.С. Тургенев. Собр. соч.: В 15-ти томах. М.; Л., 1963. Т. V, с. 353)<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Во всех этих случаях (поскольку в них идет речь о пешеходстве) мы скорее всего предпочли бы использовать глагол *бродить*, который, в отличие от *скитаться*, не предполагает периодических, более или менее длительных, перерывов передвижения и остановок в тех или иных конкретных локусах, будь то места жительства, места работы или места пребывания – бывания, различия между которыми служат для лексикографов основанием выделения

Приведенные примеры (особенно из текстов позднего Тургенева) настолько представительны и надежны, что можно лишь удивляться полному отсутствию их в "больших" словарях, обычно фиксирующих и более редкие устаревшие словоупотребления. Между тем они очень важны, так как дают все основания утверждать, что *скитаться*, как и многие другие единицы русской лексики, пережило за последние полтора века переход от до- и безмасштабного состояния (наследием и пережитком которого является устаревающее *скитаться*<sup>2</sup>) к закрепленному значению "большого масштаба" пространства и времени. Ср. окончательное завершение этого процесса в производных *помина agentis скиталец* и *скиталица* ("От отца я отрекся, / Он отрекся ж от меня. / Так и быть, *по белу свету* / Я *скиталицей* пойду..." – П.А. Катенин. Из романсов о Сиде. 21. 1822–1823 гг.), которые соотносятся только с *скитаться*<sup>1</sup> <sup>22</sup>, при старом – фольклорном – *скитальщица к скитаться*<sup>2</sup>: «Солдатка Аксинья тоже повидала, узнав о смерти "любимого мужа", с которым она "пожила только один годочек" <...> И в своем вытье поминала "и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой" и горько упрекала "Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, *по чужим людям скитальщицу*"...» (Л.Н. Толстой. Хаджи-Мурат. VIII. 1896 г.)<sup>23</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.; Л., 1950–1965.  
 Даль – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1881.

оттенков основного значения *скитаться* (ср.: " ◊ Скитаться по людям, по чужим углам. Разг. Не иметь постоянного места жительства, менять одно местожительство на другое, живя у чужих людей ◊ Разг. Не имея постоянного места работы, переходить с одного места работы на другое" [БАС 1962, 13: 938]. *Бродить* же, если и допускает временные остановки, то не в реальных локусах, а в неких виртуальных точках пространства, как правило не получающих вербального обозначения.

<sup>22</sup> Ср. *скитаться как странник*: "От самой кюности игралнице людей, / Младенцем был уже изгнанник; / Под небом сладостным Италии моей / *Скитался как бедный странник*" (К.Н. Батюшков. Умиравший Тасс. 1817 г.). Ср. также номинационную и акциональную цепочки одного текста: "В пустыне *мыкаясь, скиталец бесприютный* / Однажды вечером увидел светлый храм. / Огни горели там, курился фимиам, / И пенье слышалось... Надеждою минутной / В нем оживился дух. – *Давно уж он блуждал, / Иссохло сердце в нем, изныла грудь с дороги; / Колючим тернием истерзанные ноги / И дождь давно не освежал. / Что в долгих странствиях на сердце накопело, / О чем он мыслил, что любил – / Всё странник в жаркую молитву перелил...*" (А.Н. Апухтин. "Оглашении, изыдите!". 1883 г.).

<sup>23</sup> То же изменение характеризует и историю глагола *гулять* который, при безразличии к "масштабу" его переносных и расширительных употреблений: *ветер гуляет на просторе* (БМ) – *по комнате* (ММ), *в голове у кого* (ММ) и т.п., в прямом своем – личном – значении ('ходить, расхаживать, прохаживаться взад и вперед') закрепился в БМ-контекстах: *гулять по парку, по саду, по коридору, по залу, по перрону* и т.п. Иначе в пушкинскую эпоху: "Средь поля *роковой намост / На нем гуляет, веселится / Палач* и алчно жертвы ждет..." (А.С. Пушкин. Полтава. 1828 г.). То же в отношении отглагольного имени *прогулка*: "Едва веселыми лучами / День новый окна озлатил, / Елецкий *скорыми шагами* / Уже по комнате ходил. / Порой в забвении глубоком / Остановясь, прилежным оком / Во что-то всматривался он. / Во взорах счастье выражалось; / Перед душой его, казалось, / Летал веселый, светлый сон. / Через мгновенно пробужденный, / Он тем же чувством озаренный, / *Свою прогулку продолжал...*" (Е. Баратынский. Цыганка. V. 1830 г.); "Пришел бурмистр и стал в столовой, / А барин ходит и молчит; / <...> / *Соскучившись прогулкой мерной, / Подходит барин наконец...*" (Н.П. Огарев. Матвей Радаев. I. 1. 1856 г.); "Он <Николай Ростов> старался избегать прежних знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт с своей матерью, и *молчаливыми прогулками по комнате* и курением трубки за трубкой..." (Л.Н. Толстой. Война и мир. Эпilog. I. V. 1863–1868 гг.).

- МАС – Словарь русского языка: В 4-х томах. М., 1986.
- НСРЯ – *Т.Е. Ефремова*. Новый словарь русского языка: В 2-х томах. М., 2000.
- Ож. – *С.И. Ожегов*. Словарь русского языка. М., 1975.
- ОШ – *С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова*. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
- Пеньковский 1991 – *А.Б. Пеньковский*. Сдвиг норм наречного словоупотребления как исследовательская база для изучения грамматической и коннотативной семантики русского слова // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 2. М., 1991.
- Пеньковский 2002 – *А.Б. Пеньковский*. О развитии скрытых семантических категорий русского языка (От Пушкина до наших дней). 1. Категория масштаба // Аванесовские чтения. Международная научная конференция 14–15 февраля 2002 г. Тезисы докладов. М., 2002.
- СП 1956 – Словарь языка Пушкина: В 4-х томах. М., 1956.
- СЦСРЯ – Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской академии наук. СПб., 1867.
- Уш. – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова: В 4-х томах. М., 1935–1940.
- Фасмер 1967 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. М., 1967.
- Шанский и др. 1975 – *Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская*. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1975.

© 2004 г. Е.В. РАХИЛИНА, И.А. ПРОКОФЬЕВА

**РОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАК ОБЪЕКТ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ:  
РУССКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ГЛАГОЛЫ ВРАЩЕНИЯ\***

**ВВЕДЕНИЕ**

Для типологии главный интерес представляют повторяющиеся свойства естественных языков: они свидетельствуют о существовании языковых универсалий. Общепринято, что выборка языков, ориентированная на решение такой задачи, должна быть, во-первых, достаточно велика (от нескольких десятков до нескольких сотен языков), а во-вторых, достаточно разнообразна: например, никакие языки из этой выборки не должны состоять в близком родстве (см. [Bybee 1985; Bybee et al. 1994] и др.). Понятно, что типологи избегают близкородственных языков, опасаясь, что значения изучаемых признаков окажутся в них одинаковыми за счет изначального сходства языковых единиц, а не ввиду независимого действия универсальных принципов. Но не обедняет ли такая избирательность типологические исследования в каком-то другом отношении? Время от времени сомнения такого рода возникают и даже обсуждаются среди самих типологов. Например, в работах [Кибрик 1992; Kibrik 1998] защищается мысль, что результаты сопоставления родственных языков могут быть не просто релевантны, но и очень важны для типологии. Аргументируя свою позицию, А.Е. Кибрик приводил материал грамматики и синтаксиса, однако, как кажется, в еще большей степени, чем по отношению к грамматике и синтаксису, это утверждение верно применительно к лексике и к такой специальной и малоизученной области типологии, как лексическая, или семантическая типология. В нашей статье речь пойдет именно о ней.

Естественно, что лексическая типология – точно так же, как и фонетическая, морфологическая или синтаксическая – изучает повторяющиеся в разных языках параметры или системы параметров. Специфика этой области лингвистических исследований состоит в том, что она утверждает повторяемость параметров, которые непосредственно, в отличие от звуков, грамматических показателей или синтаксических конструкций, не наблюдаемы: они могут быть выявлены только в ходе глубокого семантического изучения лексики разных языков в сопоставительном плане.

Ввиду сложности проблемы, лексическая типология (в особенности по сравнению с грамматикой и синтаксисом) почти не имеет истории вопроса. Разумеется, нельзя не упомянуть здесь пионерские работы А. Вежбицкой ([Wierzbicka 1991; 1992] и др.), которые, впрочем, ориентированы в большей степени на этнолингвистику, чем на собственно типологию: акцент в работах Вежбицкой делается, скорее, на культурную специфику лексики, чем на ее сопоставимость в разных языках. В том же ключе выполнены и немногие работы лингвистов отечественной школы, прежде всего, А.Д. Шмелева, ср. [Шмелев 2002]<sup>1</sup>.

\* Исследование поддержано грантом РФНФ 02-04-00303а.

<sup>1</sup> Особняком стоят сопоставительные исследования лексики в диахроническом плане (ср. [Дыбо 1996; Зализняк 2002]), нас в этой работе будет интересовать исключительно синхронный срез лексических систем.

### Замечание

Традиционным примером уже разработанного системного описания лексики в типологическом плане считается – начиная со знаменитой работы [Berlin, Kay 1969] – поле цветообозначений. Действительно, библиография лингвистических исследований, касающихся названий цветов, огромна. Но цвета – с точки зрения лексической типологии – пример непоказательный: семантика цвета устроена иначе, чем семантика любого другого поля. Дело в том, что цвет может сам быть отдельным параметром, лексически выраженным (или не выраженным) в некотором языке. Такие параметры относительно легко исчислить и сравнить (разумеется, в полном объеме эта работа очень сложна и тоже пока не сделана). И хотя эти параметры не независимы друг от друга (синий связан с зеленым, черный с белым и т.д.), хотя в некоторых языках они выступают склессно (как сине-зеленый в японском), все же картина здесь похожа, скорее, на ту, которая характерна для грамматических значений и принципиально отличается от той, которая более естественна для лексических полей – скажем, поля позиционных глаголов (см. [Рахилина, Лемменс 2003]), глаголов перемещения в воде (см. [Майсак, Рахилина 2003]) или температурных значений (см. [Копчевская, Рахилина 1999]). Невозможно даже представить себе смысл, напоминающий 'сидеть' или 'горячий' в качестве простейшего параметра, организующего поле в той же степени, как 'белый' или 'черный'. Как и в других "обычных" семантических полях, в поле позиционных глаголов, глаголов перемещения в воде, температурных значений и др. отдельные параметры не имеют прямых лексических соответствий, они являются частью толкования, сложным образом встраиваются в семантику лексем и переопределяются с другими компонентами их значения. Например, для системы позиционных глаголов, по-видимому, важен параметр фиксированности в пространстве, для глаголов плавания – идея пассивности движущегося объекта, его подчиненности движению потока жидкости, а для температурных значений важнейшей "точкой отсчета" является температура человеческого тела. Но, как показано в цитированных выше работах, повторяются эти параметры в языках не в виде отдельных единиц лексической системы, а в виде релевантных для каждой такой системы фрагментов значения составляющих ее лексических единиц.

Обратим, однако, внимание на то, что несмотря на трудность решаемой лексической типологией задачи, интерес к этой проблематике, очевидным образом, растет, о чем свидетельствуют, в том числе, недавние издания [Newman 1997; 2002], которые посвящены анализу лексем или групп лексем в целом ряде языков мира, собранных, в традициях типологических описаний, под одной обложкой. Очень интересным был проект, осуществлявшийся в Варшавском университете в середине 90-х годов под руководством проф. Р. Гжегорчиковой. В рамках этого проекта исследовалась семантика прилагательных размера и цвета в различных – в том числе нескольких славянских – языках (ср., например [Grzegorzcykowa 1997; Grzegorzcykowa, Waszakowa 2000]). К сожалению, прямой сопоставимости результатов исследования удалось добиться только в области цветовых полей, однако сам этот проект дал огромный стимул к лексико-типологическим исследованиям – в том числе и лично для одного из авторов этой статьи, принимавшего в нем участие.

Вернемся, однако, к проблеме родственных языков и вопросу о том, можно ли включать материал таких языков в исследования по лексической типологии. Наш ответ: несомненно, да – и мы надеемся, что материал этой работы послужит аргументацией в пользу этой точки зрения. Мы покажем, что в лексической семантике расхождение языков происходит быстрее, чем во внешней форме лексем. Поэтому даже в том случае, когда сопоставляемые семантические поля в достаточно близких языках состоят только из этимологически родственных слов (иначе, к о г н а т о в, ср. англ. термин "cognate"), к тому же хорошо сохранивших фонетическое сходство, т.е. "узнаваемых" носителями другого языка, наборы семантических параметров, сопоставляющих лексику внутри такого поля, в этих языках могут, тем не менее, оказаться различны – в той же степени, в какой они могут быть различны для генетически не связанных между собой языков или для тех семантических полей сопоставляемых родственных языков, в которых вовсе нет когнатов.

В качестве примера в нашей работе предлагается опыт сопоставительного исследования в области лексической семантики для двух близкородственных славянских языков – польского и русского: сравниваются системы польских и русских глаголов со значением вращения, которые как раз практически целиком состоят из когнатов. Мы покажем, что сравниваемые системы значительно различаются, и в то же время, выделяются общие параметры, которые, как мы надеемся, претендуют на то, чтобы быть психологически и типологически релевантными и на которые, тем самым, можно опереться при дальнейшем, более широком типологическом исследовании.

Работа использует данные словарей – как двуязычных, так и толковых, материал корпусов текстов<sup>2</sup> и опросы информантов, носителей польского и русского языков<sup>3</sup>.

## ГЛАГОЛЫ ВРАЩЕНИЯ

### 1. Введение

Ситуация вращения описывается в русском и польском языках четырьмя парами когнатов; причем внутри каждой пары глаголов хорошо сохранилось фонетическое сходство, ср.:

- крутиться* – *kręcić się*  
*вертеться* – *wiercić się*  
*вращаться* – *obracać się*  
*кружить(ся)* – *krążyć*

В польском, кроме того, для выражения идеи вращения используется глагол *wirować*, в литературном русском отсутствующий (ср. однако отмеченное в северо-западных говорах еще В.И. Далем *вир* ‘омут, водоворот’).

В обоих языках выделенная группа глаголов вращения представляет собой квази-синонимы, плохо различаемые современными словарями, ср. толкования МАС:

- КРУТИТЬСЯ* – совершать круговое движение, *вращаться, вертеться*;  
*ВЕРТЕТЬСЯ* – совершать круговые движения, *вращаться, кружиться*;  
*КРУЖИТЬСЯ* – двигаться по кругу, *кругообразно*.

Та же картина характерна и для польских словарей, ср. соответствующие фрагменты словарных статей PSJP и SJPSz 1995<sup>4</sup>:

**KRĘCIĆ SIĘ** – *obracać się dokoła swej osi, wirować, być wprawionym w ruch wirowy* ‘вращаться вокруг своей оси, кружиться, быть приведенным в круговое движение’ [PSJP]; *być wprawionym w ruch obrotowy, wprawiać siebie w ruch wirowy; obracać się w koło, wirować* ‘быть приведенным в круговое движение, приводить себя в вращательное (вихревое) движение, вращаться кругообразно, кружиться’ [SJPSz 1995].

<sup>2</sup> Примеры использованы из архива Национального корпуса русского языка, а также из архива корпуса текстов Польского Научного издательства ([slovníki.pwn.pl/korpus](http://slovníki.pwn.pl/korpus); ниже [PWN]) и Гданьского университета ([www.cogito.univ.gda.pl/biblioteka/wsieci](http://www.cogito.univ.gda.pl/biblioteka/wsieci); ниже [UG]). При поиске русских примеров применялась программа, составленная А.В. Санниковым.

<sup>3</sup> Мы хотели бы принести особую благодарность Магдалене Данилевичовой, Ольге Леонидовне Катречко, Валентине Григорьевне Кульпиной, а также Малгожате Витославской, Мирославу Яворскому, студентам-русистам Гданьского университета и всем, кто помогал нам проникнуть в семантику польских глаголов.

<sup>4</sup> Очень интересные замечания о семантике глаголов вращения содержатся в монографии [Војаг 1979], однако в задачу этой книги, посвященной самым разным польским глаголам движения, не входило системное описание представителей группы вращения, так что найти в ней ответы на все многочисленные вопросы, возникающие при сравнении разных лексем, тоже не удастся.

**OBRACAĆ SIĘ** – *kręcić się, wirować* ‘крутиться, кружиться’ [PSJP]; *być obracany; kręcić się, wirować* ‘быть вращаемым, крутиться, кружиться’ [SJPSz 1995].

**KRAŻYĆ** – *wykonywać ruch kołowy; zataczać kręgi* ‘совершать круговое движение, описывать круги’ [PSJP] и [SJPSz 1995].

**WIROWAĆ** – *obracać się ruchem wirowym* ‘вращаться круговыми (вихревыми) движениями’ [PSJP]; *obracać się w koło, kręcić się; krążyć wokół czegoś, nad czymś* ‘вращаться кругообразно, крутиться, кружить вокруг чего-то, над чем-то’ [SJPSz 1995].

Между тем, и в том, и в другом языке каждый глагол, безусловно, имеет свою индивидуальную семантику и сочетаемость, отличную от остальных. Об этом свидетельствуют примеры, в которых невозможна взаимозамена одних глаголов вращения на другие, ср. (1)–(4):

(1) *Наша планета вращается* (\*крутится/\*вертится/\*кружится) *вокруг Солнца;*

(2) *Швейная машинка сломалась: у нее ручка не крутится* (\*вращается/\*вертится/\*кружится);

(3) *Александр от нетерпения вертелся* (?? крутился/\*кружился/\*вращался) *на месте.*

То же для польского:

(4) *Ziemia krąży* (\**obraca się*/\**kręci się*/\**wierci się*/\**wiruje*) *wokół Słońca* ‘Земля вращается вокруг Солнца’.

С другой стороны, уже сопоставление примеров (1) и (4) свидетельствует, что данные когнаты по-разному структурируют семантическое поле вращения в каждом из языков: один и тот же контекст в русском требует глагола *вращаться*, а в польском – глагола *krążyć*, когната для русского *кружиться*. Для интерпретации подобного рода эффектов требуется специальное исследование: современные двуязычные словари не дают им объяснения. Мы предприняли такое исследование, имея в виду выделить семантические параметры, задающие в каждом случае сочетаемостные возможности русских и польских глаголов. Результаты его представлены ниже: в следующих разделах будет последовательно сопоставляться семантика русских и польских глаголов, образующих пары когнатов.

## 2. Русск. *крутиться* ~ *вертеться* vs. польск. *kręcić się* ~ *wiercić się*

Начнем с русского.

### 2.1. *Крутиться* ~ *вертеться*: семантика вращения

*Крутиться* и *вертеться* – наиболее близкие по своей семантике глаголы вращения, во многих контекстах легко поддающиеся взаимозамене, ср. хорошо известное: *Крутится, вертится шар голубой*. Эти глаголы описывают прежде всего движение некоторого предмета вокруг собственной оси, поэтому оба они применимы к движению колеса, ср. (5)–(6):

(5) *В огромном машинном зале безмолвно ходили маслянистые поршни и крутилось страшное маховое колесо* (Ю. Домбровский. Хранитель древностей);

(6) *Колесо вертелось долго* (Ф. Достоевский. Игрок).

Любопытно, однако, что несмотря на то, что субъект вращения в этих примерах один и тот же, поменять глаголы местами не просто. Дело в том, что в случае явно целенаправленного и/или контролируемого движения *вертеться* практически исключено – а именно такая ситуация подразумевается в (5). Ср. также (7)–(9):

(7) *Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось* (\**вертелось*) *веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться* (А. Куприн. Олеся);

(8) <...> **винт крутится** (\*вертится) *от встречного потока!* (В. Концский. Вчерашние заботы);

(9) *На траве-мураве целый день крутится* (\*вертится) *поливалка* (Д. Гранин. Месяц вверх ногами).

Поэтому именно **крутится**, а не **вертится** употребляется в русском в контексте отрицания в значении 'не работает' – о части артефакта, предназначенной <человеком> для вращения – ср. (2), а также (10):

(10) *И сам тоже вошел в сарай – крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится* (В. Шукшин. Упорный).

Несовместимость целенаправленности движения с семантикой **вертеться** видна и в примерах типа (11), с одушевленными субъектами:

(11) *Вся труппа вышла на арену: по манежу бегал клоун, на огромных тумбах восседали львы, под потолком крутились* (\*вертелись) *гимнасты*.

Наоборот, в контекстах неконтролируемого движения, как в (12), предпочтение отдается глаголу **вертеться**:

(12) *Скрипя пружинами, вертелся* (<sup>??</sup>крутился) *на койке Гвоздев* [МАС].

Соответственно, в контекстах, допускающих взаимозамену, возникает легкий сдвиг значения в сторону нецеленаправленности/неконтролируемости в случае, если употреблено **вертеться**, и целенаправленности/контролируемости ситуации в случае **крутиться**. Так, обычно колеса едущего транспорта **крутятся**, но не **вертятся**: в этом случае имеется в виду ситуация целенаправленного вращения, а колеса перевернувшегося транспортного средства вращаются бесцельно, и в таком контексте естественно **вертеться**, как в (13):

(13) *Герстнер уцепился за колесо перевернутой кибитки – колесо вертелось, и Герстнер судорожно перебирал спицы* (В. Кунин. Чокнутые).

Впрочем, в такого рода контекстах возможно и **крутиться**, как в (14), но тогда описывается инерционное движение: мотоцикл уже перевернулся, а колесо все еще крутится, как если бы он продолжал <целенаправленное> движение:

(14) *Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо его крутилось* (Г. Бакланов. Был месяц май).

Понятно и то, что **колесо времени** или **прогресса** – скорее, **крутится**, чем **вертится**, и наоборот, вращение малоуправляемого колеса игорного стола хорошо описывается глаголом **вертеться**, ср. пример (6), а также (15):

(15) *Пока оно вертелось – а это длилось целую вечность – Коломбина шевелила губами: молила Бога, Судьбу, Смерть (уж и сама не знала, кого), чтобы мальчику не выпала роковая ячейка* (Б. Акунин. Любовница Смерти).

Если с этой точки зрения рассмотреть характерные субъекты вращения, окажется, что некоторые из них явным образом тяготеют к одному из глаголов:

	<i>крутиться</i>	<i>вертеться</i>
колесо	+	+
карусель	+	?
флюгер	+	+
мотор	+	?
лопасти мельницы	+	+
руль	+	?
колесо обозрения	+	?

Как видим, **крутиться** выглядит в этой таблице глаголом более общей семантики, "перекрывающим" употребление **вертеться** – но только потому, что действительно довольно непросто подобрать ситуацию, для которой была бы запрещена за-



мена *вертеться* на *крутиться*, т.е. которая не допускала бы интерпретации как целенаправленной. С этой точки зрения любопытны примеры (16) и (17), где употребление *крутиться* представляется крайне нежелательным: в самом деле, если представить себе, например, в (17) *крутился* на месте *вертелся*, это означало бы, что хвост действовал сам по себе, независимо от хозяина – и это вполне согласуется с нашими представлениями о семантической доминанте *крутиться* и *вертеться*.

(16) *Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моею головою, и касается даже моих волос хвостом, который вертелся (<sup>??</sup> крутился) и извивался с чрезвычайною быстротой* (Ф. Достоевский. Идиот);

(17) *И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки* (Л. Андреев. Петька на даче).

### Семантика неупорядоченного движения

Представляет интерес и переносное значение этих глаголов, когда собственно вращательный компонент движения теряется или почти теряется и остается идея неупорядоченного движения. Это очень характерный перенос – с вращения на хаотичное перемещение (прежде всего, людей) – по-видимому, он широко распространен. В русском языке тот же эффект мы будем наблюдать и на примере другого вращательного глагола – *кружить*, однако в каждом конкретном случае есть интересные семантические нюансы.

Итак, самопроизвольное (хотя и нецеленаправленное) движение, свойственное *вертеться*, очень естественно для живых субъектов. Имеется в виду, во-первых, беспорядочное движение вокруг своей оси, сидя – как в *вертится на стуле*; в таких случаях – при том, что некоторый "след" вращательности сохраняется (движение человека происходит вокруг своей оси), замена *вертеться* на *крутиться* (иными словами, реинтерпретация ситуации как целенаправленной) невозможна, ср. (18), где человек ни характер, ни последовательность движений не контролирует:

(18) *Роцин вертелся (\*крутился) на извозчике, ища глазами Катю* (А. Толстой. Хождение по мукам).

Во-вторых, речь идет о неупорядоченном перемещении человека в пределах некоторого небольшого пространства, заданного каким-то пространственным ориентиром, который напоминает нам об исходной оси вращения, ср. *вертелся под ногами, вертится перед зеркалом*. Контексты такого рода неупорядоченного движения свойственны и глаголу *крутиться*, но в этом случае может так или иначе проявляться свойственная этому глаголу целенаправленность движения. В частности, при *крутиться* локализация выбирается субъектом для определенной цели, и здесь очень характерны предлоги "смежности": *у, возле, около*, часто вводящие в качестве ориентира имя лица ср. (19):

(19) *Возле него (около него/рядом с ним/у него в квартире) постоянно крутились (\*вертелись) какие-то сомнительные личности (= сомнительные личности старались оказаться около выбранного ими человека)*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Ср., однако, у Достоевского (с точки зрения современной нормы пример, конечно, маркированный: более правильным здесь был бы вариант *крутился*): *Этот негодяй, который несколько лет вертелся пред Степаном Трофимовичем, представляя на его вечеринках, по востребованию, разных жидков, исповедь глухой бабы или родины ребенка, теперь уморительно карикатурил иногда у Юлии Михайловны между прочим и самого Степана Трофимовича, под названием: "Либерал сороковых годов"* (Ф. Достоевский. Бесы).

Целенаправленность сохраняют и другие, более удаленные от исходного вращательного значения употребления, где глагол *крутиться* значит, приблизительно: 'успевать в ограниченное время делать много (разных) дел, преодолевая разнообразные препятствия', ср. (20)–(21); как мы и ожидаем, эти контексты не свойственны *вертеться*:

(20) *С утра до вечера, бедняга, крутится (\*вертится), а женка из-за стойки командует, да чай с вареньем дует без передышки* (Вас. Андреев. Волки);

(21) *Иной раз он вытаскивал его из кучи газет, быстро заглядывал в сводку футбольного чемпионата, – как там возлюбленное "Динамо" крутится (\*вертится), хлопал ладонью по краю стола то с досадой, то с удовольствием и тут же отбрасывал орган Госкомитета по физкультуре* (В. Аксенов. Московская сага).

Интересно, что в тех случаях, когда переносное значение беспорядочного движения метафорически применяется к неодушевленным субъектам (обычно абстрактным: мыслям, идеям, пока не осозанным, словам, пока не сказанным, т.е. как бы "не пойманым", не зафиксированным, а значит, находящимся в движении) разница между *крутиться* и *вертеться* нивелируется (т.к. идея целенаправленности перестает быть релевантной), и глаголы в этих контекстах свободно заменяют один другой:

(22) *Множество мыслей вертелось (крутилось) у меня в голове* (М. Булгаков. Театральный роман);

(23) *В тот день на языке вертелось (крутилось) дурацкое двустишие, которое я сам придумал* (Ю. Трифонов. Предварительные итоги);

(24) *А я смотрю на чаек, и почему-то опять крутится (вертится) в голове Кабланка* (В. Конецкий. Вчерашние заботы).

В то же время, в примерах типа (25), где к неодушевленным субъектам типа *товар*, *деньги* применяется значение 'успевать...' (см. примеры 20–21), и *крутиться* значит 'множественно оборачиваться, принося большую прибыль', всегда подразумевается контролирующий ситуацию субъект, который и управляет процессом, так что несмотря на неодушевленность субъекта, *вертится* в таких контекстах употребляться не может:

(25) *А "Каторга" у них навроде большого света: там и товар краденый крутится (\*вертится), и деньги немалые, и все бандюги авторитетные наведываются* (Б. Акуния. Смерть Ахиллеса).

## 2.2. Польские *kręcić się* ~ *wiercić się* на фоне русских *крутиться* ~ *вертеться*

Противопоставление польских глаголов *kręcić się* ~ *wiercić się* если и сохраняется, то только в зоне одушевленных субъектов, поскольку значение *wiercić się* гораздо уже его русского когната и соотносится только с одушевленными субъектами ('поворачиваться в разные стороны, оставаясь на одном месте', как в *wierci się na krześle* 'вертится на стуле'):

(26) *Minęła godzina, potem druga, a on ciągle nie spał. Wiercił się, przewracał z boku na bok, nawet próbował zwinąć się* 'Прошел час, второй, а он все еще не спал. Вертелся, переворачивался с боку на бок, даже пробовал свернуться в клубок'. (L. Kemp. Ferdynand Wspaniały).

(27) *Niech pan się tak nie wierci – powiedział tata – powrzuca pan wszystkich do wody!* 'Пожалуйста, не вертитесь так, – сказал отец, – вы нас всех скинете в воду!' [PWN].

По поводу конкуренции *kręcić się* и *wiercić się* с одушевленными субъектами, заметим следующее. Словари выделяют у *kręcić się* группу соответствующих употреблений, считая их, по-видимому, полностью синонимичными *wiercić się*, ср. толкование, которое для таких случаев предлагается в PSJP: *zmieniać często pozycję; wiercić się* 'часто менять позицию, вертеться' (*kręcić się na krześle* 'крутился на стуле'); ср. также в SJPsz 1995: *siedząc, stojąc, leżąc, ciągle zmieniać pozycję, ruszać się; wiercić się* 'сидя, стоя, лежа постоянно менять позицию, двигаться, вертеться'. Однако наши исследования польских корпусов современных текстов и текстов интернета не выявили ни одного случая употребления *kręcić się* в таких контекстах; информан-

ты в своих оценках соответствующих примеров тоже оказывают предпочтение глаголу *wiercić się*.

Тем самым, польск. *wiercić się* (в отличие от русск. *вертеться*) не применим к неодушевленным субъектам: ни флюгер, ни карусель, ни колесо, будучи в движении, с помощью этого глагола описаны быть не могут. Эта зона доступна только глаголу *kręcić się*, для которого (как и его русского когната) главное – наличие оси вращения:

(28) *Wygrywał ten uczestnik, któremu bąk kręcił się (\*wiercił się) najdłużej – opowiada dyrektor muzeum* 'Выигрывал тот участник, у которого юла **крутилась/вертелась** дольше всех – рассказывает директор музея' [UG];

(29) *Nad nami dostojnie bacz niebezpiecznie kołysząc się kręcił się (\*wiercił się) wielki wentylator* 'Над нами с почетом, однако опасно покачиваясь, **крутился/вертелся** большой вентилятор' (K. Wurga. *Chłopaکی nie płaczą*).

Поэтому русское *Пока Земля еще вертится* (Б. Окуджава) переводится на польский как *Dopóki nam Ziemia kręci się*.

Если семантика польского *wiercić się* уже русского *вертеться*, то *kręcić się*, как оказывается, наоборот, шире своего когната *крутиться*. Дело в том, что *крутиться* обязательно предполагает внутреннюю ось вращения, свойственную самому вращающемуся субъекту (поэтому прототипическим субъектом для *крутиться* и является колесо). Что же касается польского *kręcić się*, то при нем допустимы и субъекты, не имеющие собственной оси вращения – и вообще не вращающиеся, правда, определенной формы: это длинные гибкие объекты (например, дорога, волосы), как бы закрученные вокруг *внешней* оси или так же закрученная цепь отдельных объектов (например, снежинки). Обратим внимание, что в таком случае внешняя ось, которую огибает вытянутый предмет, хотя и не является частью этого предмета (как у флюгера, винта или колеса), тоже не произвольна: речь идет о (часто циклическом) отклонении предмета от своей же прототипической формы (волосы) или траектории движения (дорога).

Такая "дополнительная" по отношению к русскому *крутиться* зона употреблений польского *kręcić się* в русском обычно передается глаголом *виться*<sup>6</sup>:

(30) *Droga kręciła się miejscami samą krawędzią pół* 'В некоторых местах дорога **влясь** вдоль самого края поля' (K. Grochola. *Nigdy w życiu*).

Однако русское *виться* предполагает в том числе и актуальное движение (ср. в других контекстах: *вьется флаг* = 'развевается, движется на ветру'<sup>7</sup>). Между тем, в примерах на употребление *kręcić się* такого рода физического движения нет, предмет находится в покое, а глагол вращения описывает результат некоторого абстрактного движения относительно ориентира, который хотя и не внутренний, т.е. не является частью <движущегося> предмета, но все-таки непосредственно с ним соот-

<sup>6</sup> Нециклическое вращение требует другого перевода, ср.: (...) *Za kościołem w prawo droga łagodnie kręciła się w stronę Nasutowa* 'За костелом справа дорога аккуратно **сворачивала** в сторону Насутова' [UG].

<sup>7</sup> По-польски в случае актуального движения *kręcić się* не употребляется: так, для движения флага выбирается другой глагол, когнат русского *виться* – *развеваться*, ср.: *Zebrana na brzegach zatoki ludność wiewatowała, na wszystkich okolicznych budynkach powiewały flagi angielskie i amerykańskie, a w świat poszły pierwsze depesze, zawiadamiające o szczęśliwym zakończeniu akcji* 'Собравшиеся на берегу залива люди ликовали, на всех окрестных зданиях **развевались** английские и американские флаги, а по миру пошли первые депеши, уведомляющие о счастли- вом окончании военных действий' (Kalejdoskop Techniki).

носятся. Такая трактовка семантики *kręcić się* в "неканонических" с точки зрения русского контекстах дает возможность проследить связь и с его базовыми употреблением (применительно к колесу и флюгеру), и с его русским когнатом *крутиться*.

Несколько слов о переносном значении беспорядочного движения: оно свойственно и польскому *kręcić się*. При этом, так же, как и его русский когнат, *kręcić się* тяготеет к контекстам с локализацией смежности и одушевленным ориентиром<sup>8</sup>, ср. (8).

(31) *Około księcia kręciło się немало dworaków służących i schlebających dla własnej korzyści, ale orli umysł Jeremiego wiedział dobrze, co o kim trzymać* 'Вокруг князя **крутилось** немало дворовых, служащих и угождающих ради собственной выгоды, однако пронизательный Еремей хорошо понимал, кто что из себя представляет' [UG].

Но и здесь круг употреблений *kręcić się* шире, чем у русского *крутиться* – в частности, польский глагол описывает не только движение *około* определенного (в том числе и одушевленного) ориентира, но и (беспорядочное) перемещение *wewnątrz* замкнутого пространства. В русском языке такой тип движения обычно передается глаголом *бегать* (*no*), ср. (31)–(32):

(32) *Dom jest czysty i zadbane, po pokoju kręci się dwójka dzieci* 'Дом чистый и ухоженный, по комнате **бегают** [букв. 'крутятся'] двое детей' (K. Grochola);

(33) *Kolacja się dogotowywała, Józka kręciła się po izbie, a stary pykał z fajki w komin i coś sobie myślał głęboko, bo prawie się nie odzywał* 'Ужин доходил, Юзка **бегала** по комнате, а старик, попыхивая трубкой в камин, о чем-то глубоко задумался, поскольку почти все время молчал' [UG].

Русский глагол *крутиться* в подобных контекстах не встречается<sup>9</sup>.

### 3. Русск. *вращаться* vs. польск. *obracać się*

Этимологически и морфологически ближайшим коррелятом польскому *obracać się* является русское *оборачиваться* со значением 'повернуть голову или часть туловища, чтобы посмотреть назад (только о человеке)'.<sup>10</sup>

Но данное значение лежит на периферии зоны вращения (хотя и сохраняется глаголом *obracać się*<sup>10</sup> – наряду с другими), и с этой точки зрения, *оборачиваться* "не интересно" сравнивать с польским *obracać się*. Другой русский глагол, морфологически близкий польскому, *вращаться* – церковнославянизм, в современном языке он уже не описывает вращательного движения, наиболее употребительны для него контексты типа *обратиться к кому-л. за чем-л.* со значением 'попросить'. Поэтому для сравнения с польским *obracać się* мы выбрали не точный, хотя и довольно близкий когнат: глагол *вращаться*.

<sup>8</sup> Впрочем, неодушевленный ориентир тоже возможен, ср: *Kilku gazetiarzy ze schroniska, z plikami gazet niemieckich pod rączką, kręciło się na przystankach niezdecydowanie* 'Несколько газетчиков из убежища, со стопками немецких газет под мышкой, нерешительно **крутились** на остановках' (T. Borowski. Pożegnanie z Marią).

<sup>9</sup> И все-таки в нашей выборке оказался один нетривиальный пример такого рода – что интересно, не с глаголом *крутиться*, а с глаголом *вертеться* (который, как мы помним, тоже употребляется в локативных контекстах беспорядочного движения). Пример встретился у Достоевского – и это не случайно: Достоевский, как мы видели (см. сноску 2), склонен расширять зону *вертеться*; кроме того, он, как известно, нередко допускает полонизмы: *Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, – одним словом, очень вертелся по комнате* (Ф. Достоевский. Бесы).

<sup>10</sup> Ср. примеры типа: *Gdy się obracał aby zaatakować następnego na jego pierś spadł cios* 'Когда он **оборачивался**, чтобы атаковать следующего, его поразил удар в грудь' (S. Grzesiuk. Opowiadania).

*Вращаться* описывает небыстрое равномерное и длительное движение предметов вокруг оси – характерное для механизмов и их частей (колеса станков, турбины и т.п.):

(1) *Вскоре пила с победным воем вновь врезалась стальными, бешено вращающимися зубьями в железо и разметывала фонтаны горячих искр* (К.Г. Паустовский. Повесть о жизни).

Широко распространены и вполне укладываются в наше представление о *вращаться* контексты уподобления обыденных предметов механизмам:

(2) <...> *черная с серебряным резным набалдашиником трость вращалась, как пропеллер, образуя в воздухе прозрачный круг* (Ал. Кабаков. Последний герой).

Равномерное и длительное круговое движение подразумевает много последовательных оборотов, поэтому сочетания типа *кран (не) вращается* выглядят странно: лучше в такой ситуации выбрать *(не) крутится*, безразличное к числу оборотов или *(не) поворачивается*, где, напротив, имеется в виду только неполный оборот. С другой стороны, именно глагол *вращаться*, точнее, причастие от него, выбирается как термин, обозначающий артефакты, предназначенные для вращательного движения. Говорят: *вращающееся кресло, табурет, двери, башня танка*, но не: *крутящаяся* или *вертящаяся* (что значило бы актуальное, а не потенциальное – и тем самым, как бы бесконечное – движение).

Еще одно яркое проявление семантических свойств *вращаться* – в его неспособности сочетаться с одушевленными субъектами и – в прототипическом случае – с частями человеческого тела: живые субъекты в принципе не соответствуют механическому движению *вращаться*, ср. запреты типа *\*мальчик вращался на стуле*. Исключения составляют *глаза*: в русском языке есть устойчивое сочетание *вращать глазами* со значением ≈ ‘сознательно приводить глаза в круговое движение, как бы механическое’, которое, вполне укладываясь в семантику глаголов вращения, влияет на непереходные употребления, так что с некоторым трудом и в определенных контекстах может встретиться и *глаза вращаются* – как их самопроизвольное движение, ср. (3)–(5):

(3) *Находясь в состоянии сценического экстаза, я даже и не удивилась, увидев льющуюся кровь по лицу убитого мною Скарпия, и пришла в себя только от дико вращающихся глаз мертвеца* (Г. Вишневская. Галина: История жизни);

(4) *У него топорщились усы и один глаз вращался* (Юрий Олеша. Три толстяка);

(5) *И сверкнули глаза – два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна <...>* (Е. Замятин. Мы)<sup>11</sup>.

Характерным контекстом, и тоже хорошо соответствующим описанной выше семантике *вращаться*, является движение планет: это бесконечное вращение с внешней или внутренней осью (вокруг какого-то другого объекта или вокруг своей оси), упорядоченное и равномерное (как бы механически заданное) настолько, что никаким другим русским глаголом вращения описано быть не может, ср. пример (1), а также:

(6) *Солнце вращается, и место извержения давно переместилось в сторону* (А. и Б. Стругацкие. Страна багровых туч);

(7) *Он не был сам творцом своего пути, своей судьбы; ему, как планете, очерчена орбита, по которой она должна вращаться* (И. Гончаров. Обрыв).

Движение планет называется именно *вращением*, или *вращательным движением*, и этот термин вообще в русском языке закреплен как научное обозначение переме-

<sup>11</sup> Очень редко встречаются нестандартные примеры на употребление *вращаться* с другими частями тела, как у Набокова, у которого вообще очень большая частотность этого глагола: *Буш читал быстро, его лоснящиеся скулы вращались* (В. Набоков. Дар); ср. также другой пример того же автора, с переходной формой глагола: *Иннокентий молча шагал рядом, вращая ртом (луцилл семечки)* (В. Набоков. Круг).

щения по кругу. В силу семантики *wracać się*, "разрешающей" (в отличие от других глаголов вращения) и внутреннюю, и внешнюю ось, *wracać się*, действительно, лучше других приспособлен для обобщающей роли нейтрального генерического предиката, и в русском языке занимает это место.

Функция польского *obracać się* другая: на роль обобщающего глагола вращения в этом языке претендует, скорее, *kręcić się*, и он же, а не *obracać się*, употребляется применительно к планетам и другим "упорядоченным" в своем круговом движении небесным телам, см. пример (4) в первом разделе. Дело в том, что в польском именно *kręcić się* безразличен к тому, является ли ось вращения внешней или внутренней<sup>12</sup> – *obracać się*, по-видимому, предпочитает внутреннюю ось вращения. Другое отличие семантики *obracać się* от русского *wracać się* в том, что он может описывать и единичный оборот, причем как полный, так и неполный – и в этих контекстах соответствует совсем другому русскому глаголу – *повернуться/поворачиваться*, ср. *obrócić się na pięcie/na drugi bok/tyłem* 'повернуться на пятке/на другой бок/задом'; такого рода контексты возможны и с неодушевленным субъектом, ср:

(8) *Nie mogę otworzyć zamka: klucze nie obracają się* 'Я не могу открыть замок: ключи не поворачиваются'.

В том случае, если круговое движение, обозначаемое *obracać się*, более длительно, оно должно быть не очень быстрым, так, чтобы отдельные обороты были различимы наблюдателем, поэтому в качестве субъектов вращения для этого глагола характерны колеса, стрелки часов, крылья ветряной мельницы и значительно менее предпочтительны карусель или флюгер, с которыми употребляется более общий *kręcić się*.

(9) *Patrzył z ogromnym skupieniem, jak pod białą pustynią sufitu obraca się* (<sup>13</sup>*kręci się*) *powoli śmigła wentylatora*. 'Он очень сосредоточенно смотрел, как под белой пустыней потолка медленно вращается пропеллер вентилятора' (W. Żukrowski. Kamienne tablice).

Такое ограничение вполне объяснимо, если иметь в виду целостную модель семантики *obracać się*: движение, которое этот глагол обозначает, как бы состоит из оборотов – одного, части оборота, нескольких или многих<sup>13</sup>.

Любопытно, что русское *wracać się* и польск. *obracać się* "сходятся" в переносном значении: МАС выделяет для *wracać się* употребления со значением 'часто бывать в каком-либо обществе, среде', а SIPSz 1995, соответственно, для *obracać się*, значение 'przebywać, bywać gdzieś; znajdować się gdzieś' ('пребывать, бывать где-то, находиться где-то'), ср. следующую пару примеров:

(10) *Ołga <...> energiczna, zamужem za amerykańskim pisателем, wraca się w wydawniczym świecie, – все стекается удобно* (А. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов);

(11) *Schmidt-Holtz nie ma doświadczenia w dziedzinie muzyki, ale obraca się wśród artystów, ma zdolności twórcze – wyjaśnił rzecznik grupy* 'У Шмидт-Хольца не было музыкального образования, однако он вращался в среде артистов, имел творческие способности – объяснил представитель группы' [PWN].

<sup>12</sup> Вспомним здесь, что именно *kręcić się* применим к длинным гибким предметам – типа волос или дороги, – закрученных вокруг внешней оси (см. выше раздел 2.2).

<sup>13</sup> На особую роль оборотов в семантике *obracać (się)* указывает также и [Vojar 1979], см. прежде всего с. 38. Там же обращается внимание на то, что этот глагол описывает как вращение в несколько оборотов, так и вращение в неполный оборот.

И в русском, и в польском это значение существовало в XIX веке и, в общем, сохранилось до сих пор. В русском, однако, оно значительно сузило зону своего употребления (в пользу "механических" контекстов глагола *вращаться*), стало менее нейтральным (хотя, по-видимому, и раньше нельзя было сказать: ср. \**вращался среди хулиганов!*\* в кругу бродяг и под., ср. ниже польские примеры) и закрепилось только по отношению к престижному, высшему обществу – часто иронически, с опущением локативной позиции, ср. (12)–(13):

(12) В сферах *вращаемся* (В. Астафьев. Прокляты и убиты);

(13) <...> когда уже совсем становилось невозможным, она говорила себе, что, верно, будни актрисы Гиацинтовой не намного разнообразнее ее буден, <...> – даром что она столичная примадонна, *вращается* и вообще (Вяч. Пьецух. Рассказы).

В польском таких ограничений нет, глагол *obracać się* совершенно нейтрален и употребляется по отношению к любому обществу и любой среде:

(14) *14-letni syn opuścił się w nauce, zaczął palić papierosy, obracał się w złym towarzystwie, próbował różno wracać do domu* '14-летний сын стал хуже учиться, начал курить, попал в плохую компанию (букв. 'вращался в плохой компании'), пытался поздно возвращаться домой';

(15) *Kiedy więc przedstawiciele instytucji formalnej kontroli społecznej określą chłopca, który już od dawna obraca się w kręgach przestępczych, jako nieletniego przestępcę, nie będzie to miało poważniejszego wpływu na jego dotychczasowy obraz własny* 'Ведь когда представители институтов общественного контроля определяют мальчика, который уже давно *вращается* среди преступников (букв. 'в преступных кругах'), как малолетнего преступника, это нисколько не повлияет на его собственный образ' (A. Siemaszko. Granice tolerancji).

#### 4. *Кружить(ся) vs. krążyć*

Трудность сопоставления польского и русского в этой зоне состоит в том, что в русском языке имеется два глагола – переходный *кружить* и непереходный *кружиться*, и оба они достаточно близки польскому *krążyć*. Дело в том, что русское *кружить* имеет непереходные употребления со значением вращательного движения типа (1), которые считаются синонимичными возвратному *кружиться*, ср. (2):

(1) *На бледном небе ястреб кружит;*

(2) *Над городом высоко кружились немецкие самолеты.*

Польское *krążyć*, с одной стороны, легко переводит русское *кружить/кружиться* в этих контекстах, ср. (3) и (4):

(3) *Jastrząb krążył nad wodą, szukając swej ofiary* 'Ястреб *кружил* над водой, ожидая жертву' [PWN];

(4) *Nasz samolot kwadrans krążył w powietrzu, bo nie było miejsca na lądowanie* 'Наш самолет 15 минут *кружил* в воздухе, поскольку не было места для посадки' [PWN].

С другой стороны, *krążyć* не имеет возвратного производного, так что этот глагол может считаться когнатом по отношению сразу к двум русским глаголам – и *кружить*, и *кружиться*. Мы покажем, что, тем не менее, семантически *krążyć* не тождествен полностью ни одному из русских эквивалентов.

Русское непереходное *кружить* описывает прежде всего такую ситуацию, в которой субъект движения описывает круги, обязательно находясь НАД ориентиром, как в (5)–(6). Если ориентир не выражен, им становится говорящий/наблюдатель. *Кружить* таким образом могут немногие – птицы, самолеты, летающие насекомые:

(5) <...> в поле аист ходит, трещит клювом что пулемет, над ставком, обросшим склоненными ивами, кулик *кружит* или другая какая длинноклювая птица (В. Астафьев. Пастух и пастушка);

(6) *Кондратюк в кювет – "мессершмитт" кружит над кюветом* (Г. Бакланов. Падь земли).

Все это живые существа (а самолеты, как известно, уподобляются в языковом сознании птицам – ср. в [Рахилина 2000: 305]), которые во-первых, значительно удалены от ориентира движения, а во-вторых, сознательно совершают движение, обычно в поиске чего-либо – пищи, добычи, гнезда и под.

Прототипическая ситуация воспроизводится в переносном значении *непереходно-го кружить*: 'двигаться извилистым путем, часто меняя направление, блуждая, плутая в поисках чего-то' [МАС], ср. *долго кружили по городу/в темноте/около собственного дома* и проч. Это уже не собственно глагол вращения, потому что, строго говоря, вращательного движения здесь нет (или оно не обязательно) – но при этом происходит движение вокруг ориентира, в отдалении от него и контролируемое, целенаправленное, часто в поисках ориентира. Тем самым, основные семантические параметры исходного (вращательного) значения *кружить* в этом случае сохраняются, ср.:

(7) *По дороге их захватила метель, они долго кружили* (= 'искали нужное место') *и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно* (А. Чехов. По делам службы).

*Кружиться* предполагает совершенно иной тип движения: субъект движется не над ориентиром, а поступательно, одновременно совершая круговые движения – так движутся танцующие пары, снежинки, листья, падая вниз, и под.:

(8) *Особенно если кружится листочек И осень, как знамя, стоит в отдаленье* (А. Кушнер);

(9) *Вот так и стой и смотри, как кружится-кружится мимо тебя вальс* (И. Грекова. Дамский мастер);

(10) *И мне казалось, что все, так же как и я, не молятся, а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несется вверх, к синему, замерзшему окну* (В. Каверин. Два капитана).

Обращает на себя внимание, что глагол *кружиться* часто и естественно употребляется рядом с другими глаголами движения: это обстоятельство, как кажется, подчеркивает поступательную составляющую в его движении, ср. (10), а также (11):

(11) *Он чувствовал, что самолет кружится, несется к земле* (Д. Гранин. Иду на грозу).

Движение, описываемое *кружиться*, в отличие от *кружить*, не имеет ориентира, и с этим связано другое свойство, отличающее его от переходного коррелята: обозначаемое *кружиться* движение обычно самопроизвольно и неконтролируемо, у него нет цели, задаваемой ориентиром. Поэтому, в отличие от *кружить*, для *кружиться* свойственны прежде всего неодушевленные субъекты, не контролирующие ситуацию: *листья, пурга, снег*; эти субъекты не могут оказаться в контексте глагола *кружить*. Другим проявлением спонтанности движения, передаваемого *кружиться*, является употребление этого глагола для описания особого состояния человека, когда он перестает адекватно воспринимать окружающий мир, и ему *кажется*, что предметы беспорядочно движутся – *кружатся* вокруг него:

(12) *Фыркают кони, бегут в ровной степи, и кажется Натации, что кружится степь и бегут лошади как-то назад...* (Н. Гарин-Михайловский. Гимназисты).

Ср. также метонимическое *голова кружится*; в такого рода "неконтролируемых" контекстах целенаправленное *кружить* тоже никогда не возможно.

Тем не менее, встречаются случаи (и об этом свидетельствуют примеры в начале этого раздела) взаимозамены двух глаголов – однако в таких примерах имеется в виду все-таки не совсем идентичная ситуация: действительно, *ястреб кружится* значительно более бесцельно, чем *кружит*, и при этом в случае с *кружится* траектория его движения значительно менее определена (может включать и невращательное движение), тогда как *кружит*, скорее, предполагает поиск жертвы; ср. здесь близкие примеры (правда, с другим субъектом), в которых, тем не менее, невозможна за-



мена *кружить* на *кружиться* (иначе муха окажется хищной и прожорливой, высма-тривающей пирожок как добычу):

(13) *И муха на подоконнике кружится над недоеденным пирожком* (Гр. Канович. Парк забытых евреев)<sup>14</sup>.

Другой характерный класс примеров, в которых возможна взаимозамена этих глаголов – переносные употребления, субъектом которых является имя *трона*, ср.:

(14) *Трона кружится/кружит между стволами деревьев, порой отчаянно устремляется прямо вверх...* (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).

Однако и здесь структура ситуации меняется при переходе от одного глагола к другому: *кружится* значит что-то вроде ‘движется вперед, петляя’, а *кружит* употребляется в своем неосновном значении ‘двигаться извилистым путем <...>, плугая в поисках чего-то’ [МАС], обозначая тем самым движение к какому-то заданному месту (=ориентир)<sup>15</sup>.

Польское *krążyć* в описанном отношении ближе к *кружить*, чем к *кружиться* – оно тоже предполагает ориентир вращения. Такой ориентир может, как у *кружить*, располагаться внизу, под движущимся субъектом (ср. примеры в начале раздела), однако он может находиться и в одной плоскости с субъектом, ср. (15)–(18):

(15) *Lódź krąży wokół wyspy* ‘Лодка описывает круги вокруг острова’;

(16) *Korowód krąży wokół choinki* ‘Хоровод ходит кругами вокруг елки’;

(17) *W cyrku koń chodzi po kole. Krąży po arenie* ‘В цирке конь ходит по кругу. Он ходит кругами по арене’;

(18) *Byk zaś chcąc się uwolnić krążył wokół drzewa, owijając linę wokół pnia, aż całkiem skrócił pole manewru* ‘Бык, желая освободиться, ходил кругами вокруг дерева, обматывая веревку вокруг пня, так что значительно уменьшил поле для маневра’ [UG].

Легко видеть, что в таких случаях замена *krążyć* на *кружить* в персводах на русский невозможен, и более того, в русском вообще нет глагола вращения, который мог бы выразить эту идею: ближайшим эквивалентом являются сочетания типа *ходить/двигаться кругами*. Ср. также употребление *krążyć* для описания движения крови по кругу, как в (19):

(19) *Krew zaczyna krążyć szybciej w żyłach, pragnie innej krwi* ‘Кровь начинает быстрее течь по венам, жаждет другой крови’.

Не различая идею вращения над и вокруг объекта, *krążyć* имеет возможность “захватить” и часть зоны употреблений русского *кружиться*: встречаются примеры, когда *krążyć* описывает движение кружащихся в воздухе листьев или снежинок, ср. (20):

(20) *W powietrzu krążą żółtoczerwone liście* ‘В воздухе кружатся желто-красные листья’.

Ср. также:

(21) *Krążyć będą wokół niego w wspaniałym tancu.* ‘Будут кружиться вокруг него в дивном танце’ (P. Saługa. Maraton).

Интересно, что *krążyć* “вбирает” в себя и переносные значения *кружить*, ср. (22):

---

<sup>14</sup> Для польского, где обе ситуации обслуживаются одним и тем же глаголом, трудность здесь может возникнуть только при выборе русского переводного эквивалента, ср. *Nad pełnym wiadrem krążyły muchy* ‘Над полным ведром кружились (??кружили) мухи’ (B. Wojdowski. Chleb gziusony umarłym).

<sup>15</sup> В [Апресян 1995: 251] высказывается еще более сильная точка зрения, что *кружить* в таких употреблениях воспроизводит не только ориентир, но и рисунок пути – круги, точно так же, как *петлять* – петля.

(22) *Krążyli po całej dzielnicy, zanim doszli do domu* 'Они кружили (плутали) по всему району, пока не добрались до дому'.

Однако за счет идеи движения кругами класс такого рода употреблений *krążyć* оказывается значительно шире, чем у русского *кружить*, ср. (23):

(23) *Po mieście krążyły patrole wojska* 'По городу ходили (букв. 'кружили') патрульные войска',

а также очень характерное для *krążyć* (24), описывающее абстрактное движение – в данном случае новостей и слухов:

(24) *Jakaś plotka musi jednak krążyć o nas po mieście* 'Все-таки какие-то сплетни о нас, должно быть, ходят (букв. 'кружат') по городу'.

(25) *O pani Małyszki niespodziewanie zaczęły krążyć dziwne opowieści* 'О пане Малыше вдруг стали ходить странные рассказы'.

В обоих случаях вращательный компонент элиминируется полностью, и акцент делается на беспорядочном движении – но, как видим, в польском (в отличие от русского) такое движение может вовсе не иметь точечного ориентира и задаваться только пространственной локализацией, так что удачным переводом на русский в таких случаях будет уже не *кружить*, а глаголы типа *ходить* или *бродить*:

(26) *Dym krążył po całej izbie, wisząc chmurą zwłaszcza w górnej jej części, więc poruszanie się po izbie wymagało postawy pochylonej*. 'Дым шел (букв.: 'кружил') по всей комнате, облаком зависая в ее верхней части, так что движение по комнате требовало наклона' [PWN].

Как мы помним, очень похожий эффект наблюдался с глаголом *kręcić się* когда в переносных значениях он "терял" ориентир вращения и начинал обозначать беспорядочное движение. Обратим внимание, что в переводах на русский эти контексты переводились более "быстрым" *бежать*, тогда как *krążyć*, как мы видели, "довольствуется" *ходить* или *бродить*. Конечно, это обстоятельство не случайно: вращение вокруг внешнего ориентира (обязательное для *krążyć*) увеличивает его радиус, и, тем самым, делает движение более плавным и медленным. Поэтому беспорядочное движение, описываемое глаголом *krążyć*, может быть локализовано в более обширном пространстве, чем то, которое называет *kręcić się*, но при этом оно не такое быстрое, как в случае с *kręcić się*.

## 5. Глагол *wirować*

Семантические особенности глагола *wirować*, который как будто стоит особняком в группе польских глаголов вращения и не входит в число когнатов для русской группы, можно проследить даже по имеющимся словарным толкованиям. Так, вполне ясное представление о характере движения, подразумеваемом *wirować*, дает [SJPД 1958: 69]: 'очень быстро вращаться вокруг внутренней оси или (о веществе/совокупности объектов) совершать движения так, что результат будет напоминать вихрь или воронку'. В русской языковой картине мира такая ситуация не лексикализуется, и *wirować*, как мы уже говорили, не имеет в ней эквивалентов; обычно он переводится на русский глаголом *крутиться* (обозначающим движение с внутренней осью вращения), который, впрочем, не содержит специального указания на высокую скорость вращения, ср., с одной стороны, примеры типа *пластинка медленно крутилась*, а с другой, перевод следующих польских примеров:

(1) *Przebiera nimi na drewnianym kręgu, wprawiając go w ruch, a gdy silnik zaskoczy i krąg wiruje jak szalony – ręce wkłada do miski z wodą, odrywa od bryły gliny wygniecionej jak ciasto, mięsisty kęs; taki w sam raz na dzbanek* 'Он перебирает ими на деревянном круге, приводя его в движение, а когда мотор заработает и круг закрутится как бе-

шенный – он кладет руки в миску с водой, отрывает от кома глины, вымешанной как тесто, мясистый кусок, в самый раз для кувшина’.

(2) *Pomiary wykonane dzięki obserwacji teleskopu Hubble’a dowodzą, że dysk wiruje z dużą prędkością wokół czarnej dziury.* ‘Измерения, совершенные благодаря наблюдениям с телескопа Хаббла, говорят, что диск с большой скоростью **крутится** вокруг черной дыры’.

(3) *Technika rozwija się bardzo szybko. Standardowy CD-ROM wiruje z szybkością od 240 do 1170 obr/min* ‘Техника развивается очень быстро. Стандартный CD-ROM **крутится** со скоростью от 240 до 1170 об/мин’.

Таким образом, несмотря на отсутствие в русском самого параметра скорости, *wirować* явно соотносится именно с *крутиться*, а не каким-то другим русским глаголом. Косвенным подтверждением этому служит то, что в переносных употреблении *wirować* тоже “захватывает” зону действия *крутиться*, ср.:

(4) *Tyle pytań wiruje mi w głowie.* ‘Столько вопросов **крутится** у него в голове...’

Таким образом, в эти ситуации, связанные с воображаемым движением мыслей, слов, имен, вопросов и проч., как бы следующих по кругу – уходящих из памяти, и потом возвращающихся по очереди, – польский, по сравнению с русским, “добавляет” скорости. Интересно, что именно *wirować* используется в польском и при обозначении другой группы ситуаций, тоже связанных с воображаемым вращением мыслительных представлений, – там, где в русском используется еще более “медленный”, чем *крутиться*, глагол *кружиться*:

(5) *Mam okropny ból głowy: trzęsie mną, a czasami wszystko wiruje* ‘У меня ужасно болит голова, меня знобит, а иногда перед глазами все **кружится**’.

## 6. Системы вращения и типологически релевантные параметры

Подведем некоторые итоги.

Имеются две системы глаголов вращения в близкородственных языках – русском и польском. Одно и то же семантическое поле членится практически одним и тем же (если не считать глагола *wirować*) набором фонетически близких глагольных когнатов; семантически же это членение не совпадает ни на каком участке семантического поля.

Вот что предлагает русский:

*крутиться* – контролируемое или управляемое вращение тел, имеющих собственную (внутреннюю) ось, число оборотов не важно;

*вертеться* – неконтролируемое и неупорядоченное (возможно – в разные стороны) вращение субъекта вокруг собственной оси;

*вращаться* – равномерное круговое движение с большим числом оборотов вокруг собственной или внешней оси;

*кружить* – круговые движения над находящимся внизу на большом расстоянии ориентиром;

*кружиться* – поступательное движение, сопровождаемое вращательным.

Иная картина в польском:

*kręcić się* – вращение вокруг собственной или внешней оси, закручивание длинных гибких объектов (таких как волосы, дорога);

*wiercić się* – вращение человека вокруг себя в разных направлениях;

*obracać się* – вращение вокруг собственной оси, с различными оборотами вращения;

*krążyć* – вращение вокруг внешнего ориентира, на расстоянии от него, в том числе на расстоянии по вертикальной оси (т.е. над ним);

*wirować* – очень быстрое вращение вокруг внутренней оси, напоминающее вихрь или воронку.

Попробуем оценить принципиальные различия этих систем.

Во-первых, языки по-разному определяют семантические приоритеты для когнатов (например, для *kręcić się* возможна только внутренняя ось вращения, а для его когната *obracać się* и внутренняя, и внешняя; наоборот, русское *вращаться* безразлично к этому противопоставлению, а близкое ему польское *obracać się* выбирает только внутреннюю ось).

Во-вторых, они выделяют разные параметры: например, в польском важна скорость движения – не очень высокая для *obracać się* и очень высокая для *wirować*, а для русских глаголов вращения скорость не релевантна, зато существенно противопоставление по управляемости (*крутиться*) – неуправляемости (*вертеться*).

В-третьих, они по-разному комбинируют смыслы внутри лексемы, "захватывая" разные дополнительные участки семантического поля, и даже соседних полей. Примером может служить любая пара когнатов. Так, в паре *кружить* – *krążyć* русский глагол предполагает дистанцию между субъектом вращения и ориентиром по вертикальной оси (ориентир находится под вращающимся субъектом), а *krążyć* считает эту ситуацию подтипом более общей: вращения вокруг внешнего ориентира, в том числе и в одной с ним плоскости. Русский такого расширения не приемлет и, более того, "не умеет" его выразить лексически внутри поля глаголов вращения, – он "прибегает к помощи" специальных сочетаний с другими глаголами движения (типа *ходить по кругу*).

В-четвертых, даже сходные на первый взгляд переносные значения глаголов при ближайшем рассмотрении довольно серьезно различаются. Польский демонстрирует возможность глаголов в переносных значениях "терять" ориентир вращения, и за счет этого расширять свою семантику. Таким образом различаются *kręcić się* и *крутиться/вертеться* в значении неупорядоченного движения: *крутиться* и *вертеться* в этом случае обозначают движение вблизи некоторого ориентира (первое – целенаправленно, а второе – нет), тогда как *kręcić się* может "терять ориентир" и обозначать неупорядоченное движение в определенном пространстве (т.е. ситуацию, которая в русском обозначается глаголом *бегать <no>*). Очень похожее распределение в переносных значениях в паре *кружить* – *krążyć*: русский глагол ориентирует неупорядоченное движение с помощью некоторого (обычно – искомого) пункта, точки в пространстве, выполняющей роль оси вращения, а польский, обозначая эти ситуации как *krążyć*, "разрешает" этому глаголу "терять" ось, и тогда он называет неупорядоченное движение по определенной местности (т.е. опять ситуацию, исключенную из зоны действия глаголов вращения для русского).

Все это означает, что, по сути дела, мы можем и "забыть" о генетическом родстве польского и русского, занимаясь семантикой глаголов вращения. Оба языка обнаруживают чрезвычайную степень сложности этого поля и плохую предсказуемость релевантных для естественного языка параметров. Тем более интересно обозначить те параметры, значимые с типологической точки зрения, которые можно выделить уже на этом материале. Мы можем сказать, что естественный язык выделяет и различает по крайней мере следующие типы пространственных ситуаций вращения:

- вращение человека на месте (польский)<sup>16</sup>;
- вращение (прежде всего, артефакта) вокруг собственной оси – колесо, флюгер (польский, русский);

<sup>16</sup> Безусловно, релевантной для общей панорамы противопоставлений в зоне вращения с типологической точки зрения будет и вращение головы человека – то, что в русском называется глаголом (тоже вращения) *обернуться*. Как уже было сказано, в этой работе он исключен из рассмотрения только по соображениям внешнего порядка.

- расположение (или поворот) длинного гибкого предмета вокруг воображаемой оси – волосы, дорога (польский);
- вращение предмета вокруг внешнего ориентира, находящегося с ним в одной плоскости – лодка вокруг острова (польский);
- вращение над внешним ориентиром – ястреб, ищущий добычу (русский, польский);
- поступательное движение, сопровождающееся вращением – танцующие пары, листья, снег (русский).

Кроме того, можно выделить и абстрактные параметры ситуации вращения, так или иначе влияющие на концептуализацию такого движения в польском или русском:

- управляемость/неуправляемость (русский: *крутиться – вертеться*);
- небыстрое равномерное "механическое" движение (русский: *вращаться*);
- быстрое закручивающееся вихреобразное движение (польский: *wirować*);
- движение в один оборот или измеряемое одним оборотом (представлено, скорее, в польском, глаголом *obracać się*, но он объединяет такое движение с другими ситуациями).

Мы уже говорили, что поле вращения не имеет никакой естественной, предсказуемой структуры и с этой точки зрения, по-видимому, никогда лингвистами не изучалось. Этот перечень, с нашей точки зрения, дает первоначальный материал для возможной типологической анкеты, которая бы в будущем определила ход такого исследования.

Остается вопрос о том, как составлять такую анкету, т.е. как пользоваться выделенными нами параметрами. Легко видеть, что говоря о "параметрах" ситуации вращения, слишком сложно организованной и семантически, и пространственно, невозможно апеллировать к понятиям, выработанным в рамках теории компонентного анализа: тот тип языкового материала, который был нами рассмотрен, ясно показывает невозможность построения в этой зоне никакой простейшей двумерной признаковой таблицы, заполненной плюсами и минусами. Действительно, в зоне вращения значения релевантных параметров настолько тесно связаны друг с другом, что их почти невозможно отделить друг от друга, и это, как нам кажется, тоже следует из разобранного в этой статье материала. Значит, базу анкеты должны в этом случае составлять не параметры как таковые, а простые примеры пространственных ситуаций, характерных для данной культуры.

Еще раз обратим внимание, что этот первоначальный материал получен из генетически родственных языков, структурирующих поле вращения с помощью легко узнаваемых когнатов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Дыбо 1996 – А.В. *Дыбо*. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.
- Зализняк 2001 – Анна А. *Зализняк*. Семантическая деривация в синхронии и диахронии // ВЯ. 2001. № 2.
- Кибрик 1992 – А.Е. *Кибрик*. Типология родственных языков: синхрония и эволюция // Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков. М., 1992.
- Копчевская, Рахилина 1999 – М. *Копчевская-Тамм*, Е.В. *Рахилина*. С самыми теплыми чувствами (по горячим следам Стокгольмской экспедиции) // Типология и теория языка: От описания к объяснению. К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.
- Майсак, Рахилина 2003 – Т.А. *Майсак*, Е.В. *Рахилина*. Типология систем глагольной лексики: движение в воде // Материалы конференции "Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие". СПб., 2003.

- Рахилина 2000 – *Е.В. Рахилина*. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Рахилина, Лемменс 2003 – *Е.В. Рахилина, М. Лемменс*. Русистика и типология: лексическая семантика глаголов со значением 'сидеть' в русском и нидерландском // *RLing* (в печати).
- Шмелев 2002 – *А.Д. Шмелев*. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.
- Berlin, Kay 1969 – *B. Berlin, P. Kay*. Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley, 1969.
- Bojar 1979 – *B. Bojar*. Opis semantyczny czasownikow ruchu oraz pojęć związanych z ruchem. Warszawa, 1979.
- Bybee 1985 – *J.L. Bybee*. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
- Bybee et al. 1994 – *J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca*. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Grzegorzczkova 1997 – *R. Grzegorzczkova*. Projekt syntezy badań porównawczych w zakresie nazw wymiarów // *B. Nilsson, E. Teodorowicz-Hellman* (eds.). Nazwy barw i wymiarów – Colour and measure terms. Stockholm, 1997.
- Grzegorzczkova, Waszakowa 2000 – *R. Grzegorzczkova, K. Waszakowa*. Studia z semantyki porównawczej (nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne). Warszawa, 2000.
- Kibrik 1998 – *A.E. Kibrik*. Does intragenetic typology make sense? // *W. Boeder et al.* (eds.), Sprache im Raum und Zeit: in memoriam Johannes Bechert. Bd. 2: Beiträge zur empirischen Sprachwissenschaft. Tübingen, 1998.
- Newman 1997 – *J. Newman* (ed.). The linguistics of giving. Amsterdam, 1997.
- Newman 2002 – *J. Newman* (ed.). The linguistics of sitting, standing and lying. Amsterdam, 2002.
- Wierzbicka 1991 – *A. Wierzbicka*. Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction. Berlin, 1991.
- Wierzbicka 1992 – *A. Wierzbicka*. Semantics, culture and cognition: universal human concepts in culture-specific configurations. New York, 1992.

## СЛОВАРИ

- MAC – *А.П. Евгеньева* (ред.). Словарь русского языка: В 4-х томах. М.
- SJPD 1958–1969: Słownik języka polskiego. (10 tt.) / Red. nac. Witold Doroszewski. Warszawa: PWN, 1958–1969.
- SJPSz 1995: Słownik języka polskiego PWN / Red. nac. mieczysław Szymczak. Warszawa, 1995.
- PSJP: Podręczny słownik języka polskiego / Red. Tomu Elżbieta Sobol. Warszawa, 1996.

© 2004 г. О.Н. ЛЯШЕВСКАЯ

**О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЧИСЛОВОЙ ПАРАДИГМЕ  
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
(НАЗВАНИЯ ПИЩИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)\***

Число представляет яркий пример канонической грамматической категории, семантика которой напрямую связана с реалиями обозначаемой ситуации. Таким образом, число, в отличие, например, от вида, представляется как категория, независимая от лексического наполнения. Однако современные исследования по семантике числа и, в особенности, по типологии числа в языках мира, существенно корректируют эту картину. Выясняется, что имена разных лексических групп имеют разное числовое поведение, причем от языка к языку оно может различаться. Для объяснения такого рода феноменов уже недостаточно описания общих закономерностей числа как грамматической категории – важно найти ответы на более общие вопросы: у каких имен вообще возможны различия по числу [Corbett 2000]; каковы различия в числовом оформлении у имен с одним и тем же значением в разных языках (см. например [Wierzbicka 1988; Kibrik 1992; 2002; Behrens 1995; Koptjevskaja-Tamm, Wälchli 2001]); у каких имен возможны нестандартные значения числа [Арбатский 1954; Плунгян, Рахилина 1995]; и какие различия между языками возникают на уровне частных числовых употреблений [Rogers 1997]. Таким образом, исследования последних лет привлекают широкий лексический материал и неизбежно сталкиваются с задачей установления связей между лексикой и грамматической формой числа.

Для этого – в идеале – требуется зафиксировать для каждого языка числовые парадигмы всех имен существительных или, что то же самое, все случаи, когда числовое поведение той или иной лексемы отклоняется от стандартного. В то же время, объяснительная грамматика предполагает, что в языке существует не беспорядочный континуум лексически обусловленных исключений – в нем действует некий общий механизм использования определенных числовых форм для выражения определенных типов значения, причем выбор числовой формы "в известной степени независим от конкретного лексического воплощения" [Koptjevskaja-Tamm 2001] и даже от конкретного языка. Исследованию такого рода механизма на материале одной только семантической группы имен названий пищи и только в одном – русском – языке посвящена настоящая работа.

Статья состоит из шести разделов. В первом суммируются результаты, полученные в классических работах по семантике числа, и вводится понятие числовой парадигмы. Во втором разделе обсуждается принципиальная связь числовой парадигмы имени с его таксономическим классом. Третий раздел посвящен проблеме описания числа имен и именных групп. Далее в разделах 4–6 последовательно рассматривается числовое поведение имен следующих семантических групп: i) имен плодов – овощей, фруктов, ягод, грибов, злаковых и бобовых культур и т. п.; ii) мясных и рыб-

\* Данная работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 01-06-80419а. Автор выражает благодарность Е.В. Рахилиной, прочитавшей рукопись статьи и предложившей ряд ценных поправок.

ных блюд; iii) мучного и сладкого. В заключении дается краткий обзор выделенных признаков, обуславливающих числовое поведение имен, и обсуждаются проблемы их взаимодействия и предсказательной силы.

## 1. СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ ЧИСЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЧИСЛОВАЯ ПАРАДИГМА

Названия пищи дают благодатный материал для изучения многообразия числового оформления существительных. Рассматриваемые в этой статье имена объединены общим функциональным признаком ("это едят"), но различны в денотативном плане. Среди них и названия жидкостей (*молоко*), и названия классических "предметов" типа *яблока* (твердых и обладающих четкой формой), и имена таких существностей, как *капуста* и *хлеб*, которые, хотя и встречаются в виде кочанов и батонов, тем не менее, не подлежат счету и представляются языком как что-то недискретное, и многое другое. Вполне оправданно, что такие классы имен различаются по исчисляемости, а значит, и по употреблению форм числа.

Между тем, даже среди близких названий наблюдается поразительный разноряд в числовом оформлении. Почему-то говорят:

(1) а. *Варить борщ* [ЕД], но *щи* [МН];

б. *Есть печенье/мармелад/пастилу/карамель* [ЕД], но *конфеты/вафли* [МН];  
в. *Угостить орехами/фисташками* [МН], но *миндалем/фундуком/арахисом* [ЕД].

Подобных загадок много и в других языках, ср. англ. *beans* [МН] 'бобы' – *rice* [ЕД] 'рис', ит. *spaghetti* [МН] – *pastasciutta* [ЕД] 'спагетти' и т. д. Визитной карточкой русской грамматики стала тема числового оформления названий овощей и фруктов (см. [Андреев, Замбрицкий 1959; Mel'čuk 1979; Поливанова 1983; Ivić 1982; Jarvis 1986; Wierzbicka 1988], а также отзывы на последнюю работу [Бурас, Кронгауз 1990; Падучева 1996]). Именно на этом лексическом материале была выдвинута гипотеза о том, что связь между числовой формой и значением не произвольна.

А. Вежбицкая [Wierzbicka 1988] установила следующий закон упорядоченности числового оформления. Культуры делятся на 3 класса – маленькие, средние и большие:

<i>фасоль</i> <i>горох</i> [НЕИСЧИСЛ] — (sg. n.) —	<i>огурцы</i> <i>яблоки</i> [ИСЧИСЛ]	<i>капуста</i> <i>салат</i> [НЕИСЧИСЛ] — (sg. n.) —
<hr style="width: 100%;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>—</span> <span style="margin: 0 20px;">x</span> <span>—</span> </div> <hr style="width: 100%;"/>		

В качестве естественной границы классов выступает ситуация "держа в руке, поедать целиком". В руке умещается много маленьких объектов, один средний, а большие слишком велики, чтобы удержать их на ладони, и от них отрезают куски. Названия плодов среднего класса счетны и имеют формы обоих чисел, названия мелких плодов несчетны, названия крупных плодов также обычно несчетны, по крайней мере, при обозначении пищевого продукта. От этой последовательности существуют отклонения. К овощам среднего размера относятся *морковка*, *свекла* и другие корнеплоды, которые едят, не держа в руке и не целиком; перед едой их режут и варят (жарят и т. п.), тем самым преобразуя овощи в бесформенную массу. Признак "поедание в резаном и обработанном виде" относит *морковку* и *свеклу* в класс, отличный от класса *яблок*: в частности, в контексте глаголов еды они могут вести себя как неисчисляемые, ср. *я съел много морковки/свеклы* [ЕД].

В основе общей гипотезы лежит понятие гомогенности. Частицы, составляющие *горох*, настолько мелки, что носитель русского языка воспринимает горох как гомогенную совокупность, а не как отдельные "штучки", собранные в некотором количестве. Кроме того, в восприятии носителя языка могут гомогенизироваться и более крупные объекты, ср. *купил на рынке 2 кг свеклы* [ЕД].



Гипотеза А. Вежбицкой, привлекательная самой постановкой задачи и очевидно-стью "когнитивной" аргументации, обнаруживает и слабые места, что не раз отмечалось в научной дискуссии. Правила, выведенные А. Вежбицкой, не предсказывают всего. Одно из исключений – баклажаны и патиссоны. Как пишут авторы отзыва на книгу Вежбицкой, "в русском языке слово баклажан, совпадающее по своему числовому поведению со словами типа помидор, огурец, принимает другое значение второго семантического признака, а именно: баклажан практически никогда, в том числе и в России, не поедается целиком в сыром виде" [Бурас, Кронгауз 1990: 54].

Другой пример, претендующий быть исключением – бобы. Как отмечается в [Падучева 1996: 19], "бобы в денотативном плане не отличаются от фасоли", но принадлежат к другому классу (огурцы и т.п.). Существительное бобы формально попадает в класс, заданный семантическими признаками "средний размер" и "поедаться целиком и в сыром виде", и очевидно, не удовлетворяет ни одному из них. И такие примеры можно множить – см. табл. 3 ниже.

Вместе с тем, указывая, что фрукты-овощи крупного размера "скорее несчетны", А. Вежбицкая не учитывает, что капуста, тыква и арбуз демонстрируют три разных типа числовых употреблений:

Таблица 1

Употребление форм числа существительных капуста, тыква и арбуз

	<i>капуста</i>	<i>тыква</i>	<i>арбуз</i>
'1 штука'	–	ЕД <i>половина тыквы</i>	ЕД <i>половина арбуза</i>
'несколько штук'	–	МН <i>Какие крупные тыквы!</i>	МН <i>Какие крупные арбузы!</i>
'часть или масса'	ЕД <i>Съел немного капусты</i>	ЕД <i>Съел немного тыквы</i>	ЕД <i>Съел немного арбуза</i>
'неопределенное количество'	ЕД <i>Собрали 2 центнера капусты</i>	ЕД <i>Собрали 2 центнера тыквы</i>	МН <i>Собрали 2 центнера арбузов</i>
генерическое употребление	ЕД <i>Я люблю капусту</i>	ЕД <i>Я люблю тыкву</i>	МН <i>Я люблю арбузы</i>

В терминологии, предложенной А.К. Поливановой, арбуз – это pluralia-ориентированное существительное, тыква – singularia-ориентированное существительное, а капуста – singularia tantum, см. [Поливанова 1983].

Singularia (sg)/pluralia (pl)-ориентированность полнчисловых существительных означает, что в ситуации названия определенного количества объектов они ведут себя стандартно: 'один' – [ЕД]; 'несколько' – [МН]. В ситуации обозначения не-точно-определенного количества (в неопределенном употреблении) sg-ориентированные оформляются ед. числом, pl-ориентированные – мн. числом. То есть, sg-ориентированные существительные – это такие, которые в этой ситуации понимаются как совокупность, а pl-ориентированные – как множество штучных объектов.

Крайние случаи ориентированности – это sg. и pl. tantum. Эти имена не обозначают объекты по отдельности. Для обозначения одного объекта *капусты, салата* нам придется сказать: *вилка, кочан капусты*, т.е. употребить так называемые "счетные слова", а для *гороха* и других мелких объектов – употребить либо сингулятив (*горошина*), либо также счетное слово (*головка, зубчик чеснока*).

Решающими для типологии числовых употреблений являются 3 типа контекстов, в которых существительное обозначает а) 'одну штуку', б) 'несколько штук', в) 'неопределенное количество'. Как видно из табл. 1, генерическое употребление имен совпадает по числовому оформлению с неопределенно-количественным<sup>1</sup>. Контекст, в котором имя обозначает часть или массу, полученную из данного продукта (ср. *съесть немного арбуза; тертое яблоко; жареная картошка; смазать пирог сверху яйцом*), возможен для всех названий съедобных продуктов, и ед. число, которым оформляются в этом случае все имена (за исключением существительных pl. it. типа *макарони*), мы будем называть "единственным массой"<sup>2</sup>. Таким образом, поведение существительных в этом контексте абсолютно предсказуемо, исходя из первых трех контекстов.

Итак, каждому имени можно сопоставить семантическую числовую парадигму, например:

ТЫКВА

'один'	'несколько'	'неопределенное количество'
ЕД	МН	ЕД

В более традиционных терминах понятие семантической числовой парадигмы можно представить как структуру значений существительного, находящихся в отношении регулярной полисемии, каждому из которых соответствует своя формальная числовая парадигма. Вот как, например, может выглядеть фрагмент словарной статьи ТЫКВА<sup>3</sup>.

• плод растения ТЫКВА...

'1'	'>1'
ЕД	МН

• совокупность плодов ТЫКВЫ

'1'	'>1'
ЕД	#

Исследования по выявлению общих механизмов, лежащих в основе разнообразия числовых парадигм существительных, обычно базируются на небольшом количестве показательных примеров (см. [McCowley 1975; Wierzbicka 1988] и др.). Задачей настоящей работы являлось, во-первых, классифицировать обозначения пищи по ти-

<sup>1</sup> См., впрочем, далес в разделе 3 о некоторых отступлениях от этого правила у имен готовых блюд.

<sup>2</sup> Существует также универсальное и не зависящее от семантики имени употребление формы ед. числа при обозначении продуктов в так называемом "языке торговли", ср. надписи на ценниках *"абрикос/1 кг – 60 руб."*, *"яйцо диетическое"* и т.д. Подобное явление не лингвоспецифично и характерно для многих европейских языков.

Еще более распространен в европейских языках обратный переход от неисчисляемости к исчисляемости в конструкции с числительным типа *два пива*, англ. *I'll have three coffees* 'Мне три кофе' и т.п., с соответствующей реинтерпретацией значения как "порции" или "упаковки" ("universal packagers" в терминах работы [Jackendoff 1991: 24–25]). Для русского языка сама возможность сочетания существительного с числительным не является показателем его "полноценной" исчисляемости, так как многие вещественные имена могут сочетаться с числительным только в ед. числе: ср. *два, три, четыре масла*, но *\*пять масел*, при допустимом в разговорной речи *дайте, пожалуйста, пять масла* (об эллиптичности таких конструкций см. [Mel'čuk 1979. 225–226]). Кроме того, эти имена не могут выступать в сочетании с квантором *несколько*, ср. *\*взяли несколько вина/пива, \*несколько вин/масел*

<sup>3</sup> Мы опускаем еще одну структуру значений, которые представляют тыкву как растение.

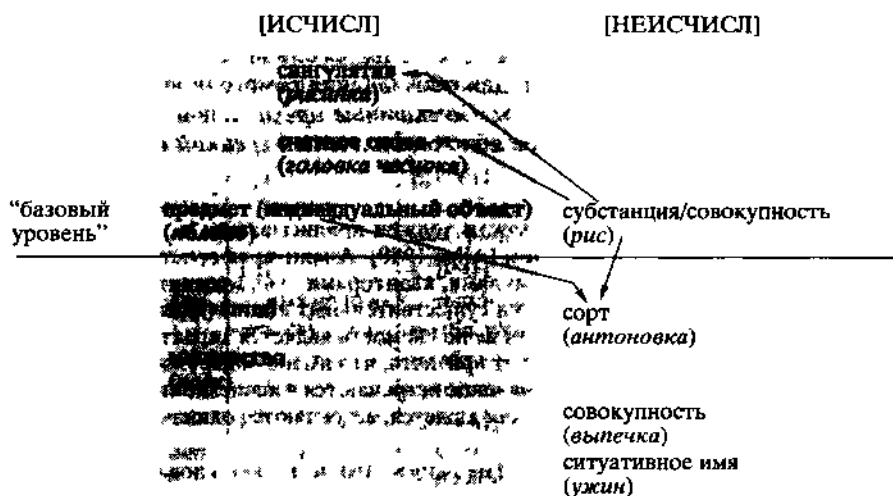
пам числовых парадигм и, во-вторых, рассмотреть возможности предсказания числового поведения имени по его семантике на более широком языковом материале. Увеличение эмпирического материала как вширь (в сторону большего числа рассматриваемых лексических единиц), так и вглубь (привлечение частных контекстов употребления, в которых формы числа употребляются нестандартно), как кажется, может способствовать не только верификации замеченных закономерностей, но и показать многофакторность семантических процессов.

## 2. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕН

Если распределить обозначаемые виды пищи по шкале дискретности, то самое крайнее положение будут занимать субстанции: жидкие (*молоко*), вязкие (*тюре*) и сыпучие (*соль, рис*). Сыпучие вещества уже могут мыслиться как однородные совокупности мельчайших частиц (крупинки соли, рисинок и т.п.), и это подтверждается существованием соответствующих сингулятивов и счетных слов. Пицца, состоящая из частиц более крупного размера (*смородина, виногрет, орехи, макароны, рафинад, гренки*) чаще всего также концептуализируется недискретно (*смородина, виногрет, рафинад*), но *орехи* и *гренки* представляются в языке дискретно (как много собранных в одном месте дискретных объектов, ср. один объект – *орех* и *гренок*), а *макароны* только хотят казаться множеством дискретных частиц, но на самом деле таковым не являются [ср. сингулятив *макаронина* вместо \**макарон(а)*].

С увеличением размера минимальной единицы счета возрастает самоценность этой "одной штуки" как объекта потребления. Предметы среднего размера имеют все основания для того, чтобы быть счетными, ср. *яблоки, котлеты, пирожки, яйца*, однако, как уже отмечалось, некоторые продукты естественного происхождения могут представляться языком как однородная совокупность, ср. *морковка* и *свекла*. Наконец, продукты крупного размера, такие, что одному не съесть, рассматриваются, как правило, в двух перспективах: любой кусок *пирога* называется *пирогом*, в ед. числе (*Ешь пирог*), если пирог видится как еда; но несколько целых пирогов обозначаются мн. числом (*На столе стоят пироги, завернуть пироги в бумагу*), если пирог видится как оформленный физический объект.

Перечисленные имена составляют так называемый "базовый уровень" лексики, и именно он наиболее интересен в плане числовых различий. Имена других таксономических категорий имеют свои характеристики числового оформления, и вследствие ограниченного объема статьи мы лишь кратко обозначим основные из них.



Имена более низкого уровня таксономии – названия сортов не поддаются исчислению (так, говорят *яблоки*, но не *\*антоновки*); а имена и более высокого таксономического уровня – названия классов ("category word" в терминологии Э. Рош [Rosch 1975]) – напротив, свободно образуют формы мн. числа, интерпретируемые как 'разные виды чего-либо' (ср. *фрукты*, *спиртные напитки*), но могут иметь ограничения на референтное употребление формы ед. числа, ср. *\*фрукт хранился на складе дольше положенного срока*.

Сингулятивы и счетные слова [*рисинка*, *головка (чеснока)*], в силу своего определения, имеют полную числовую парадигму, хотя, по прагматическим причинам, более употребимы в контекстах "малого количества".

Совокупности (например, *выпечка/\*выпечки*, *спиртное/\*спиртные*) противопоставлены по числовой форме так называемым именам "множеств", имеющим полную парадигму (ср. *пак/пайки*); впрочем, и сам класс совокупностей делится на sg. tt. (*выпечка*) и pl. tt. (*яства*, *разносолы*, *продукты*).

Ситуативные совокупности обозначают всю совокупность блюд, любую еду, объединенную по признаку ситуации потребления, при этом не важно, какого типа и какой степени однородности, ср. *вкусный завтрак*, *съел весь обед*, *ужин уже на столе*; *мы были у Ивановых*, *там был богатый стол*. Ситуативные совокупности – это переносные обозначения, для которых возможна только форма ед. числа. Так, нельзя сказать *\*Хозяйка готовит завтраки для мужа и детей* даже в том случае, если она готовит разные блюда, например, мужу – яичницу, а детям – манную кашу, ср. правильное предложение *Хозяйка готовит завтрак для мужа и детей*, – то есть, имена в значении ситуативной совокупности не допускают исчисления.

### 3. ИМЕНА И ИМЕННЫЕ ГРУППЫ

Прежде чем приступить к описанию материала, следует обсудить вопрос, стоит ли приписывать числовую характеристику имени, или такая характеристика должна быть приписана всей именной группе? Второе решение имеет свои основания, поскольку присоединение к имени распространителя может вести к смене таксономической категории имени. Например, присоединение прилагательного к имени "класса" часто служит для сдвига в категорию "базового уровня", ср. сочетание *волчья ягода* – такой же гипоним слова *ягоды*, как *барбарис* и *земляника*, и, подобно последним словам, группа *волчья ягода* проявляет признаки sg. tt.

Еще один эффект распространения именной группы заключается в переводе обозначаемого понятия на другой уровень концептуализации, ср. две атрибутивные группы: *грецкий орех* и *мускатный орех*. В составе именной группы *грецкий орех* существительное *орех*, исходно исчисляемое (ср. *орех/орехи*), все также обозначает штучный объект, ср. *грецкий орех/грецкие орехи*. В составе именной группы *мускатный орех* существительное *орех* употребляется для обозначения гомогенной субстанции – специи, и поэтому оформляется sg. tt., ср. *??мускатные орехи*. Сдвиг категоризации наблюдается также в примерах *тертое яблоко*, *толченый грецкий орех* и *мелко нарезанный лимон*.

Вопрос о том, что признак исчисляемости должен приписываться не именам, а именным группам, был поставлен Кейтом Алланом [Allan 1980]. Анализируя сочетаемость английских существительных с числительными, артиклями, кванторами (*one*, *some* и т. п.), он показывает неадекватность традиционной маркировки существительных как исчисляемых и неисчисляемых. При этом Аллан замечает, что "хотя исчисляемость является характеристикой именных групп (NP), а не имен, вместе с тем, следует признать, что имена обнаруживают предпочтения по исчисляемости – поскольку одни имена чаще встречаются в исчисляемых NP, другие – в неисчисляемых NP, в то время как третьи, как кажется, встречаются одинаково свободно в обоих" [Там же: 556].

Еще ранее в работе [Cartwright 1975] отмечалось, что не только слова и именные группы (phrases), но и их частные употребления (occurrences) могут быть неисчисляемыми либо исчис-

ляемыми, и это не всегда объясняется сдвигом в значении имени. По мнению Х. Картрайт, употребление формы ЕД в примере *Put some apple in the salad* [= Положить немного яблока в салат] отражает то, как мы поступаем с яблоками, но не сдвиг в значении исчисляемого существительного 'apple'.

Ранее мы сделали утверждение, что употребление имени в генерическом (родовом) контексте совпадает по числовой форме с неопределенно-количественным употреблением. Но проблема в том, что не все имена одинаково хорошо употребляются в генерическом контексте, ср. (2а) и (2б):

(2) а. Я люблю колбасу/вино [ЕД] ~ Я люблю пироги, фрукты [МН];

б. Я люблю <sup>??</sup>напиток [ЕД]/<sup>??</sup>напитки [МН]; <sup>??</sup>продукт [ЕД]/<sup>??</sup>продукты [МН].

Имена *напиток* и *продукт* обладают слишком общим значением для того, чтобы предложения типа (2б) были осмысленны. Между тем, распространенная именная группа с более конкретным значением вполне уместна в этих контекстах, ср.:

(3) Я люблю напиток из плодов шиповника [ЕД: 'определенный вид']/спиртные напитки [МН: 'класс']; я не ем молочных продуктов [МН: 'класс'].

Обратим внимание, что присоединение прилагательного к обычным именам "базового уровня" типа *колбаса*, *вино*, *пирог* также может менять его числовые характеристики. Например, словосочетание *пирог с черникой* обозначает особый сорт пирогов, и, соответственно, числовое поведение изолированного существительного и словосочетания будет различным, ср.:

(4) <sup>??</sup>Вы любите пирог? [ЕД]      Вы любите пирог с черникой? [ЕД]

    Вы любите пироги? [МН]      Вы любите пироги с черникой? [МН]

Не имея возможности подробно остановиться на всех типах генерических употреблений, проиллюстрируем лишь некоторые различия в числовом оформлении нераспространенных и распространенных именных групп на материале имен *тыква*, *колбаса*, *вино* и *торт*:

Таблица 2

Генерические употребления существительных *тыква*, *колбаса*, *вино* и *торт*

	<i>тыква</i>	<i>колбаса, вино</i>	<i>торт</i>
I. Я люблю...	ЕД ...тыкву	ЕД ...колбасу, вино	МН ...торты
II. Я люблю [вид]...	ЕД ...мускатную тыкву	ЕД/МН ('разные виды') ...сырокопченую колбасу/сырокопченые колбасы, грузинское вино/грузинские вина	ЕД/МН ('разные виды') ...торт "Птичье молоко"/торты с кремом
III. Фирма стала выращивать/выпускать ...	ЕД ...тыкву	ЕД/МН ...колбасу/колбасы, вино/вина	МН ...торты
IV. Фирма стала выращивать/выпускать ...[вид]	ЕД ...мускатную тыкву	ЕД/МН ...сырокопченую колбасу/сырокопченые колбасы, сухое вино/сухие вина	ЕД/МН ...торт "Птичье молоко"/торты "Птичье молоко"
V. Фирма стала выращивать/выпускать новые сорта/виды...	ЕД ...тыквы	ЕД = МН ...колбасы/колбас, вина/вин	МН ...тортов

Как показывает табл. 2, поведение имен подчиняется трем стратегиям числового оформления: первую стратегию представляет существительное *тыква*, вторую – *колбаса* и *вино*, третью – имя *торт*. Наибольший разброс в числовом оформлении наблюдается в нераспространенных именных группах (контексты I, III, V), где выбор форм числа сильно зависит от лексической семантики. Напротив, в распространенных именных группах со значением 'сорта/вида' (контексты II, IV) различия в числе до определенной степени нивелируются. Здесь выбор числовых форм можно сформулировать с помощью нескольких простых правил, минимально зависящих от лексического наполнения:

- словосочетания со значением 'сорта/вида' могут быть употреблены в генерическом контексте в той же числовой форме, что и изолированное существительное (ср. *фирма выпускает торты* ~ *фирма выпускает торты "Птичье молоко"*);
- кроме того, такие словосочетания всегда могут быть употреблены в генерическом контексте в форме ЕД, если они интерпретируются как 'один определенный сорт/вид', а также в форме МН, если они допускают трактовку 'разные сорта/виды' (ср. *я люблю грузинское вино* [а не молдавское] ~ *я люблю грузинские вина* [разные сорта]).
- [довольно общее лексическое ограничение:] имена плодов с sg-ориентированной парадигмой в обиходной речи не могут употребляться в форме МН с интерпретацией 'разные сорта' (ср. \**мускатные тыквы*, \**кормовые репы* и т.п.)

Возвращаясь к поставленному вопросу, на каком уровне следует приписывать числовые характеристики, отметим, что признак исчисляемости может, в принципе, быть приписан как лексеме (исходный параметр), так и именной группе в целом (производный параметр). Однако целесообразно различать общие правила числового оформления, зависящие от контекста, и частные правила, обусловленные семантикой лексемы. Так, в предложении *Вы любите пирог с черникой?* поведение всей именной группы подчиняется правилам числового поведения названий сортов и в минимальной степени зависит от семантики слова *пирог*; напротив, поведение именных групп *ягода и орех* связано со сдвигом в концептуализации понятий *ягода* и *орех*, а значит, подчиняется частным лексико-семантическим правилам.

Таким образом, в целях компактного описания достаточно, чтобы для каждой лексемы был указан исходный тип исчисляемости/неисчисляемости и, кроме того, были отмечены возможные сдвиги в категоризации, присущие только данной лексеме. Все это, в сочетании с общими контекстными правилами, позволит предсказать числовые характеристики всей именной группы.

В соответствии с принятым решением, в следующих разделах будет описано числовое поведение имен "базового" таксономического уровня. Вначале мы еще раз обратимся к "классическому" лексическому материалу – именам овощей и фруктов. Мы постараемся пересмотреть ранее выделенные семантические параметры, учитывая, во-первых, известные "исключения", и, во-вторых, сопоставляя различия внутри класса имен овощей и фруктов с различиями внутри класса имен небольших плодов (ягод, орехов и пр.), а также грибов

#### 4. ОВОЩИ И ФРУКТЫ

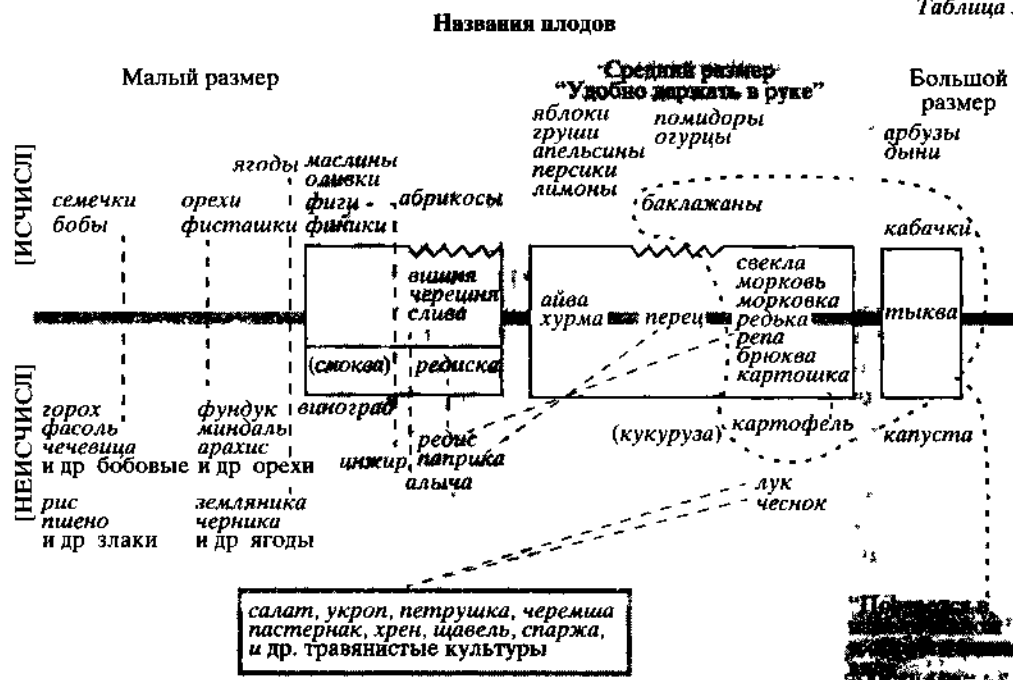
Рассмотрим имена, приведенные ниже в таблице 3, – сюда включены названия овощей, фруктов (включая и бахчевые культуры, которые в наивном представлении сближаются с фруктами), ягод, орехов, бобовых и злаковых культур<sup>4</sup>. Выше разделительной черты располагаются исчисляемые существительные с pl-ориентирован-

<sup>4</sup> Список имен далеко не исчерпывающий, но представляет все типы числовых парадигм

ной парадигмой (тип "арбуз"), ниже черты – неисчисляемые существительные sg. tt. (тип "капуста"), промежуточное положение (в рамке) занимают существительные с двойным статусом по отношению к исчисляемости, и соответственно, имеющие sg-ориентированную числовую парадигму (тип "тыква") Имена переходного класса ведут себя как исчисляемые в сильных счетных контекстах (ср. *вымой еще две морковки*) и как неисчисляемые – при обозначении неопределенного количества (*принеси еще немного морковки*).

Уточним, что данное распределение учитывает только одно понимание (не)исчисляемости – на уровне множества плодов. Так, *арбуз* счетен, когда он воспринимается как целый предмет, входящий во множество себе подобных (ср. *на бахче растут арбузы, в магазин привезли арбузы, складывают арбузы в контейнер*), однако, когда речь идет о количествах, не превышающих естественного "предела исчисляемости" [Падучева 1996], т.е. одного плода, *арбуз* становится неисчисляемым. любая его часть называется *арбузом* (можно сказать *ешь арбуз*, даже если на тарелке лежит кусок арбуза) Употребление существительного *арбуз* в последнем примере предполагает иное понимание (не)исчисляемости – на уровне массы. Как уже было сказано выше, такое несчетное употребление возможно для любых обозначений еды, хотя можно предположить, что оно более стандартно для имен крупных плодов, чем для мелких (ср. *съесть еще немного абрикоса*). Между тем, форму ед. числа *лимон* в предложении *Вам чай с лимоном?* также естественно интерпретировать как 'ломтик лимона', а значит, дело тут не только в размере, но и в стереотипе "средней порции". Различия по числу у имен с полной числовой парадигмой частично нейтрализуются в контексте глаголов *крошить, тереть, резать* и т.п., ср. *добавить в салат тертое яблоко/тертые яблоки, разложить на блюде мелко нарезанный лимон/лимоны*

Таблица 3



Для описания всего многообразия семантико-числовых типов имена в таблице удобно разделить на следующие классы:

- неисчисляемый sg. tt. класс "рис" – обозначения злаковых, бобовых культур, ягод, орехов (*рис, пшено; горох, фасоль, земляника, черника, фундук, миндаль* и др.);

- исчисляемый класс "ягоды" – обозначения мелких плодов как частей растения (*ягоды, орехи, бобы, семечки*);
- исчисляемый класс "фисташки";
- исчисляемый класс "абрикосы" – обозначения плодов размера, переходного от мелкого к среднему (*абрикосы; маслины, оливки, фиги, финики*);
- ограниченно-исчисляемый класс "слива" с колебанием числовых форм в неарифметическом контексте (*слива, вишня, черешня*);
- ограниченно-исчисляемый класс "редиска";
- неисчисляемый sg. tt. класс "алыча" (*алыча, инжир, виноград; редис; паприка* и др.);
- исчисляемый класс "помидоры" – обозначения овощей и фруктов среднего размера, растущих над землей (*помидоры, огурцы, баклажаны; яблоки, груши, лимоны* и др.);
- ограниченно-исчисляемый класс "айва" (*айва, хурма*);
- ограниченно-исчисляемый класс "перец" с колебанием числовых форм в неарифметическом контексте;
- ограниченно-исчисляемый класс "свекла" – обозначения корнеплодов среднего размера (*свекла, морковь, редька, репа, брюква, картошка* и др.);
- неисчисляемый класс "картофель";
- исчисляемый класс "арбузы" – обозначения плодов крупного размера (*арбузы, дыни, кабачки*);
- ограниченно-исчисляемый класс "тыква";
- неисчисляемый класс sg. tt. "капуста";
- неисчисляемый класс sg. tt. "укроп" – обозначения травянистых культур (*укроп, петрушка, хрен, спаржа, салат, лук, чеснок* и др.).

Как видно из таблицы, нельзя указать такое абсолютное значение размера, которое однозначно предопределяло бы исчисляемость: и среди мелких, и среди крупных плодов находятся обозначаемые счетными именами, наряду с теми, которые обозначаются несчетными именами, ср.

(5) <i>абрикосы</i>	–	<i>слива/две сливы</i>	–	<i>алыча</i>	(мелкие плоды)
<i>помидоры</i>	–	<i>свекла/две свеклы</i>	–	<i>картофель</i>	(средние плоды)
<i>кабачки</i>	–	<i>тыква/две тыквы</i>	–	<i>капуста</i>	(крупные плоды)

И все же, даже статистически, имена плодов мелкого размера тяготеют к неисчисляемости, а имена плодов среднего и крупного размера – к исчисляемости. Можно предположить, что названия мелких плодов, находящиеся в классе исчисляемых, как и названия крупных плодов, попадающие в класс неисчисляемых, занимают свое место не благодаря, а вопреки признаку размера обозначаемого, т.е. они обладают какими-то другими семантическими характеристиками, которые "пересиливают" фактор размера.

#### 4.1. Средние и крупные плоды

Рассмотрим несколько подробнее, как влияет на исчисляемость имени признак "способа приготовления и употребления" (далее для краткости мы будем называть его "способ приготовления" или "способ использования"). Сравним *помидоры* и *морковь*: и те, и другие овощи можно есть целиком, или есть резаными в сыром виде, или есть резаными и вареными (например, в супе). Противопоставляя их по способу поедания, мы, следуя Вежбицкой, должны приписать им в словаре разные культурные сценарии использования (т.е. как обычно их едят представители данной культуры). Так, про *морковь* мы должны написать, что обычно ее едят резаной и вареной, а про *помидоры* – что их едят целиком в свежем виде, что, конечно, будет противоречить интуиции некоторых носителей языка (ибо не все носители культуры едят



помидоры целиком), но может быть принято как допущение – некий семантический ярлык, апеллирующий к "традиции".

С учетом того условия, что ситуация еды воспринимается сквозь призму культурного концепта "это **обычно** едят целиком vs. резаным и вареным", мы можем считать, что в контекстах, связанных с обозначением еды, формы числа когнитивно мотивированы, ср. (6а):

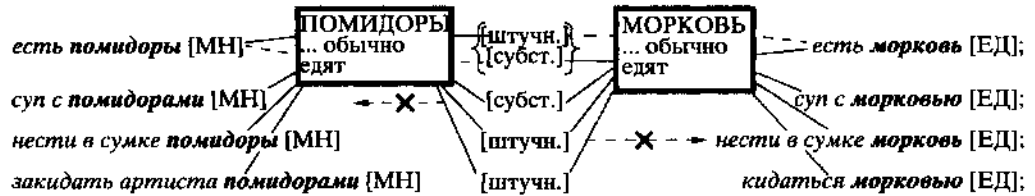
(6а) *я ем помидоры* [МН] — *я ем морковь* [ЕД].

Однако сказанное не объясняет напрямую, почему используется форма ЕД *морковь* в контекстах типа (6б):

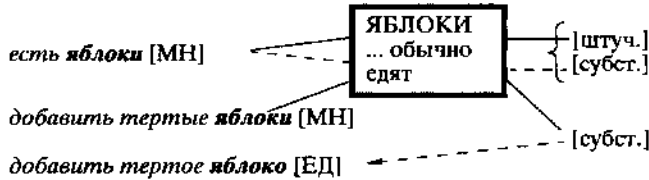
(6б) *я несу в сумке 2 кг помидоров* [МН] — *...2 кг моркови* [ЕД];

т.е. почему лежащие в сумке несколько целых морковок представляются языком недискретно, в то время как несколько помидоров представляются дискретно.

Казалось бы, роль овощей в ситуациях, где они предстают как простые физические объекты [см. (6б)], никак не связана с тем, как их едят; и все же, следует признать, что способ концептуализации здесь тот же, что и в ситуации еды, и говорить о непрямой (опосредованной) когнитивной мотивированности числовых форм:



Только в сильных контекстах, вызывающих сдвиг категоризации (например, *добавить тертое яблоко*), форма числа мотивирована вне связи с концептом дискретности и непосредственно отражает реальное состояние объекта:



Как уже было сказано, признак способа приготовления "не работает" в правилах числового поведения имен *баклажаны* и *патиссоны*; если не принимать во внимание размер, *кабачки* тоже будут исключением по этому признаку. Между тем, в давней и незаслуженно забытой статье [Андреев, Замбрицкий 1959] *яблоки, огурцы, кабачки* противопоставляются *свекле, репе, картофелю* по признаку места произрастания. Плоды первого типа растут над землей, плоды второго типа, корнеплоды – под землей. Очевидно, что и при таких правилах находятся исключения: *тыква* и *капуста*, растущие над землей, полностью или частично несчетные. Обратим также внимание, что какую бы мотивировку мы ни приняли, по Вежбицкой или по Андрееву и Замбрицкому, в любом случае нам придется искать различия между *кабачком* и *тыквой*, которые, как известно, сходны и по способу произрастания, и по способу приготовления. Скорее всего, учет только свойств обозначаемых объектов в данном случае не даст удовлетворительного решения, и это наводит на мысль, что ответ может скрываться в факторах самой языковой системы.

Вот несколько возможных вариантов решения перечисленных выше проблем:

- **тыква**: представляет старый тип склонения на *-ы(-\*й)*, к которому относятся также *морковь (мъркы)*, *смоква (смокы)*, *брюква (брукы)*. Все эти слова принадлежат к классу ограниченно исчисляемых.
- **кабачок**: в наивном представлении может быть связан с метафорой *кабака* как помещения, полного семечек (ср. также *огурец* – "полна горница людей"), а *кабак* – это исчисляемое имя.
- **баклажаны**: культивируемые в южных районах России, вначале воспринимались как особый вид *помидоров*, ср. само заимствование *patlydžan*, которое в турецком языке обозначает именно "помидор", а также диалектн. *баклашкы* "помидоры" [Фасмер 1986, т. 1: 110]. Поэтому было бы странным, если бы *баклажаны* были противопоставлены по концептуализации *помидорам*.

Приведенные факты объясняют особенности числового поведения существительных на диахроническом уровне. Чтобы мотивировать числовое поведение на синхронном уровне, мы должны признать, что эти сведения каким-то образом отражаются в той "необязательной" зоне значения, которая отвечает за метафору и коннотации<sup>5</sup>, или же, как в случае с *тыквой*, фиксируются как особенность морфологического строения слова (в принципе, учет формальной стороны языкового знака наряду с семантическими критериями может давать удовлетворительный результат для определения типа числовой парадигмы, ср. ряд pl. II. *обноски, объедки* и т.п.).

Суммируем значения семантических признаков:

	размер +:"крупный" -:"мелкий"	способ произрастания +:"растет над землей"; -:"растет под землей"	способ приготовления и употребления +:"едят целиком"; -:"едят как гомогенную массу"	
<i>свекла</i>	+	-	-	
<i>морковь</i>	+	-	- (±)	> неисчисл.
<i>редиска</i>	±	-	- (±)	
<i>тыква</i>	+	+	-	недостаточная семантическая мотивация
<i>кабачки</i>	+	+	-	
<i>баклажаны</i>	+	+	-	
<i>яблоки</i>	+	+	+ (±)	> исчисл.

Сочетание признаков "крупный размер" и "едят целиком" является достаточным для того, чтобы имя было счетным, а сочетание признаков "растет под землей" и "едят как гомогенную массу" – для того, чтобы имя было несчетно. Таким образом, *свекла* обнаруживает наиболее сильные доводы для того, чтобы быть неисчисляемой: она растет под землей и поедается измельченной в вареном виде. *Морковь* часто, но не всегда, измельчается и варится. *Тыква* и *баклажаны* входят в неустойчивую

<sup>5</sup> Ср. понятие "третьего измерения лексики" или "глубинной оси" (наряду с "вертикальной" – парадигматической и "горизонтальной" – синтагматической "осями") значения слова, связанной с его деривационной историей и ассоциативно-смысловой нагрузкой, у Д.Н. Шмелева [Шмелев 2002: 69]. Л.Н. Иорданская и И.А. Мельчук используют термины «"внутренняя форма" смысла» и "семантическая этимология" [Иорданская, Мельчук 1980: 204], а Ю.Д. Апресян приводит примеры и обоснование того, что в толковании одного значения слова может содержаться информация о других значениях слова (на материале коннотативно связанных значений) [Апресян 1995: 156–177].

зону: признак "расти над землей" свидетельствует в пользу счетности, а признак способа употребления – в пользу несчетности, поэтому решающими становятся внутриязыковые соображения.

Приведем еще пример, где в (не)исчисляемости обнаруживается инерция языковой системы, ср.

(7) *Раньше в этой теплице мы выращивали перцы* [МН]/*перец* [ЕД].

*Фаршированные перцы* [МН]. *Маринованный перец* [ЕД].

Существительное *перец* принадлежит к классу, занимающему промежуточное положение между исчисляемым и ограниченно-исчисляемым классами: в арифметическом контексте имя счетно (*два перца*), а в контексте неопределенного количества возможны колебания в счетности. Показательно, что в словосочетании *фаршированные перцы* предпочтительна форма мн. числа (блюдо имитирует целые плоды), а в сочетании *маринованный перец* – форма ед. числа (как правило, при консервировании плоды режутся).

Первоначально в русской кухне присутствовал мелкий черный перец, употреблявшийся как приправа, а крупный болгарский перец пришел в русскую культуру значительно позже. В принципе, черный перец и сладкий перец – это совершенно разные вещи. Черный перец, как приправа, обозначается недискретно (ср. также еще одну разновидность перца – *паприка*), болгарский же перец по общему правилу должен был бы обозначаться так же, как *помидоры* и *огурцы*, т.е. исчисляемым именем, однако, похоже, что числовая форма "имеет память".

Имен овощей/фруктов, не способных называть плоды поштучно, т.е. *sg. tt.*, в русском языке сравнительно немного. Обращают на себя внимание парные наименования *картофель* – *картошка* и *редис* – *редиска*, где первый член пары – неисчисляемое существительное, а второе – ограниченно-исчисляемое. В том, что они попадают в разные классы, нет ничего удивительного: в принципе, в языке часто сосуществуют и дискретный, и континуальный варианты обозначения однородных множеств, ср. *листья* и *листва*; (яблока-) *паданцы* и *падалица* и т.п. Уже в силу существования "конкурентов" именами *картофель* и *редис* нет необходимости выступать в арифметических контекстах: в каком-то смысле роль сингулятивов выполняют имена *картошка* (наряду с *картофелиной*) и *редиска*. Но почему именно *картошка* и *редиска* подчиняются правилу числового оформления названий корнеплодов, а не наоборот? Во-первых, кажется вполне закономерным, что под правило класса корнеплодов подпадают более обиходные, "живые" обозначения *картошка* и *редиска*, а не их книжные эквиваленты *картофель* и *редис*. Во-вторых, причиной может быть морфологический фактор. *Картофель* и *редис* – имена мужского рода. Обозначая совокупность плодов, они не могут в то же время играть роль сингулятива, как это делают другие имена корнеплодов, поскольку в русском языке сингулятивам свойственна форма женского рода, ср. суффиксы *-ин(а)* (*бусина*); *-инк(а)* (*пылинка*); *-ка* (*ватка*). В самом деле, как видно из табл. 3, к классу ограниченно-исчисляемых существительных тяготеют имена женского рода (единственное исключение – *перец*). По-видимому, по этой же формальной причине в паре *морковь* – *морковка*, которая могла бы разделить участь имен *картофель* – *картошка* и *редис* – *редиска*, и тот, и другой член пары попадает в класс ограниченно-исчисляемых<sup>6</sup>.

*Лук* и *чеснок* – еще два представителя *pluralia tantum* среди обозначений плодов среднего размера. Как считает А. Вежбицкая, для них важен признак "приправы", т.е. они не составляют самостоятельного блюда и, как правило, поедаются измельченными, и поэтому существительные *лук* и *чеснок* несчетны. Но признак "припра-

<sup>6</sup> Гипотезу "женского рода" подтверждает и такой факт: как правило, диалектные обозначения дублируют числовую форму литературных названий, ср. *кавуны* – *арбузы*, *синенькие* – *баклажаны* и т.п., однако *бураки*, в отличие от *свеклы*, принадлежат к классу р1-ориентированных существительных.

вы" не является самодостаточным, например, исходя из данной трактовки, такой же приправой должен считаться *лимон*, который добавляют в чай (кусочками) или в мясные и рыбные блюда (выжимая из него сок). Кроме того, *чеснок* может быть и самостоятельным продуктом (ср. *маринованный чеснок*) и его не всегда измельчают. По признаку "произрастания под землей" *лук* и *чеснок* могли бы относиться к классу *свеклы*, но они относятся к классу *укропа, петрушки, черемши, спаржи* и прочих культур, которые растут "как трава". В пользу важности этого признака – произрастания как травы – говорит и существование в классе sg. f. имени *салат* (обозначаемая культура может расти и как трава, и в виде отдельных кустиков), а также имени *капуста*. Последняя растет в виде отдельных кочанов, но, как и *салат*, называется листовой культурой, т.е. может концептуализироваться как некая совокупность листьев (ср. также этимологию М. Фасмера «ит. *composta...* первонач.: "сложенная (зелень)"» [Фасмер 1986, т. 2: 188]). В этой связи весьма характерна дефиниция из словаря [Ожегов, Шведова 1999: 83]: *вилок* = "капуста, начавшая завиваться в кочан" [завиваются, конечно же, листья].

Выходя за рамки овощей/фруктов, скажем, что признак способа произрастания релевантен и для *кукурузы*. Если бы это имя в русском языке было исчисляемым, то мы бы считали, что причиной тому наличие у кукурузы початков среднего размера. Но данное существительное не употребляется в счетных контекстах и обозначает как совокупность початков (ср. *вареная кукуруза*), так и совокупность зерен (ср. *каша из кукурузы*). Растения кукурузы, подобно другим злаковым культурам, концептуализируются как нечто гомогенное, в большом количестве растущее на поле и напоминающее траву.

#### 4.2. Мелкие плоды

До сих пор мы говорили об овощах и фруктах, многие из которых, несмотря на свой средний или крупный размер, концептуализуются недискретно. Рассмотрим теперь обозначения мелких плодов, особо выделяя среди них те, которые, вопреки общему правилу, исчисляемы. Здесь мы сталкиваемся с проблемой обратного рода: почему обозначаемые ими плоды не концептуализируются как гомогенная масса?

В примере (8) существительные *клубника* и *ягода* имеют разные формы числа:  
 (8) Взять 0.5 кг **клубники** [ЕД]. **Ягоды** [МН] засыпать сахаром и оставить в холодном месте на 3 часа.

*Ягода*, а также *орех* и *боб* выполняют функцию родовых имен и, в отличие от своих гиперонимов, представляют обозначаемые плоды как счетное множество, ср.

(9) *клубника, малина* [ЕД]... и другие *ягоды* [МН]  
*фундук, арахис* [ЕД]... и другие *орехи* [МН]  
*горох, фасоль* [ЕД] – *бобы* [МН]

Однако родовой статус имен сам по себе не гарантирует исчисляемости. Так, родовые имена *овощи* и *фрукты* не могут выступать в счетном контексте, ср.

(10а) *Яблоки вымойте и удалите середину. ??Разрежьте два фрукта и украсьте ими салат...*

в то время как *орех*, *ягода*, *боб* (а также диминутивные формы *орешек* и *ягодка*) хорошо справляются с сингулятивной функцией, ср.

(10б) *Десяток орехов измельчить в ступке, остальные использовать для украшения торта.*

(10в) *Украсьте пирожные ягодами малины.*

Как известно, большинство названий плодов несут двойную нагрузку, обозначая не только плод, но и само растение, ср. *горох, клубника, вишня, помидор, капуста* и т.п. Секрет исчисляемости *орехов, ягод* и *бобов* состоит в том, что они обозначают плоды как части растения, ср. *ягоды ежевики, бобы канавалии* [род фасоли] (в этой связи уместно вспомнить и о существительном *коренья*, которое, в отличие от других имен приправ – *гвоздики, корицы, базилика, имбиря* – имеет формы мн. чис-

ла<sup>7</sup>). Между тем, имена *фрукты* и *овощи* не обозначают части растения, ср. \**фрукты* яблони, \**овощи* картофеля и т.п.

Примечательно, что при переходе на ступеньку вниз по таксономии имя *ягоды* допускает деиндивидуализацию, например, если обозначается известная говорящим разновидность ягод, например, *черника*, возможно употребление формы ед. числа (особенно в разговорной речи), ср.

(11а) *Пойти в лес за ягодами* [МН]/*ягодой* [ЕД]; *перебирать ягоды* [МН]/*ягоду* [ЕД]; однако квантификация, скорее всего, недопустима, ср.

(11б) ?*набрать два ведра ягоды* [ЕД].

В одну группу с *орехами*, *ягодами* и *бобами* следует отнести исчисляемое существительное *семечки*. Несмотря на то, что это имя не является родовым, оно использует тот же механизм номинации, ведь *семечко* – это тоже часть растения (или его плода). Показательно, что в профессиональной речи у *семечек* имеется "близнец" sg. ff. женского рода *семечка*, ср. название марки подсолнечного масла "*Золотая семечка*" или следующий пример из рекламного объявления:

(12) *Зерно, шрот, жмых, семечка, масло! ЗАО "Северо-Западный Зерновой Союз" предлагает... 1. Зерно продовольственное и фуражное. 2. Семечка подсолнечника. 3. Подсолнечное масло.*

Конечно, в данном случае обозначается уже не еда, а сырье для производства растительного масла, и причины деиндивидуализации здесь очевидны. Расхождение числовых парадигм в данном случае идет по образцу пары *зерно* – *зёрна*, ср. различие в концептуализации в примере (13):

(13) *птицы клюют зерно* [ЕД] – *птицы клюют зёрна* [МН]<sup>8</sup>.

Разнообразие типов числовых парадигм у обозначений средне-мелких плодов свидетельствует, что здесь располагается переходная зона: размер плодов недостаточно велик для того, чтобы они концептуализировались только как дискретные объекты, но и не так мал, чтобы они однозначно представлялись континуумом:

- *абрикосы, оливки, маслины, фиги, финики* и др. являются исчисляемыми;
- *вишня, черешня и слива* занимают промежуточное положение между исчисляемыми и ограниченно-исчисляемыми существительными (т. е. представляют тот же тип парадигмы, что и *перец*), ср.

(14) *Варенье из вишни, черешни, сливы?* *слив.*

*Варенье из отборных слив, вишен* (также ...из отборной сливы).

*Компот из слив/сливы. "Куропатки жареные со сливами"* [название блюда].

- *редиска* является ограниченно-исчисляемым именем;
- *виноград, редис* и *алыча* относятся к неисчисляемым существительным.

Но даже внутри этой разнородной группы можно проследить некоторые тенденции в числовом оформлении, связанные с семантическими характеристиками. В частности, признак способа употребления, выделенный А. Вежицкой для имен плодов среднего размера, может объяснить счетность существительных *маслины, олив-*

<sup>7</sup> Часто *кореньями* называются сушеные корешки разных видов растений, ср., однако, рецепт супа из кореньев: 100 г *кореньев петрушки*, 100 г *кореньев сельдерея*, 150 г *моркови*...

<sup>8</sup> Представление о *зерне* как о гомогенной массе базируется на следующем стереотипном представлении о его функциональных свойствах: это то, что люди выращивают, перемалывают и используют для приготовления хлеба и других продуктов или для корма животных, ср. *собрать зерно, мешки с зерном*. Обратим внимание, что даже при обозначении ограниченного количества, но при сохранении данного функционального компонента используется форма ед. числа, ср. *мешочек зерна* [ЕД], *дать птицам зерно* [ЕД] и т.п. Употребление формы мн. числа (в неарифметическом контексте) возможно лишь в случае, если способ восприятия не согласуется с указанным стереотипом, поэтому птицы могут клевать *зёрна* [МН], а человек может давать им только *зерно* [ЕД], ср. также сочетание *пророщенные пшеничные зёрна/\*зерно*. Опять же, совокупность кофейных плодов не может быть обозначена формой ед. числа, ср. *кофейные зёрна*, но недопустимое (в данном смысле) \**кофейное зерно*.

ки, финики, (жареные) каштаны и т.п. Эти имена обозначают продукты, необычные для обиходного употребления, едят их целиком, штука за штукой, т.е. в некотором ограниченном количестве, но не в столь "массовом", как рис, горох или ягоды. Впрочем, способ употребления *маслин* весьма похож на способ употребления *винограда* (обозначаемого существительным sg. ft.); аналогично, про ягоды типа *клубники* можно сказать, что их едят "поштучно" (как это делает А. Вежбицкая, характеризуя польские существительные типа *truskawki* "земляника", которые имеют формы мн. числа). Однако *виноград* и *клубнику* отличает еще одна важная черта: они употребляются не только в сыром виде. *Виноград* – это, прежде всего, сырье для вина, а *клубника* используется для приготовления варенья, т.е. как масса.

Имена ягод небезынтересно сравнить и с названиями грибов. Оказывается, имена грибов не подпадают под правило Вежбицкой: они характеризуются скорее средним или средне-мелким размером, но их не едят целиком в сыром виде – тем не менее, все без исключения имена грибов счетны, ср. *подосиновики*, *свинушки*, *лисички* и т.д. Однако грибы растут, как правило, по одному, и собирают их, соответственно, переходя от одного гриба к другому. Таким образом, грибы отличаются от ягод способом произрастания и сбора.

Формулируя правила числового оформления названий грибов, мы должны учесть, что способ произрастания свидетельствует в пользу дискретной концептуализации, а способ приготовления – в пользу недискретности, т.е. эти факторы действуют в противоположном направлении:

#### грибы

[способ произрастания и сбора: по одному]

[способ приготовления: масса]

← дискретность

→ гомогенность

и, как показывает счетность имен, действие первого фактора оказывается сильнее. Что же касается ягод, то, напротив, не совсем однозначная их интерпретация по признаку использования (их едят целиком сырыми, но в большом количестве, или делают варенье) поддерживается недискретной интерпретацией по признаку произрастания и сбора.

Согласованным действием двух признаков – относительного размера и способа использования – можно объяснить, почему разнесены по разным числовым классам названия таких близких "родственников", как *слива* и *алыча*. *Алыча* – это мелкая *слива*, которая идет на варенье, и нетипично, чтобы ее ели свежей и по одной штуке.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой обозначения в и д о в различных плодово-овощных культур. Дело в том, что в своих разновидностях овощи и фрукты могут иметь плоды разного размера, часто более мелкого, ср. *помидоры* и *томаты*; *огурцы* и *никули*, *корнишоны*; *капуста* и *брюссельская капуста*. Тем не менее, названия видов входят в тот же числовой класс, что и родовое имя, – но только в том случае, если не меняется их функциональное предназначение. Между тем, названия кормовых и технических культур: *турнепс* (кормовая *репа*), *свекловица* (сахарная *свекла*) и др., – переходят в класс sg. ft., т.е. в тот класс, к которому принадлежат обозначения кормов для животных (ср. *сено*, *солома*, *силос*, *фураж*, *люцерна*, *клевер* и др.), в то время как родовые имена относятся к ограниченно-исчисляемому классу (*репа/репы*, *свекла/свеклы*).

Показательна в этом смысле и группа обозначений сухофруктов, ср.:

<i>курага</i> , <i>урюк</i> (неисчисл.)	–	<i>абрикосы</i> (исчисл.)
<i>чернослив</i> (неисчисл.)	–	<i>слива/сливы</i> (огр.-исчисл.)
<i>изюм</i> (неисчисл.)	–	<i>виноград</i> (неисчисл.)

Несмотря на то, что названия соответствующих "невысушенных" фруктов могут принадлежать к разным числовым классам, все имена сухофруктов являют собой *singularia tantum* [Jarvis 1986].

Возвращаясь к названиям средне-мелких плодов, подчеркнем, что вопрос о счетности средне-мелких плодов не получает окончательного решения в рамках семантического подхода. Обсуждаемые семантические признаки отражают лишь некоторые тенденции числового оформления, но, к сожалению, не являются классифицирующим: так, в разные классы попадают *абрикосы* и *слива*, *вишня* и *клубника*.

Весьма любопытна в данном случае тройка синонимичных названий *фига* – *смоква* – *инжир*, распределенных по трем классам: существительное *фига*, заимствованное из языков западноевропейского ареала (ср. лат. *figus*, ит. *figa*, фр. *figue*, англ. *fig*), относится к классу исчисляемых; устаревшее, но исконно славянское наименование *смоква* – к классу ограниченно-исчисляемых; а *инжир*, заимствование из тюркских языков (ср. тур., крым.-тат., кыпч. *an[ʒ]ir*, *in[ʒ]ir*, карач. *in[ʒ]ir*, данные из [Фасмер 1986]) – к классу неисчисляемых. Числовое поведение этих слов отражает их числовые характеристики в тех языках, из которых они были заимствованы.

Впрочем, (не)исчисляемость в языке-доноре – слишком ненадежный фактор. Кажется бы, именно такой причиной можно было бы объяснить, почему *фисташки* являются исключением в группе названий небольших орехов – *sg. tt. фундук, арахис, миндаль* и т.п., ср. фр. *pistache(s)*; ит. *pistacchio/i*. Однако *миндаль* почему-то "потерял" свою счетность в процессе заимствования, ср. польск. *migdal*, нем. *Mandel(n)*.

Безусловно, сам фактор заимствования, точнее, недостаточной освоенности заимствований грамматической системой языка, не может не учитываться при формулировке грамматических правил. Так, *айва*, конечно же, входит в круг вещей, похожих на *яблоко* (ее еще называют "японским яблоком"), но она, так же как и *хурма*, относится к классу ограниченно-исчисляемых, ср. (15):

- (15) а. *В горах зерна вы вдруг заметите плоды, сохраненные с осени: айву [ЕД], продолговатые коричневые груши [МН], яблоки [МН]...* (П. Гамарра, пер. с фр. Н. Столяровой).  
б. *2 кг айвы/хурмы.*

## 5. МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ БЛЮДА

Обратимся теперь к области готовых блюд. Как можно судить по табл. 4, обозначения мясных и рыбных блюд более унифицированы по числовому поведению, нежели овощи и фрукты. Выделяются 6 основных классов:

- неисчисляемый *sg. tt.* класс "мясо": в него, помимо общего имени *мясо*, входят обозначения видов мяса/рыбы, характеризующихся по способу приготовления (*тушенка, строганина, солонина*) и сервировки (*нарезка*), а также обозначения субстанций – смесей измельченного мяса с другими продуктами (*плов, форшмак*);
- неисчисляемый *sg. tt.* класс "гуляш" – обозначения блюд, состоящих из мелких кусочков (*рагу*), часто плавающих в соусе (*гуляш, азу, бефстроганов*);
- ограниченно-исчисляемый класс "шницель" – обозначения блюд, состоящих из одного большого куска мяса (*шницель, бифштекс, ромштекс, ростбиф, антрекот, лангет, эскалоп, стейк*);
- исчисляемый класс "котлеты" – обозначения блюд, сделанных из перемолотого мяса, которому придана особая форма (*котлеты, биточки, зразы, голубцы, тефтели, фрикадельки, пельмени, сосиски, сардельки, шпикачки, купаты, колбаски*);
- ограниченно-исчисляемый класс "колбаса" – обозначения продуктов размера большего, чем это нужно для одной порции (от них отрезают куски) (*колбаса, ветчина, рулет, паштет*);
- неисчисляемый *sg. tt.* класс "бекон" – обозначения специальным образом приготовленного мяса (от него также отрезают куски) (*бекон, карбонад, буженина, корейка; шпик; бастурма, шаурма, студень*).

## Названия мясных блюд

	Малый размер "На тарелке обычно лежит несколько кусков"	Средний размер "На тарелке лежит один кусок"	Большой размер "Едят часть X"
[ИСЧИСЛ]	<p>тефтели фрикадельки кнели шкварки пельмени</p> <p>котлеты битки биточки зразы голубцы</p> <p>сосиски сардельки шпикачки купаты колбаски</p>	<p>отбивная шницель бифштекс ромштекс ростбиф антрекот лангет эскалоп стейк</p>	<p>колбаса ветчина рулет паштет</p>
[НЕИСЧИСЛ]	<p>шашлык/ (шашлыки)</p> <p>гуляш азу бефстроганов рагу</p> <p>долма</p>	<p>плов тушенка, строганина, солонина поджарка, жаркое нарезка</p>	<p>бекон карбонад буженина корейка шшик</p> <p>студень холодец заливное холодное</p>

Оговорим в первую очередь, что само по себе название блюда (в меню или в кулинарной книге) составляет важный класс числового употребления. Так, в ресторанном меню будет, скорее всего, написано: "котлеты", "голубцы в сметане" (в форме МН), но "шницель", "эскалоп" (в форме ЕД). У имени ограниченно-счетного класса типа "шницель" форма ЕД дает обманчивый эффект в контекстах неопределенного количества типа (16), поскольку в качестве наиболее естественного имеет дистрибутивное прочтение:

- (16) *Нам принесли шницель* [(i) 'каждому свою порцию'; (ii) 'одну порцию на всех'].  
Заметим, что то же самое может происходить с названиями любых других блюд, в том числе приготовленных из овощей/фруктов, ср. (17 а–б):

(17) а. *Сегодня на полдник детям дали пирожное и стакан кефира,*

б. *Нам принесли печеное яблоко.*

Выбор формы ед. или мн. числа в названии блюда определяется уже известным семантическим признаком – привычным способом использования обозначаемого продукта. Типичная порция *шницеля* и *эскалона* состоит из одного куска достаточно большого размера, в то время как типичная порция *котлет*, *сосисок*, *фрикаделек* и *пельменей* состоит из нескольких небольших изделий.

Указанное числовое различие между классом "шницель" и классом "котлеты" сохраняется и в генерическом контексте:

- (18) *Я люблю котлеты/биточки/фрикадельки/сосиски/пельмени* [МН];  
*Я люблю шницель/эскалоп* [ЕД].

В арифметическом контексте, а также в тех референтных контекстах, где существительные класса "шницель" не обозначают собственно блюда, эти имена колеблются в исчисляемости, ср.:

- (19) а. *Принесите нам два шницеля/принесите нам две порции шницеля;*  
б. *Мясо обмыть, удалить позвоночную кость и нарезать поперек 4 антрекота, оставляя в каждом по реберной кости;*  
в. *Антрекот нарезают из толстого или тонкого края по одному куску на порцию толщиной 15–20 мм;*



г. Затем *шницели* обваливают в сухарях;

д. *Куски антрекоты/антрекоты* слегка отбивают, солят, перчат по вкусу и жарят перед самой подачей к столу в течение 5–7 минут<sup>9</sup>.

Примыкает к классу "шницель", но несколько отличается у него по числовым свойствам имя *отбивная*. Если в ресторанном меню фигурирует, как правило, форма ед. числа, то в генерическом контексте эта форма сомнительна или конкурирует с формой мн. числа:

(20) Я люблю свиные отбивные/свиную отбивную.

Колебания формы *отбивная/отбивные* объясняются столкновением семантических и системно-языковых факторов: по свойству обозначаемого *отбивная* относится к тому же классу, что и *шницель*, но в то же время *отбивная* является субстантивированным прилагательным и наследует числовое поведение имени *котлета* (ср. *отбивная котлета*).

Различие между классами "котлеты" и "гуляш" не связано с привычной порцией потребления: и *котлеты*, и *гуляш* обозначают такие блюда, где на тарелке лежит обычно несколько кусков. Можно было бы сказать, что размер кусочков *гуляша* меньше, чем размер *котлет*, но это верно не для всех представителей класса "котлеты": например, *фрикадельки* могут быть даже меньше кусочков *гуляша*.

*Гуляш*, *азу* и *бефстроганов* по своему виду ближе к супу, так как это кусочки, плавающие в жидкости, *рагу* также напоминает суп по способу приготовления, так как кусочки мяса тушатся в жидкости. Однако некоторые конкуренты из класса "котлет" обладают подобными же свойствами (ср. *пельмени*, *фрикадельки*). Скорее всего, дело здесь в другом. *Гуляш* и *рагу* отвечают формуле "кушанье из нарезанных кусков", а такие блюда в русском языке концептуализуются как субстанция, ср. *салат*, *винегрет* и др.<sup>10</sup> *Котлеты*, *сосиски* и *тефтели*, напротив, – это "изделия". Предварительно измельченному мясу придается особая форма, в частности, мясо может быть заключено в оболочку из теста, капустных листьев или в пленку (ср. *пельмени*, *голубцы*, *сосиски* и т.п.)<sup>11</sup>.

Среди обозначений "кушаний из нарезанных кусков" по своему уникальное положение занимает имя *шашлык*, обладающее двумя параллельными рядами числовых форм (мн. число более характерно для разговорной речи), ср. жарить *шашлык/шашлыки*, объесться *шашлыком/шашлыками* и др.<sup>12</sup> Однако было бы ошибкой считать его исчисляемым: сочетание с числительным во фразе *два шашлыка* интерпретируется по "универсальному" правилу как 'две порции шашлыка', но не как 'два куска шашлыка'. Употребляя (в контексте неопределенного количества) имя *шашлык* во мн. числе, говорящий представляет это блюдо таким же способом, как *пельмени*, *фрикадельки* или *шкварки*, т.е. как набор небольших кусочков или изделий, находящихся в тарелке в количестве, достаточном для того, чтобы не было необходимости их считать.

<sup>9</sup> Различие числовых форм в этом примере может интерпретироваться как противопоставление значений "мясное блюдо" (МН) – "сорт мяса" (ЕД) (ср. буквальный перевод слова *антрекот* с франц. – "(мясо) между ребрами"). Подобная метонимия свойственна именам *гуляш* и *азу*, но у них, напротив, неисчисляемое "сортовое" употребление согласуется со всеми прочими (также несчетными) употреблениями.

<sup>10</sup> Дополнительным доводом в пользу несчетности имен *гуляш* и *бефстроганов* является то, что они отчетливо осознаются носителями языка как иноязычные. Неосвоенные языком имена по большей части sg. pl., ср. *люля-кебаб*, *чахохбили* и т.п. Возможно, по этой же причине мясо, завернутое в капустные листья, называется счетным именем *голубцы*, а мясо, завернутое в виноградные листья – несчетным именем *долма*. Кроме того, в числовом поведении может проявляться внутренняя форма слова: *бефстроганов* – буквально "мясо по-строгановски".

<sup>11</sup> Имя *шкварки*, единственное из счетного класса "котлеты", не подходит под определение "изделия". О числовой форме этого существительного см. ниже, с 104.

<sup>12</sup> Числовые формы расходятся в двух переносных употреблениях: в значении соответствующего сорта мяса употребляется только форма ЕД, а в значении поездки на природу, связанной с приготовлением шашлыка, – форма МН (ср. *устроить шашлыки*).

Колбаса и ветчина, подобно сосискам, представляют собой некую субстанцию, заключенную в оболочку, и, таким образом, имеют форму, но, в отличие от сосисок, колбасу и ветчину не едят целиком, т.е. батонами. Поэтому о колбасе и ветчине обычно говорят как о чем-то неисчисляемом. Однако в примерах типа (21):

(21) На прилавке разложены колбасы и ветчины [МН], –

речь идет не о еде как таковой, а о физических объектах, лежащих на прилавке, и тут колбаса и ветчина представляют собой исчисляемые объекты. Вследствие этого, по числовому поведению существительные колбаса и ветчина расходятся с существительным сосиски и попадают в класс ограниченно-исчисляемых. Такой же двойной, "по функции" vs. "по форме", способ концептуализации представлен у производных существительных окорок/окорока и язык/языки (см. ниже табл. 5), а среди мясных продуктов – у имени сыр/сыры. Ранее в русском языке похожим образом вело себя существительное хлеб:

(22) Ставить хлеба в печь; Русские стали заниматься земледелием для получения хлебного зерна и тогда же стали печь хлебы и готовить квас (М. Забылин.

Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия).

Для того, чтобы продукт можно было концептуализировать как счетный, он должен обладать или получать в процессе изготовления характерную форму, ср. колбасы, рулеты, окорока, языки – но <sup>??</sup>беконь, <sup>??</sup>буженины, <sup>??</sup>шпики; по тем же соображениям формой МН паштеты могут обозначаться либо изделия, заключенные в оболочку, подобно колбасе, либо изделия в жестяных банках, либо пирог с начинкой из паштета.

Весьма интересная ситуация складывается вокруг переносных обозначений мясных блюд: имена, которые исходно обозначают части тела, противопоставляются именам, исходно обозначающим внутренние органы, см. табл. 5.

Таблица 5

Переносные обозначения мясных и рыбных блюд

Часть тела или органы		Сорт мяса – мясо из какой-либо части туши
Исчисляемые в значении 'части/органа'	Неисчисляемые в значении 'части/органа'	
[ИСЧИСЛ]	<p>грудки крылышки окорочка ребрышки лягушачьи лапки раковые шейки</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     язык окорок                 </div>		
[НЕИСЧИСЛ]	<p>сердце легкие печень почки печенка рубец</p> <p>требуха мозги потроха</p>	<p>вырезка теша [брюшная грудинка часть осетра] кострец визига [спинная сало струна осетровых рыб] головизна [голова и части хребта красной рыбы]</p>

Блюда, приготовленные из различных "наружных" частей, обозначаются полноценно исчисляемыми именами, ср. грудки, крылышки, окорочка и т.п. (23а); однако окорок и язык обычно не едят целиком (первый – из-за значительного размера, второй – из-за большой ценности мяса), отсюда их двойная концептуализация: как массы, от которой отрезают куски, и как исчисляемых объектов с характерной формой, см. (23б). Блюда, приготовленные из одиночных внутренних органов, обозначаются как

неисчисляемые sg. tt. ср. *сердце, печень (печенка), рубец* и др. (23в), а приготовленные из парных внутренних органов – как неисчисляемые pl. tt., ср. *легкие и почки* (23г).

(23) а. *Съесть пару крылышек; купить килограмм копченых окорочков; любить грудки*; – [МН]

б. *Подать к столу язык/языки в желе; окорок* [ЕД] *под белым соусом*; – [ЕД] ~ [МН] (ср. *В кладовке висят свиные окорока*);

в. *Пирог с печенью/печенкой; Рубец с гречневой кашей*; – [ЕД]

г. *Рассолник с почками; Начинка из печени, почек, сердца и легких поросенка*<sup>13</sup> – [МН]

Как видно, существительные сохраняют особенности своей числовой парадигмы в переносном значении "мясного блюда". Имя *мозги* имеет более длинную историю семантической деривации. В основном значении 'органа' ему свойственна вариация числовых форм, довольно прихотливо распределенных по контекстам, ср. *головной мозг* (\**головные мозги*); *напрячь мозги/мозги; мозги путаются* (\**мозг путается*) и т.п.<sup>14</sup>; колебание форм сохраняется и в значении вещества, заполняющего череп, ср. *Ворона птенцам певчих птичек голову размозжит и мозг* [ЕД] *выпьет, ну, а за своих птенцов костями поляжет, а не допустит к ним* (В. Лидин); *Мозги* [МН] *по стенке*. Но в значении 'блюдо из такого вещества' употребляется только форма МН *мозги* (см. 23д). *Потрохами* и *требухой* называется, в принципе, один и тот же вид продукта – отваренные (и часто мелко порезанные) внутренние органы. *Потроха* и *требуха* неисчисляемы, с той разницей, что одно pl. tt., а другое – sg. tt., ср. (23д–е):

(23) д. *Телячьи мозги; Лапша из потрохов*; – [МН]

е. *Похлебка с требухой*. – [ЕД]

Обозначения мясных продуктов, приготовленных из определенных частей туши: *вырезка, грудинка, кострец, сало* и др., – относятся к классу несчетных sg. tt., так как представляются языком как сорта мяса (то же относится и к рыбным продуктам, ср. *теша, визига* и др.).

Важной особенностью русской грамматики является тот факт, что имена животных становятся неисчисляемыми в значении 'мясо (животного)': ср. *блюда из птицы, рулет из индейки* и т.п. Впрочем, *утки, гуси, рябчики, тетерева, куропатки* сохраняют форму МН (например, в описаниях блюд, подаваемых на пире), потому что при их приготовлении сохраняется форма, ср. также *молочные поросята* и *фаршированные куры*.

Существительное *рыба*, равно как и названия конкретных видов рыб, тоже способны употребляться переносно в значении 'мясо (рыбы)' и 'блюдо (из рыбы)', как правило, в форме ЕД, ср.:

(24) а. *На второе у нас сегодня рыба, котлеты из рыбы, жарить рыбу*;

б. *Суп из судака, судак заливной, селедка под шубой* и т. д.

В отличие от описанной выше ситуации с названиями животных, речь не идет о переходе ИСЧИСЛ → НЕИСЧИСЛ. Даже в основном значении, т.е. при именовании "живых" особей, слово *рыба* и его гипонимы в контексте неопределенного количества обнаруживают колебание в числовом оформлении, которое разрешается в зависимости от контекста, ср. примеры (25а–в), предполагающие разную степень дискретности обозначаемого<sup>15</sup>:

(25) а. *В аквариуме плавают красивые рыбы*/\**красивая рыба*;

б. *Мальчик наблюдал за рыбами/рыбой в реке*;

в. *Удалось продать две тонны рыбы*/\**рыб*.

<sup>13</sup> Допустимо употребление формы ЕД *легкое*, если в кулинарии используется часть тканей органа крупного животного, ср. *Баранину, сердце, почки, легкое варят, затем мелко нарезают; 30 г легкого*.

<sup>14</sup> Более детальное описание распределения числовых форм см. в [Ляшевская 1999].

<sup>15</sup> Обозначение рыбы как недискретной совокупности характеризуется не только сменой числовой парадигмы, но и переходом признака "одушевленное" в "неодушевленное".

В соответствии со степенью дискретности, названия декоративных, аквариумных рыб (*неоны, барбусы, меченосцы*) обладают полночисловой парадигмой, а названия промысловых рыб, напротив, тяготеют к pl. n., и только в контексте числительных и кванторных слов употребляются как исчисляемые (ср. *треска/две трески; палтус, селедка* и т.п.).

Однако не все наименования рыбы и рыбных блюд характеризуются ограниченной исчисляемостью, ср. *сардины в масле, суп из осетра/осетров, поджарить пескарей* (≠ *пескаря*). Для формулировки общего правила следует принимать во внимание такие признаки, как промысловый/непромысловый характер добычи рыбы; ее размер, а также формальный параметр – род существительного. Сочетание этих признаков дает следующие числовые классы:

- ограниченно-исчисляемый класс "треска" – обозначения крупных промысловых рыб и соответствующих блюд (*треска, палтус, хек, тунец, селедка, сайра, ставрида, семга, горбуша, таймень* и т.п.);
- ограниченно-исчисляемый класс "осетр" с колебанием числовых форм в неарифметическом контексте – обозначения особо ценных промысловых рыб (*осетр, лосось, стерлядь*);
- исчисляемый класс "пескари" – существительные мужского рода, обозначающие небольших речных рыб и соответствующие блюда (*пескари, ерши, бычки, вьюны, голавли, караси, подлещики, язи* и т.п.);
- ограниченно-исчисляемый класс "плотва" – существительные женского рода, обозначающие небольших речных рыб и соответствующие блюда (*плотва, вобла, красноперка, тарань, уклейка, форель* и т.п.);
- ограниченно-исчисляемый класс "щука" – обозначения крупных речных рыб и соответствующих блюд (*щука, карп, жерех, сазан, налим, сом, судак, угорь* и т.п.);
- неисчисляемый sg. n. класс "корюшка" (*корюшка, тюлька, мойва, хамса*); исчисляемый класс "шпроты" (*шпроты, сардины, сардинки, анчоусы*) и переходный класс "килька" (*килька/кильки, снеток/снетки, копчушка/копчушки*) – обозначения мелких промысловых рыб.

"Традиционные" речные рыбы небольшого размера (*ерши, окуни пескари*), в отличие от промысловых рыб, "любят счет", ср.:

(26) а. *Уха из ершей* ("ерша), *окуней, пескарей*;

б. *Я люблю \*ерша, \*окуня, \*пескаря*.

Между тем, существенно, что имена в примере (26) – мужского рода; существительные женского рода, отвечающие тем же семантическим признакам, несчетны в контекстах, обозначающих еду, ср. *закусывать воблой, отварная форель* и т.п.

Имена речных рыб более крупного размера ограниченно-счетны, вне зависимости от грамматического рода, ср. *суп из щуки* ("щук), *сома, судака; копченый угорь* и т.п. Лещ, по-видимому, занимает промежуточное положение между крупными и мелкими рыбами, и, соответственно, его имя обнаруживает колебание числовых форм в неарифметическом употреблении, ср.: *Вяленый, копченый, жареный лещ* [ЕД]. *Уха из лещей* [МН] (примеры из [Шведова (ред.) 2000, т. 2: 269]).

Аналогичное колебание числовых форм допускается у слов *лосось, осетр* и *стерлядь*, ср. *суп из осетра/осетров, лосося/лососей, уха со стерлядь/стерлядями*. Безусловно, это особые рыбы в русской кулинарной культуре, и своей ценностью они противопоставляются другим крупным промысловым рыбам типа *трески, палтуса* или *толстолобика* (ср. также наличие специальных производных *лососина* и *осетрина*). Примечательно, однако, что имена *лосось* и *осетр* отличаются числовым поведением и от своих гипонимов (в основном – женского рода!), ср.: *горбуша/\*горбуши в соусе, рулет из семги, суп из северюги/\*северюг*.

Наиболее прихотливо числовое поведение обозначений мелких промысловых рыб, которых обычно едят в качестве закуски. Некоторые из них концептуализируются только как совокупность, ср. *тюлька, корюшка, мойва*; другие – только как

множество индивидуальных объектов, ср. *шпроты*<sup>16</sup>, *сардины*; а третьи – обоими способами, ср. *кильки в томатном соусе* ~ *прибалтийская килька*; *вяленый сметок к пиву* ~ *щи со сметками*; *закусывать копчушкой* ~ *солянка грибная со сметаной, зеленью и копчушками*. Из-за того, что в этой лексической зоне не действует какого-либо однозначного механизма концептуализации, один и тот же вид рыб называют *анчоусами* [МН] и *хамсой* [ЕД], а один из подвидов *корюшки* [МН] – *сметком* или *сметками* [ЕД = МН].

Названия морепродуктов, такие как *крабы*, *омары*, *моллюски*, *устрицы*, *креветки*, *морские гребешки* и т.п., а также *раки*, относятся к разряду полноисчисляемых, ср. *есть крабов*, в ресторане подали *устриц* и т.д. Точно так же исчисляемы обозначения и других "экзотических" объектов для еды – конечно, в том случае, если они исчисляемы в исходном значении живого существа, ср. *есть земляных червей*, *скорпионов*, но *питаться саранчой*.

## 6. МУЧНЫЕ И СЛАДКИЕ БЛЮДА

Итак, мы видели, что структура класса названий мясных и рыбных блюд оказалась не изоморфна структуре класса названий овощей и фруктов, и чаще всего представлению мясных и рыбных продуктов как неисчисляемых мешала их категоризация как артефактов, обладающих, к тому же, особой формой. Мучные и сладкие блюда тоже являются готовыми изделиями, поэтому можно предполагать, что сходство класса их обозначений с классом названий мясных и рыбных блюд будет гораздо большим.

Исходя из высказанных ранее соображений, классифицируем мучные и сладкие блюда по размеру, см. табл. 6:

Таблица 6

Названия мучных и сладких блюд						
Малый размер			Средний размер		Большой размер	
[ИСЧИСЛ]	<i>гренки</i>	<i>конфеты</i>	<i>вафли</i>	<i>блины</i>	<i>пирожки</i>	<i>пудинг</i>
	<i>палочки</i>	<i>пастилки</i>	<i>сухари</i>	<i>оладьи</i>	<i>беляши</i>	<i>кекс</i>
	<i>хлебцы</i>	<i>батончики</i>	<i>трубочки</i>	<i>сырники</i>	<i>ватрушки</i>	<i>пряник</i>
				<i>пирожные</i>	<i>булочки</i>	<i>коврижка</i>
	<i>вареники</i>		<i>эклеры</i>	<i>рогалики</i>		<i>кулебяка</i>
	<i>галушки</i>			<i>бутерброды</i>		<i>расстегай</i>
						<i>рыбник</i>
[НЕИСЧИСЛ]	<i>соломка</i>	<i>печенье</i>				<i>пицца</i>
	<i>хворост</i>	<i>шоколад</i>				<i>хлеб</i>
	<i>лапша</i>	<i>мармелад</i>				<i>лаваш</i>
	<i>вермишель</i>	<i>пастила</i>				<i>маца</i>
	<i>паутинка</i>	<i>зефир</i>				
	<i>макаронны</i>					
	<i>ушки</i>					
<i>рожки и т. п.</i>						
<i>хлопья</i>						
						<i>варенье, джем, конфитюр</i>
						<i>сгущенка; мороженое</i>

<sup>16</sup> О том, что *шпроты* являются так называемыми "потенциальными pl. tt.", свидетельствует тот факт, что одна рыбка может быть названа как *шпротой*, так и (в просторечии) *шпротиной*.

Основные семантико-числовые классы таковы:

- неисчисляемый класс субстанций "варенье" (*варенье, джем, конфитюр; сгущенка* и др.);
- исчисляемый класс мелких изделий "конфеты" (*конфеты, пастилки, батончики; вафли, сухари, трубочки* и др.);
- исчисляемый класс изделий среднего размера "пирожки" (*пирожки, беляши, булочки, бутерброды, блины, сырники, пирожные* и др.);
- исчисляемый класс крупных изделий "пирог" (*пирог, торт, рулет, кулебяки* и др.);
- класс совокупностей, состоящих из мелких изделий, sg. tt. "хворост" (*хворост, соломка, вермишель, паутинка*);
- класс совокупностей, состоящих из мелких изделий, pl. tt. "макароны" (*макароны, ушки, рожки; хлопья* и др.);
- класс совокупностей, состоящих из изделий среднего размера, sg. tt. "печенье" (*печенье, мармелад, зефир* и др.);
- неисчисляемый класс sg. tt. "хлеб" (*хлеб, лаваш, маца*).

Наиболее предсказуемо и последовательно числовое оформление изделий среднего размера, ср. *пирожки, блины, пирожные* и т.п. Изделия крупного размера, от которых отрезают куски – *пироги, торты* и т.п., – представляются как субстанция в контекстах, обозначающих процесс еды (ср. *есть торт*), но в других контекстах могут представляться как физические объекты, ср. *На столе стояли торты* [= 'несколько коробок с тортами' (одного вида или разных видов, неважно)].

На первый взгляд, кажется, что класс "пироги" идентичен по числовому типу классу "колбаса", но в генерическом контексте обнаруживается различие, ср.

(27) а. *Вы любите колбасу?* [ЕД]

б. *Вы любите торты?* [МН]

Это, конечно же, не значит, что *торты* "обычно едят в количестве, большем одного": скорее, можно утверждать, что для *тортов* и *пирожков* идея формы более важна, чем для *колбасы* и *шницеля*, и на шкале дискретности названия мясных и мучных изделий расположены следующим образом:

мясные блюда: тушенка > колбаса > шницель > котлеты  
мучные блюда: торты > пирожки

[НЕИСЧИСЛ]

[ИСЧИСЛ]

sg. tt.

(pl-ориентир.)

Большие изделия с релевантной формой: *батон, кирпич (хлеба), краюха, каравай, коврица, плетенка, хала* и т.п., – противопоставляются *хлебу*, который не характеризуется по форме. Если обозначаются несколько целых батонов хлеба, то существительное *хлеб* представляет их как совокупность, ср. *машина с хлебом*. Его форма ЕД в значении готового продукта контаминирует с формой ЕД в значении "зерно". Форма МН и, соответственно, дискретное понимание сохраняется в выражениях *ставить хлеба в печь и вынимать хлеба из печи*, отсылающих к культурному стереотипу выпечки хлеба в крестьянской избе (форма ЕД здесь тоже допустима); но в других случаях употребление формы МН ощущается как архаичное, ср. \**На столе лежат хлеба*. Так же, как *хлеб*, недискретно, концептуализируются *лаваш, маца* и др. национальные виды хлеба.

Оговорим, что между рассматриваемыми классами исчисляемости существуют и переходные зоны. Между классом "пироги" и классом "пирожки" такая зона представлена именами *кекс, пудинг, пряник* и *коврижка*. В зависимости от числовой формы меняется интерпретация размера обозначаемых изделий, ср.: *есть кекс/кексы, пудинг/пудинги* ('часть большого изделия, размером с пирог' vs. 'небольшие из-

делия, размером с пирожок'). *Пицца* – существительное с еще не устоявшейся числовой репутацией, ведет себя или как *хлеб*, ср. *взять две порции пиццы*, или как *пирог*, ср. *взять две пиццы*. Забегая вперед, скажем, что переходная зона существует и между классом "пирожки" и классом "печенье", и ее представляет имя *бисквит*. Оно обозначает совокупность, если кусочки печенья маленькие (= *курабье*, *крекер*), и дискретные объекты, если имеются в виду пирожные размером "с ладонь" (такая же модель реализуется и во французском языке).

В группе обозначений изделий малого размера полночисловые *конфеты*, *пастилки*, *вафли*, *сухари* и т. п. противопоставляются, с одной стороны, "потенциальным pl. tt." [Кадеева 1989] *гренкам*, *палочкам*, *хлебцам*, а, с другой стороны, неисчисляемым sg. tt. *мармеладу*, *пастиле* и *шоколаду*. При обсуждении состава и различий между классами мелких изделий полезно рассмотреть три вопроса: о семантическом признаке оформленности, о диминутивности и о переносных значениях.

I. Признак оформленности отличает конфеты, завернутые в фантики, от *гренков* и от *мармелада* (так же, как он отличал *пельмени* от *рагу*). Кроме того, ни одно из изделий с неоднородным внутренним составом не обозначается существительным класса sg. tt., ср. *эклеры*, *вафли* (как правило, состоит из нескольких пластинок, между которыми варенье) и *мармелад*, *шоколад*, *пастила*, *зешфир*.

II. Диминутивность часто является способом перехода от неисчисляемого к исчисляемому, ср. *пастила* – *пастилки*, *хлеб* – *хлебцы*, и это верно не только для имен мучных и сладких изделий. Например, среди названий молочных изделий обнаруживаются пары *творог* – *творожки* и *сыр* – *сырки*, среди названий мясных изделий – пара *колбаса* – *колбаски* и т.д. Аналогично, диминутивные формы используются в роли "индивидуализатора" у ограниченно-исчисляемых имен, например, употребляя названия рыб, говорят: *уха из щуки*<sup>17</sup>? *щук* (см. с. 100), но только *уха из щучек*, ср. тж. *приготовить плотву* [ЕД]/*плотвичек* [МН]. Кроме того, диминутивность мешает собирательной интерпретации дискретных сущностей. Так, мы уже обращали внимание, что в профессиональной речи работников торговли *яйцо* может употребляться как неисчисляемое существительное, ср. *яйцо диетическое* (см. с. 82), однако же, имя *яйчко* не может иметь собирательного значения<sup>17</sup>.

III. В следующих трех колонках перечислены переносные обозначения различных видов изделий, в том числе конфет и пирожных. Сравним:

[ИСЧИСЛ]	[НЕИСЧИСЛ]	
<i>корзиночки</i>	<i>картошка</i>	<i>кукурузные хлопья</i>
<i>розанчики</i>		
<i>песочные кольца</i>		
<i>батончики</i>	<i>сливочная помадка</i>	
<i>маковки</i>		
<i>трюфели</i>		
<i>подушечки</i>	<i>хворост</i>	
<i>трубочки</i>		
<i>сердечки</i>	<i>соломка</i>	
<i>вафельные рожки</i>		

<sup>17</sup> Что касается имен овощей и фруктов, то тут формы на *-ка*, казалось бы, допускают собирательное понимание, ср. *горох* – *зеленый горошек*, а имена *морковка*, *редиска* и *картошка*, более того, имеют тенденцию к "деиндивидуализации" (о переходе от сингулятивов к совокупностям см. с. 91), однако легко заметить, что все эти формы не имеют диминутивного смысла.

Обозначения, образовавшиеся в результате метонимии "X → изделия, внешне похожие на X", сохраняют тип числовой парадигмы исходного "X": *корзиночки, кольца, маковки, сердечки, рожки* и т.п.

Принцип "номинации по форме" проявляет себя и в обозначениях мороженого. Имена сорта несчетны, ср. *пломбир*, а обозначения "по форме": *рожки, стаканчики, брикеты, эскимо* ("мороженое на палочке"), счетны (ср. *И в подарок оставит нам, наверно, пятьсот эскимо*).

Обсуждая (не)исчисляемость названий фруктов и овощей, мы упоминали случай, когда признак относительного размера противопоставлял плоды близкого вида, но не работал на всем множестве языкового материала (например, *слива – алыча*). Среди названий готовых изделий этот признак противопоставляет *макаронны вермишели* и *лапше* (сравнительно крупные ~ сравнительно мелкие части) – но уже не по исчисляемости, а по числу, оформляющему совокупность. Но как быть с производными обозначениями макаронных изделий? Например, *звездочки* имеют размер, даже меньший, чем *вермишель*. Приведем для сравнения ряд *ушки, рожки, колечки, звездочки, гнезда, улитки, спиральки* [МН], с одной стороны, и слово *паутинка* [ЕД], с другой. Очевидно, что и здесь модель переноса по внешнему подобию предсказывает числовую форму лучше, чем признак размера.

И наконец еще одно наблюдение над несемантической мотивацией. Среди изделий малого размера мы выделили группу "потенциальных pl. tt." *гренки, палочки и хлебцы* (в этом же ряду следует рассматривать и мясное блюдо *шкварки*). С точки зрения свойств обозначаемых ими объектов эти существительные должны были бы, по идее, относиться к классу sg. tt., ср. *гуляш, рагу* и т.п. (= "блюда, приготовленные из мелко нарезанных кусочков"). Признак диминутивности позволяет исключить из списка слова *палочки* и *хлебцы* (имя *палочки* также является результатом метонимии "X → изделия, внешне похожие на X"). Числовая форма оставшихся двух имен, *гренки* и *шкварки*, может быть объяснена тем, что, согласно словарю М. Фасмера [Фасмер 1986], это отглагольные существительные, ср. *гренки – греть* и *шкварки – укр. шкварити 'жарить'*, а значит, они отвечают морфологической модели

[префикс] + глагольный корень + [суффикс -к-]=,

которая характеризует весьма продуктивный в русском языке класс названий "побочных продуктов производства", ср. *отбросы, отжимки, помои, высевки*, а также *сливки*.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный материал показывает, что выделения классов типа sg. tt. – sg-ориентированные – pl-ориентированные – pl. tt. явно недостаточно для формулировки правил числового оформления. С этой целью можно и нужно использовать семантические (а иногда и формальные) признаки лексем, которые, впрочем, не всегда действуют однонаправленно. Удивительно, но признак размера обозначаемого объекта, который, как принято считать, предопределяет исчисляемость/неисчисляемость имен во многих языках мира, очень легко "подавляется" другими семантическими признаками, ср. пары *фасоль – бобы, помидоры – свекла, пельмени – гуляш* и др. Напротив, наиболее сильными являются признаки функциональных классов: "приправы", "сухофрукты" (высушенные фрукты, используемые для компота), "корм для животных", "сырье"; признак размера у имен этих классов нерелевантен, ср. обозначения овощей среднего размера *свекла/(свеклы)* (огр.-исчисл.) и *свекловица*. Также очень сильны признаки, связанные с формой объекта: наличие формы (имена бесформенных объектов всегда неисчисляемы, ср. *плов, желе* и др.); наличие специфической формы или оболочки [ср. *пельмени* (исчисл.), но *гуляш* (неисчисл.), *окорок/(окорока)* (огр.-исчисл.), но *бекон* (неисчисл.)]; обозначение блюда по форме "изделия, внешне похожие на X" [ср. *песочные кольца* (исчисл.) – *хворост* (неисчисл.)]. На тип числового поведения оказывают влияние и параметры, связанные со



стереотипами восприятия объектов в процессе их использования, такие как способ произрастания и/или сбора ["растет как трава", ср. *салат* (неисчисл.); "растет и собирается по одному", ср. *подосиновики* (исчисл.); "растет и собирается в большом количестве", ср. *земляника* (неисчисл.)]. Признак, связанный с тем, как едят объект и сколько объектов находится на тарелке, может подавляться другими признаками, но, в свою очередь, сам может блокировать действие признака размера, ср. *шницель* (огр.-неисчисл., в генерическом контексте имя употребляется в форме ЕД, несмотря на то, что обозначается объект среднего размера). То же касается и признака "расти над/под землей", ср. *морковь* (огр.-исчисл., растет под землей), *капуста* (неисчисл., растет над землей, но является листовой культурой и ее едят как массу).

В работе были выделены несколько противопоставлений по способу концептуализации, которые могут реализоваться у одного и того же имени, но отмечаться разными числовыми формами, ср. концептуализацию на уровне массы (меньше одной штуки) и целого объекта [*колбаса* ~ *колбасы*, *яйцо (полить яйцом)* ~ *яйца*], на уровне целого объекта и совокупности объектов (*бисквиты* ~ *бисквит*), на уровне функционального объекта и физического объекта (*есть пирог* ~ *завернуть пироги в бумагу*).

Вместе с тем, как мы видели, в случае, когда семантические признаки не определяют числового поведения однозначно, в действие могут вступать внутри-системные (внутри-языковые) критерии, такие как диминутивность, род существительного, тип склонения.

Имена еды – наиболее архаичная и в то же время открытая культурному взаимодействию часть лексики. Вполне очевидно, некоторые формы pl. tt. так и не находят своего объяснения. Основная проблема состоит в узости материала. Возьмем четыре изолированных pl. tt.: *сливки*, *шкварки*, *макароньы* и *щи*. Первое получает если и не семантическое, то хотя бы формально-семантическое объяснение, будучи сопоставленным с именами близкой морфологической структуры (*вытопки*, *объедки* и т.п.); таким же образом могут объясняться *шкварки*; для анализа числовой формы имен *макароньы* и *вермишель* разумно привлечь материал других европейских языков – но *щи* так и остаются "несчастливым случаем" русской грамматики, поскольку ни одно другое существительное русского языка не пошло по его модели.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреев, Замбрицкий 1959 – Н.Д. Андреев, В.Л. Замбрицкий. Новое в современной сельскохозяйственной терминологии // Вопросы культуры речи. Вып. 2. М., 1959.
- Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. М., 1995.
- Арбатский 1954 – Д.И. Арбатский. Значения форм множественного числа имен существительных в современном русском литературном языке. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1954.
- Бурас, Кронгауз 1990 – М.М. Бурас, М.А. Кронгауз. Концептуализация в языке: все или ничего // Язык и структура знания. М., 1990.
- Иорданская, Мельчук 1980 – Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук. Коннотация в лингвистической семантике // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 6, 1980.
- Кацесва 1989 – М.И. Кацесва. Вариативность в группе потенциальных pluralia tantum. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
- Ляшевская 1999 – О.Н. Ляшевская. Нестандартное числовое поведение русских существительных. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Ожегов, Шведова 1999 – С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1999.
- Падучева 1996 – Е.В. Падучева. Феномен Анны Вежбицкой // А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Плунгян, Рахилина 1995 – В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина. Семантические типы предметных имен: грамматика, лексика и когнитивная интерпретация // "Диалог'95": Труды международного семинара по компьютерной лингвистике. Казань, 1995.
- Поливанова 1983 – А.К. Поливанова. Выбор числовых форм существительных в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.

- Русский семантический словарь 2000 – Русский семантический словарь Т 1–2 / Общ ред Н Ю Шведова М, 2000
- Фасмер 1986 – *М Фасмер* Этимологический словарь русского языка (Пер с нем и доп О Н Трубачева) / Под ред и с предисл Б А Ларина В 4-х тт М, 1986
- Шмелев 2002 – *Д Н Шмелев* Избранные труды по русскому языку М, 2002
- Allan 1980 – *K Allan* Nouns and countability // *Language* 56 1980 № 3
- Behrens 1995 – *L Behrens* The MASS / COUNT distinction in a cross-linguistic perspective // *Lexicology* 1995 № 1
- Cartwright 1975 – *H M Cartwright* Some remarks about mass nouns and plurality // *Synthese* V 31 № 3–4 Dordrecht, 1975
- Corbett 2000 – *G G Corbett* Number Cambridge, 2000
- Ivić 1982 – *M Ivić* Slavic fruit and vegetable names and countability // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics* 25–6 1982 (= *Slavic Linguistics and Poetics Studies for Edward Stankiewicz on his 60th Birthday* // Eds K E Naylor, H I Aronson, B J Darden & A M Schenker 17 November 1980, Columbus, Ohio Slavica)
- Jackendoff 1991 – *R Jackendoff* Parts and boundaries // *Cognition* 41 1991
- Jarvis 1986 – *D K Jarvis* Some problems with noun number choice // *Slavic and East European Journal* 30 1986
- Kibrik 1992 – *A E Kibrik* Defective paradigms number in Daghestanian European Science Foundation Programme in Language Typology Theme 7 Noun Phrase Structure Working Paper № 16 1992 (EUROTYP Working Papers VII/16)
- Kibrik 2002 – *A E Kibrik* Nominal inflection in Daghestanian languages // Ed Frans Plank *Noun Phrase Structure in the Languages of Europe* Berlin, 2002
- Koptjevskaja-Tamm, Walchli 2001 – *M Koptjevskaja-Tamm, B Walchli* The Circum-Baltic languages An areal-typological approach // Eds O Dahl, M Koptjevskaja-Tamm *The Circum-Baltic Languages Their Typology and Contacts* Amsterdam, Philadelphia, 2001
- McCawley 1975 – *J McCawley* Lexicography and the count / mass distinction // *Berkeley Linguistic Society Proceedings* 1<sup>st</sup> 1975
- Mel'čuk 1979 – *I A Mel'čuk* "Countability" vs "non-countability" and lexicographic description of nouns in Russian // *Chicago Linguistic Society Papers* 15 1979 [Перепечатано в Мельчук И А *Русский язык в модели "Смысл–Текст"* М, 1997 ]
- Rogers 1997 – *M Rogers* Synonymy and equivalence in special-language texts a case study in German and English texts on genetic engineering // Ed A Trosborg *Text typology and translation* Amsterdam, 1997
- Rosch 1975 – *E Rosch* Cognitive representation of semantic categories // *Journal of experimental psychology General* 104 1975
- Wierzbicka 1988 – *A Wierzbicka* *The Semantics of Grammar* Amsterdam, 1988 Ch X

© 2004 г. Е.Ю. ИВАНОВА

## О ПЕРЦЕПТИВНОСТИ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В исследованиях лингвистов Московской семантической школы (Ю Д Апресян, Е В Падучева, Г И Кустова и др ) понятие перцептивности связывается со смысловой составляющей некоторых слов и конструкций, которые подразумевают присутствие в семантической организации высказывания субъекта восприятия – Эксперимента (Экспериментера) и, в частности, фигуру Наблюдателя Эта фигура, однако, несколько отличается от того субъекта восприятия, который обнаруживается традиционными лингвистическими методами в номинативных предложениях (НП) В статье ставится задача соотнесения этих двух трактовок и делается попытка взглянуть на НП с учетом новых методов выявления перцептивных компонентов языка

1. В многочисленных исследованиях номинативных предложений всегда так или иначе отмечается способность этих построений представлять объекты или действия как наблюдаемые, как воспринимаемые по тем или иным перцептивным каналам *Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагнуть в школу Береза, старый пен, продавленная дорога, бабушка Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу* (В Тендряков), *Олеся снова открывает мне дверь, и я не знаю, рада она моему появлению или нет Недорезанные салаты на кухонном столе; шум воды в душе; смогу ли я починить утюг?* – в нем что-то случилось, *взвизги и смех в закрытой комнате; огромная кастрюля с бигуди на плите Прижимая к груди платье, девушки поминутно проносятся мимо кухни, где сижу я и чищу картошку* (И Кочергин) Этот эффект перцептивности (или, по выражению И И Ковтуновой, "рождение образа непосредственного восприятия" [1986 156]), возникающий в результате употребления данной конструкции, объясняется некоторыми грамматическими особенностями НП

1.1. Бытийный аспект перцептивности связывается с фиксацией предметов и явлений в некотором пространственном фрагменте Это обеспечивается в НП морфологически – **субстантивом**, который способен вводить не только предметные сущности, но и представлять явления как объекты восприятия, как субстанции [Уфимцева 1977 39, Бондарко 1984 65], и синтаксически – **номинативной формой** в независимой синтаксической позиции Такая грамматическая оформленность имитирует процесс восприятия, при котором объект выделяется на некотором фоне и понятийно определяется по основным интегральным признакам

1.2. Другой источник эффекта перцептивности НП выводится из значения **настоящего времени**, которое "обозначает действие, происходящее к а к б ы на глазах у говорящего" [Золотова 1982 323], благодаря чему создается иллюзия наблюдаемого процесса [Бондарко 2001 129–130] Это значение наблюдаемости максимально выражено в НП, не включающих в свой состав обстоятельственный компонент эффект присутствия субъекта речи на месте описываемого события и в момент события формируется невыраженностью (опущением или переносом в контекст) координат места и времени, что создаст измерение "здесь – сейчас – в поле зрения воспринимающего" *Она выдвинула ящик Тетради, чертежи, заметки...* (И Грекова),

*Бочаров шел по городу. Синее небо. Яркий снег* (В. Токарева). Тот же самый перцептивный эффект возникает и при умолчании временных и пространственных координат в инициальных номинативах: *Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет...* (А. Блок).

Номинативные построения, как известно, демонстрируют явление синтаксического времени. Время в НП не самостоятельно, оно включено во время контекстуальное, и эта привязка к временному плану других высказываний также позволяет достичь эффекта "непосредственности" восприятия, т.е. восприятия объектов в тот момент, в который происходит действие, выраженное в предшествующем (обычно) предложении. Другими словами, настоящее время в НП маркирует «точку пересечения бытия предмета и восприятия его в "данный момент" наблюдателем» [Золотова 1971: 89]. Это "настоящее антропоцентрическое", т.е. не объективное время существования предмета или явления, а субъективное время восприятия (или актуализации в сознании) образа этого предмета [Пронищев 1991: 24].

1.3. В НП с событийными существительными эффект перцептивности связывают с результатом **устранения субъекта**, особенно при сравнении их с глагольными односоставными: *В комнате шумно/шумят/шум*. Замечено, что невыраженность субъекта, уводя от идеи производителя действия, концентрирует внимание на действии [Гак 1976: 99–100]. Еще более значимым для эффекта "наблюдаемости" оказывается устранение субъекта, воспринимающего это действие, так как эффект расширения "рамки наблюдения" включением в нее рассказчика отмечается прежде всего в ситуации восприятия при формальной невыраженности основных компонентов перцептивной ситуации [Казаков 1994: 86–87].

Стереоскопический эффект НП, их способность раздвинуть "рамку наблюдения" погружением в чужое сознание служит основой литературоведческого понимания номинативных конструкций как лирического средства, поскольку в процесс восприятия оказывается вовлечен и субъект перцепции, и повествователь (если он не совпадает с субъектом восприятия), и читатель.

Эти традиционно выделяемые источники перцептивного эффекта НП изучены и лингвистикой, и литературоведением достаточно хорошо.

2. Между тем, в современных семантических исследованиях о перцептивности говорят в связи с **экспериментальной составляющей** ряда лексем и оборотов языка, более всего – в связи с фигурой Наблюдателя. Как соотносится эта фигура с тем эффектом стереоскопичности, о котором шла речь применительно к НП? Чем могут быть полезны поиски перцептивных смысловых компонентов в аспекте изучения номинативных построений?

В концепции Е.В. Падучевой [1998а; 1998б; 2000; 2001] Наблюдатель – это синтаксически не выраженный участник ситуации, Эксперимент в коммуникативном ранге Нуль. Предполагается, что "фигура наблюдателя возникает из семантики некоторых слов и категорий предложения – а не из контекста речевого акта, как говорящий" [Падучева 1996: 267]. Так, глагол *показаться* в классическом примере *Из-за тучи показалась луна* содержит указание на наблюдателя как компонент своего толкования: "возникнуть в поле зрения лица". Наблюдатель легко появляется в результате диатетического сдвига при глаголах восприятия, ср. *Эксперт обнаружил присутствие в теле яда* и *Раскрытый рот обнаружил много золота*, где диатетический сдвиг уводит субъекта восприятия "За кадр", в Наблюдателя с нулевым коммуникативным рангом.

Наблюдатель входит в толкование некоторых видов перцептивных наречий, предлогов (*издалека, за, перед* и др.), семантика которых предполагает, что "пространственная ориентация предметов релятивизована восприятием наблюдателя" [Апресян 1995: 642]. Фигуру Наблюдателя выявляют также в бытийных конструкциях, которые, как известно, в нейтральном коммуникативном варианте строятся с перспективой от Места к Вещи [Borschev, Partee 1998], и как раз локативный компонент

может наиболее естественным образом содержать в себе пространственный ориентир для Наблюдателя. Так, фраза *Перед ним стоял большой боровик* предполагает, по выражению Ю.Д. Апресяна, статичного внутреннего наблюдателя, который "является неустрашимым ориентиром для мысленного расположения всех остальных участников в пространстве" [Апресян 1999: 50].

3. В аспекте изучения НП нам важен последний пример как та исходная бытийная логико-синтаксическая структура, которая при неполной речевой реализации представлена безглагольным (номинативным) предложением – с локализатором или без него [Арутюнова, Ширяев 1983]: *В доме была суета. – В доме суета. – Вошел в дом. Суета, крики; На столе были цветы, подарки. – На столе – цветы, подарки. – Взглянул на стол. Цветы, подарки.*

3.1. Рассмотрим сначала перцептивные возможности бытийных безглагольных предложений с локализатором: *В доме шум; В Крыму засуха; В стране беспорядки; На грядках цветы; Возле магазина большая лужа.*

Если вывести фигуру Наблюдателя из перцептивных смысловых компонентов (то есть при более узком понимании, см., например, работы Е.В. Падучевой), не все бытийные предложения с их перспективой от Места к Вещи, в том числе безглагольные их реализации, могут быть истолкованы с наблюдающим участником. В предложениях *В Крыму засуха; В Чечне война; В стране беспорядки* ни одна из составляющих не включает в свое толкование перцептивный компонент, хотя устраненный агент порождает здесь тот эффект, который происходит из особой концептуализации события говорящим. Не всегда есть лексические маркеры перцептивности и в предложениях с предметными именами: *На грядках цветы; Возле магазина большая лужа.* Если здесь и предполагать "позицию... скромного наблюдателя" [Янко 2001: 317], то только за счет семантики "расположение в пространстве", обычной для предметных "локус"-предложений.

Другое дело, когда в предложение включена перцептивно-ориентированная лексика. Анализируя примеры *За дверью детский крик и беготня. За дверью беготня и крик*, Г.А. Золотова отмечает: "...эти субстантивные модели не могут быть ответом на вопрос о том, что делает субъект. Они сообщают о том, каким видит и слышит воспринимающее лицо наблюдаемое им пространство" [Золотова и др. 1998: 166]. Здесь "воспринимающее лицо" – это и есть Эксперимент в роли Наблюдателя, но за счет чего создается этот смысл? Понятно, что не за счет выбора перспективы от обстоятельственного компонента к событию и не за счет устранения субъекта действия, поскольку такая же организация и у предложений типа *В стране беспорядки.*

Именно наличие перцептивных компонентов в семантике слов и конструкций, составляющих предложение, обеспечивает фигуру Наблюдателя в трактовке Московской семантической школы. В примере *За дверью беготня и крик* перцептивная лексика – это названия акустически воспринимаемых явлений, но важнее, пожалуй, локализатор со значением преграды *за дверью* как ориентир для расположения наблюдающего субъекта; в таком контексте даже имя действия *беготня* прочитывается как звуковое явление.

Таким образом, само по себе построение с начальным локализатором, хоть и меняет перспективу высказывания, задавая иные коммуникативные ранги участникам ситуации, но Наблюдателя в узком смысле автоматически не создает. Оно, однако, обеспечивает синтаксические условия для возникновения этой фигуры, ведь естественное всего воспользоваться начальной и тематической позицией в предложении, указывая пространственные ориентиры наблюдающего участника.

Введение фигуры Наблюдателя позволяет решить и другие спорные вопросы из области бытийных безглагольных предложений, например толкование сочетаний временных детерминантов с предметными именами: *Вдруг тучка* (Г. Новожилов); *Вот сейчас откуда-нибудь – остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей*

и темные окна глаз... (Е. Замятин). Здесь неожиданность появления относится не к объекту или этапам его бытия, а к восприятию объекта скрытым участником (см. наблюдения Г.А. Золотовой [1971: 88] и анализ перцептивных наречий в [Кустова 1998: 34]). Ср. также примеры с детерминантом, указывающим на повторение перцептивной ситуации: *Затем четыре года еще в одной шараге "оборонного комплекса"...* *Господи, во имя чего? Опять небритая вохра, с сонно-подозрительными взглядами, решетки на окнах КБ, колючая проволока поверх забора* (В. Ларин); *За окном стороной проишумела ранняя машина... И опять напористая машина как дальний буревой порыв ветра* (В. Тендряков).

**3.2.** Вернемся к безглагольным бытийным предложениям без обстоятельственного компонента. Устранение локализатора имеет важное грамматико-стилистическое последствие: НП предполагает присутствие говорящего на месте события, напр.: *Вот мы и в Крыму. Море, солнце, песок; Столица Молдавии. Беспорядки, толпы людей на улицах, митинги; Мы вышли из магазина. Большая лужа.* Предложение *Они приехали в Крым. Море, солнце, песок* возможно только как передача чужого сознания. Локализатор, перемещаясь в предтекст, перестает быть лишь местом расположения объектов или "ареной" событий, он одновременно становится и пространством восприятия говорящего. Тем не менее, объяснить эффект "наблюдаемости" только сдвигом локализатора явно недостаточно. Оказывается, что его перемещение или отсутствие не всегда задает фигуру Наблюдателя: *...в комнате курить нельзя – Юрик* (Н. Катерли); *Домой он никого не приглашал: неприветливая мама, бабушка, всегда неприбранный. И, главное, проходная комната* (Н. Толстая); *Зарядка, прогулка и – научные труды! Я бы так жил, если было б возможно* (В. Попов).

Для перцептивного эффекта необходимы специальные средства, создающие ситуацию восприятия.

**3.2.1.** Ситуация восприятия может обеспечиваться специфическим набором лексики в НП. Прежде всего это, конечно, имена состояний и тех явлений, которые могут восприниматься слухом, обонянием или как-то иначе: *"Конференц-зал", – прочитал Андрей Николаевич и сел у двери. За нею – совещались. Приглушенный рокот голосов, скрип передвигаемых стульев, запах ароматизированных сигарет – та самая пауза, когда всем становится ясно: пора кончать, пора* (А. Азольский); *Постепенно в темноте салона все умолкают... Сопенье, запах прелой одежды...* (В. Попов); *Голос повторил свой вопрос..., подождал. Потом – сонный вздох, скрип постели, молчанье – и снова – медленно разбегающийся храп* (В. Набоков); *Она проводила лезвием ножа о шершавую цементную стенку крыльца то с одной стороны, то с другой. Долгий, скребущий звук* (Ф. Искандер).

Перцептивно-ориентированной лексикой являются также те существительные – имена конкретных действий, которые предполагают обязательную наблюдаемость процесса: *кивок, жест, взмах.* Например: *Таможенник... внимательно смотрит на экран. ...Я смотрю как в кино. Кивок носильщику... Губастый приподнял темные очки, встретился взглядом с таможенником. Еще кивок* (И. Муравьева); *Решительный поворот на каблуке* (В. Тендряков); *Дочери не хотел рассказывать, но все равно проговорился (трудно в себе держать). Чертыхаясь, поведал о приключении. И что? Раздраженное пожатие плеч: как так можно?* (Е. Шкловский).

**3.2.2.** Если лексика НП не содержит смыслового перцептивного компонента, то номинатив может истолковываться как название объекта восприятия в специальном перцептивном контексте. Именно таким способом вводятся НП с предметными именами, которые не относятся к перцептивной лексике, а потому вне контекста восприятия не могут создавать фигуру Наблюдателя.

Какие средства контекста задают перцептивную ситуацию? Во-первых, конечно, предикаты восприятия, но чаще не чисто перцептивные: *Ложусь на лед и гляжу. Хрупкие кристаллы, узорное кружево...* (Б. Екимов), а с той или иной динамической составляющей: *Она продолжала озираться. Песок, дальше песчаный скат, оброс-*

ший лесом. Ни души кругом (В. Набоков), в том числе с экспликацией "инкорпорированного" участника ("глаза", "взгляд") [Падучева 2001: 26]: *Московский дворик перед глазами – деревянные скамейки, высокая блестящая трава, одуванчики на ломающихся, с горьким белым соком трубочках* (В. Попов).

В принципе, свойства предикатов соответствующей семантики (зрения, ощущения и т.п.: *видеть, взглянуть, принахаться*) и эквивалентных им оборотов (*поднять глаза, остановить взгляд*) исследовались и ранее, например [Кириллова, Примова 1988], но в данное время изучается их способность организовывать ситуацию восприятия с разным коммуникативным рангом Эксперимента – от высшей синтаксической позиции подлежащего до ухода в позицию "За кадр", см. например [Падучева 2000]. В совсем новом аспекте видятся и другие участники ситуации, организованной перцептивными глаголами: объекты восприятия, преграды, локализующие обстоятельства. И в этом смысле контекст, сопровождающий НП, может предложить много интересного.

Прежде всего отметим, что предикаты восприятия, вводящие НП, имеют закрытые обязательные валентности, и заняты они наименованием перцептивного пространства как "вместилища" для перечисляемых далее предметов (*смотреть в окно, заглянуть в сумку*): *Сидит и смотрит в окно – двор небольшой, машины, песочница, мусорные баки, грай ворон – весенний, азартный...* (Е. Шкловский); *Я поднимаю сумку, заглядываю внутрь. Осколки бутылок, вода, во всем этом плавает хлеб и пачки масла* (В. Токарева). Впрочем, в художественном тексте предикаты восприятия часто опускаются. Их функцию берут на себя глагольные сочетания конкретного действия, которые предваряют перцептивный процесс. Они "вбирают в себя" семантику отсутствующего звена [Грамматика 1970: 738].

Как мы увидим далее, для создания ситуации восприятия важны не столько перцептивные глаголы, сколько любые средства, которые хоть как-то указывают на изменение обзора, появление нового перцептивного пространства, новой ситуации, благоприятствующей восприятию: *В такси мы ехали замкнутые каждый в себя. Устремленный в пространство профиль, взметнутая в напряжении бровь, в углу сжатого рта неуспокаивающийся живчик* (В. Тендряков).

Хотя в художественной речи изменение пространства восприятия может быть обозначено в самой причудливой форме, тем не менее эти маркеры могут быть выявлены. Рассмотрим в качестве примера способы создания наиболее обычной для НП ситуации зрительного восприятия.

**3.2.2.1.** Смена поля зрения происходит в результате **перефокусировки внимания** с использованием предикатов перемещения взгляда (*взглянуть, поднять глаза, остановить взгляд*) или движения тела, головы (*обернуться, оглянуться, повернуть голову*): *Я поднял на него глаза. Морщины, собранные на лбу, под сияющим черепом, брови, сведенные над хрящеватым носом, глубокие складки в углах сплюснутых губ...* (В. Тендряков); *Сургеев осторожно оглядывался. Однокомнатная квартира, достаточно просторная для холостяка, не обремененного книгами. Здесь же самодельные книжные полки подпирали потолок, сужая и придавливая пространство* (А. Азольский).

**3.2.2.2.** Изменение перцептивного пространства осуществляется в ситуации **перемещения субъекта восприятия**. Она задается:

а) предикатами движения при перечислении объектов, попадающих в поле зрения движущегося субъекта: *Уходим тем же путем, что пришли: вниз по деревянной лестнице. Мостик. Кладбище. Церковь* (В. Токарева); *Вечером она идет по указанному адресу. Приземистый двухэтажный дом старой постройки... Внизу – аптека и часовая мастерская. Еле светит пыльная лампочка, освещая лестницу. Стертые каменные ступени. Расшатанные перила. Площадка. Дверь* (В. Панова).

Разумеется, такая цепочка может включать не только зрительные объекты, но и другие перцептивные явления: овещественные признаки окружающей среды (туман, изморозь, дымка), ощущения, фиксируемые органами обоняния и слуха (гарь,

лязг и под.): *А когда пронесется, отишумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лязг, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки...* (Т. Толстая); *...мы обреченно и сосредоточенно помчались по направлению к Юрию Долгорукому. Тусклые фонари. Изморозь. Легкая дымка грядущей зимы. Неправдоподобный свет витрин* (Б. Окуджава).

При опущении этих предикатов ситуация перемещения задается любыми косвенными указаниями на процесс движения: *Двери за мной закрываются – одна, другая. По спине пробежал холодок. Второй этаж. Звонок. Решетка* ("Московский комсомолец");

б) предикатами завершеного движения к месту, откуда открывается новый вид (выйти на балкон, войти в комнату, выйти из дома, остановиться у окна): *Приводят в отделение. Скамейка. Перед ней стол, покрытый почему-то линолеумом* (В. Попов), а также с пропуском этих смысловых звеньев: – *Иди, мойся. Пар, зеркало запотело. Полная ванна, вода горячая, зеленватая...* (В. Попов); *После церкви отвожу его домой: "Нет, уж пойдем, Толя". Квартира в сталинском доме, две комнаты, запустение, запах, что-то недоеденное на столе, засохшее на клеенке, незастеленная кровать* (А. Найман).

3.2.2.3. Изменение обзора происходит в результате **устранения** некоторой **преграды** (ср. понятие "устраненного препятствия" в [Падучева 1998б: 25]), в художественной речи обычно обозначаемой косвенно: *В коридоре – ночная пустота; ежась от холода, вышел в тамбур, впустил в вагон несколько нахохленных от мороза пассажиров. Казенное здание вокзала, облезлый ларек, спующие туда-сюда черные фигуры. Никитин потянул на себя дверь, чтобы запереть, отгородиться от этой унылой картины* (О. Ларин). О снятой преграде "дверь" мы узнаем благодаря указанию на вновь восстановленную преграду (*потянул на себя дверь*), что служит читателю подтверждением правильности его понимания ситуации восприятия: взгляд на вокзальную станцию из двери открытого тамбура.

Ситуация снятия преграды может быть намечена с помощью контекста, задающего ситуацию "освобождения", "расчищения" места обзора: *Я остался один за столом. Розовый, влажный квадрат прессованной ветчины, сыр швейцарский целым куском на фаянсовой доске, хлеб, тонко нарезанный* (Г. Бакланов); *Он пошарил под диваном, куда закатились часы. Одиннадцать* (В. Набоков).

В качестве преграды для восприятия часто выступают закрытые емкости. Перцептивная ситуация связывается в таких случаях с обнаружением содержания данного "вместилища": *Она быстро выдернула ящик. Рыжий портфель* (В. Набоков); *Розовыми пальчиками малой развернул серебристую фольгу. Комочки гашиша* (С. Шаргунов); *Я сунул дрожащую руку в карман за бумажником. Только песок!* (В. Попов); *Она одну за другой открывала на плите крышки. Вермишелевый суп... Кусок мяса из супа отдельно как гарнир к холодной картошке* (Г. Щербакова); *Антон Петрович вскрыл конверт. Сто марок и больше ничего* (В. Набоков).

Устраненное препятствие – это и проникновение света, возможное как результат направленных на это действий субъекта (*целкнуть выключателем, зажечь лампу, отодвинуть занавески*), так и без участия последнего: *Сквозь неплотно прикрытые шторы светило солнце. Рисунок на обоях: коричневые ящерицы и желтые черепахи. Тумбочка с лампой. Рыжеватое кресло. Серый пыльный ковер* (Д. Рагозин); *Случайный мелкий дождичек штриховал пятна фонарного света. Бурый массив Ваганьковского кладбища справа от эстакады. С севера фонари, фонари... угрюмая земля, часто расчерченная прямыми линиями железнодорожных путей* (А. Волос).

Препятствием может быть и затуманенность, неотчетливость восприятия при использовании художественного приема "плывущего сознания", когда ощущение нереальности происходящего тормозит мыслительный и перцептивный процесс, позволяя лишь отстраненно фиксировать некоторые зрительные или акустические "картинки", пропускающие через пелену восприятия: *Полуобняв Мишу за плечи, я ввел его в столовую. Косой луч солнца из окна ломался в стекле графинов, разбивался*



на брызги на ребрах фужеров. Вдруг я почувствовал, как окаменели под моей рукой плечи Миши. И словно выпрыгнуло на меня лицо Севы – брови на известковом лбу, остекленевшие, широко расставленные глаза. Двиганье стульев, шарканье ног, будничные реплики (В. Тендряков).

3.2.2.4. Состав пространства восприятия изменяется по причине **проникновения нового объекта** в поле зрения Эксперientа: *На станции Левашово с грохотом завилаась толпа омовцев... Пятнистые робы, пушистые усы, волнующие запахи смазки и гуталина. Девушки все моментально на них переключились* (В. Попов), в том числе через ситуацию, каузирующую переключение внимания на объект: *Положи это, мальчик! – остановил меня милиционер: синяя форма, серое лицо...* (Г. Сапгир).

3.2.2.5. **Отражение в зеркале** – ситуация, позволяющая "развести" Эксперientа и его отражение как субъект и объект восприятия: *...я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы...* (Е. Замятин); *Заспанный и недовольный доцент Артамонов нащупал выключатель над зеркалом и ...критически сощурился на свое отражение. Сероватая пористая кожа, мешки под глазами, щетина* (Р. Исхаков).

Как видим, основным приемом обозначения ситуации зрительного восприятия является изменение перцептивного пространства. Любой, даже семантически "туманный" контекст, предполагающий изменение обзора, задает перцептивную ситуацию.

Средства, подобные рассмотренным выше, используются и при других видах перцепции. Так, в примере *Таня решительно толкнула дверь. Первый удар пришелся по обоянию. Запах кислой сырости, мочи и керосина, но все это протухшее, сгнившее, смертельное...* (Л. Улицкая) задается ситуация восприятия как перцептивной лексикой в НП (*запах*), так и контекстом, косвенно указывающим на "снятие преграды" и проникновение в область восприятия (*толкнула дверь*).

3.3. Отдельная задача – **выявление того, кому приписана роль Эксперientа** по отношению к объектам, перечисленным в НП. Наблюдатель, в НП всегда контекстуальный, эксципируется в контексте, т.е. теряет статус скрытого участника ситуации восприятия (о контекстном нулевом ранге см. [Падучева 1998а: 94]).

В разговорной речи это обычно говорящий, хотя и здесь возможна ситуация "изображения чужого сознания" [Апресян 1995: 632], когда говорящий сознательно передает "наблюдательный пункт" другому персонажу, который и становится субъектом восприятия, ср.: *Вхожу... Мусор! Бутылки!*, но и: *Входит он в комнату... Мусор! Бутылки!*

Подобным же образом в художественной речи роль субъекта восприятия может принимать персонафицированный повествователь или вообще персонаж, являющийся **фокусом эмпатии автора** [Падучева 1991: 166; 1996: 202–203], в целом, тот, кто является в данный момент рассказчиком, кому передан наблюдательный пункт. Это условие очень строгое и, как мы увидим далее, никогда не нарушается.

В самом простом случае субъект восприятия – это и субъект (действия, состояния или восприятия) предшествующего или – редко – последующего предложения: *Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил. Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге* (В. Тендряков); *Наташа отстранилась и посмотрела на него... Молодое лицо, обтянутое кожей, тревожные глаза* (В. Токарева); *Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть...* (Е. Замятин); – *Олег Павлович? ...Никитин обернулся. Круглое, в юношеском румянце лицо, тугой лаковый зачес, серенький пиджачишко-букле с рубашкой-апаиш...* (О. Ларин).

Рассмотрим другие возможности, усиливающие эффект "погружения в сознание" эмпатического персонажа.

Субъектом предшествующего высказывания (но не субъектом восприятия) могут быть другие персонажи, выступающие как объекты восприятия неназванного (конечно, только в данном отрезке текста) наблюдателя: *А народ стоял и стоял. От-*

*мерзшие синие уши. Ярко-алые носы. Лопнувшая у беспризорника нижняя губа* (С. Шаргунов); *Боря Цветик рассказывал с умудренным пренебрежением. Бело-снежная сорочка, неброского цвета галстук, тугие, гладко выбритые щеки – чистый человек, вынужденный ковыряться в житейских отбросах* (В. Тендряков). Субъект восприятия, таким образом, здесь вообще "не попадает в кадр" [Падучева 1998а: 85].

Эксперимент может быть введен в ситуацию в пониженном коммуникативном ранге, занимая эксплицитную позицию пассивного участника ситуации: *...вдруг вопро-сительно поворачивается она ко мне. Загорелое лицо, светлые глаза* (В. Попов) или проявляясь через "инкорпорированных" участников: *Человек ощутил направ-ленный на него взгляд. Кепчонка, ватник, руки заняты чем-то* (В. Тендряков).

Введение в ситуацию восприятия двух участников перцептивного процесса созда-ет усложненный смысловой рисунок, но установление объекта описания происходит все тем же способом: выявлением того, которому принадлежит право на "точку зре-ния" по крайней мере в рамках данного фрагмента текста. Особенно отчетливо этот принцип демонстрируется в ситуации взаимовосприятия – "лицом к лицу": *Он гля-дел мне в переносицу холодными матовыми глазами. Одутловатые щетинистые щеки, птичий нос и... горделиво-алчное выражение непримиримости* (В. Тендря-ков). НП отражает то, что видит именно персонаж-рассказчик (мне), а не второй персонаж (он), даже если последний имеет высший коммуникативный ранг.

В подобных случаях в рамках узкого контекста "подсказкой" может послужить способ обозначения объекта и субъекта перцепции: *Солдат у раковины оглядыва-ется на Меньшикова. Мокрое лицо, затравленный взгляд. Меньшиков засучивает рукава, надевает резиновый фартук, встает рядом, приступает к мытью мисок* (О. Ермаков). Мокрое лицо и затравленный взгляд принадлежит не Меньшикову (субъекту сознания в данном рассказе), а солдату у раковины: дескриптивным выра-жением обычно обозначается неэмпатический персонаж, т.е. объект перцепции. Конечно, в ситуации взаимовосприятия эмпатический повествователь тоже находит-ся "под наблюдением". Но быть описанным с помощью НП ему все равно не грозит: право на высказывание принадлежит только ему.

Единственный случай, когда эмпатический повествователь может быть объектом перцепции – это ситуация самоописания. Для этого необходим выбор "отстранен-ной" точки зрения. Наиболее естественно она создается в ситуации "перед зерка-лом": *Зеркальная стена еще не запотела, и в ней хорошо было видно превосходст-во Тараса над новой Валиной пассивей... Прямой нос, широкие брови, густые, чер-ные, без серебра, волосы... (О. Новикова); Татьяна скачет на кухню и по дороге натыкается на свое отражение в зеркале. Голова с растрепанными волосами, как кокосовый орех. Глаза затравленного зверя* (В. Токарева). Второй вариант само-описания – оценка себя со стороны, "чужими" глазами: *Я увидел себя его глазами: зеленое лицо, неверная походка... (А. Каштанов); Она и в этот миг не могла не взи-рать на себя со стороны. Чьими-то чужими, недобрыми глазами. Женскими, муж-скими? Не все ль равно? ... И видела... сухое лицо. До времени увядшее. И сухие плечи – мужские, без поката. И огромный нос, который выделялся всегда... И – пятна по щекам, пятна по щекам!* (Б. Голлер)<sup>1</sup>.

Персонаж, от лица которого ведется повествование, может принимать с помо-щью НП в зону своего восприятия перцептивные образы другого персонажа. НП позволяет войти в сферу переживаний и представлений другого лица, воссоздать перцептивную картину вместе с ним, но все равно это будут образы, поданные через призму персонажа-рассказчика: *Я уже поняла, зачем она позвала меня. Белые при-вядшие лилии, которые рвут с лодки, заплывая в их заросли, и стебель, протя-*

<sup>1</sup> Данный пример демонстрирует прием парцелляции с трансформацией парцеллятов в са-мостоятельные предложения.

нувшийся со дна, обрывается в глубине. Она была такая накупавшаяся в реке, надышавшаяся, на лице, на руках – свежий загар. И никакая это не командировка, что-то решается в ее жизни. Дай Бог (Г. Бакланов).

В целом, в рамках широкого контекста не возникает никаких затруднений в определении того, кто воспринимает обозначенные в НП объекты и явления (это всегда рассказчик – субъект сознания), и читатель по достоинству оценивает изобразительный эффект при отходе от стандартных способов введения субъекта восприятия.

При начальных, инициальных НП, которые не дают возможности установить ни личность рассказчика, ни основные ориентационные моменты, срабатывает "по умолчанию" прием непосредственного введения в ситуацию, реализуемый как погружение в сферу сознания неопределенного еще субъекта восприятия: *Чувство тоскливого страха с унижительным бессилием желудка и заячьим, ознобным томлением под ложечкой... Стеклоанный аквариум станции накалял ощущение до панического. Татьяна поспешно толкнула дверь* (О. Ларин).

4. Заключительные замечания. Традиционная лингвистика определила основной фактор перцептивности НП – грамматический, дающий своеобразное стилистическое последствие в виде эффекта "наблюдаемости" предметов и явлений. Новые семантические исследования помогают выявить лексико-синтаксические маркеры перцептивной ситуации, уточнить круг НП, действительно включающих фигуру Наблюдателя или – шире – субъекта восприятия. В результате оказывается, что ситуация восприятия, являясь несомненно доминирующим стилистическим приемом<sup>2</sup>, остается лишь возможностью и самим номинативным построением однозначно не задается.

4.1. Существуют номинативные конструкции, которые функционируют просто как номинализованные пропозиции: *Здорово вообще живет! Ни за что на свете по-настоящему не волнуется. Гимнастика, еда, труд* (В. Попов); *Сидя за письменным столом, он задумчиво пошевелил губами, просчитав дозу инсулина. Укол. Можно завтракать* (М. Румер-Зараев); *Можно подумать, что они жили как райские птицы, теща с Павлом Антонычем, да ничего подобного. Вечное напряжение, тревога, разлуки, ночная работа* (Т. Толстая). Ни устранение субъекта действия, ни субстантивное представление события, ни контекстуальное настоящее не задают в них фигуру Наблюдателя.

Не связанные перцептивной ситуацией НП свободно включаются в отношения обусловленности: *Там не пройти – стройка; Он в больнице: инфаркт; Гроза! Побежим домой*, легко становятся частями сложносочиненных и сложноподчиненных предложений: *Шаг в сторону, и окраина города. Дождь, а ты пошел без зонтика, Гроза, а ты на улицу.*

Не предполагают фигуру наблюдающего субъекта и номинативные реализации предложений "актуального наличия", "актуального обладания" [Апресян 1995: 523; Янко 2001: 309–323] с предметными именами в качестве объекта бытия или владения: *(Андрей) Не мог не заметить, однако, что все семечки отправлялись девахой в левую часть рта. Было ли связано это с правосторонней ориентацией человеческого организма? Или всего-навсего – дефект коренных зубов правой, то есть дублирующей, части системы? Пломба в зубе?* (А. Азольский); *И под водой ты не растеряешься – акваланг!* (В. Аксенов); *Он – состоятельный человек. Это несомненно. Двухэтажный кирпичный дом на юге Москвы, в районе коттеджной застройки. Счета в банке* (А. Маринина).

<sup>2</sup> В перцептивной ситуации употреблено 80% НП из художественной литературы и публицистики при общем объеме картотеки автора в 3000 примеров. В разговорной речи, исключая конструкцию "спокойной созерцательности" [Тарланов 1999: 147], это соотношение, конечно, будет иным.

В таком "активированном" употреблении НП отражают специальные коммуникативные стратегии, подобно глагольным контекстно-зависимым предложениям с неингерентной темой [Янко 2001 182–197]. Переориентируясь на выполнение особых смысловых задач (обоснование, конкретизация, раскрытие признака), эти номинативные высказывания, оставаясь в рамках бытийного логико-синтаксического типа, имеют свои правила синтаксического и стилистического поведения.

4.2. Не является жесткой и связь перцептивной ситуации с бытийным значением последующего номинатива.

Контекст восприятия может сопровождать и другие логико-синтаксические типы предложений. Так, номинативные реализации идентифицирующих предложений вводятся чаще всего именно в ситуации восприятия, напр.: *Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась Иринка* (Ю. Трифонов), *Вот и еще кто-то подошел с рюмкой Надюша* (И Грекова), *вдруг налетел спиной на что-то мягкое Обернулся – о господи, Сомов!* (Б Акунин), *Вагон, притормаживая, крупно затрясся Мы въехали под гулкие желтые своды Любань* (В Попов). Ситуация восприятия возможна даже и при неполных реализациях характеризующих предложений, когда пропущено описательно-детализирующее звено *Она цепким взглядом окинула квартиру Неплохо, совсем неплохо Ухоженное жилье, всюду чувствуется аккуратность и вкус* (А. Маринина). Однако введение объекта в сферу перцепции здесь является лишь этапом, предшествующим мыслительной операции идентификации или характеристики, в то время как в предложениях бытийного типа перцептивность представлена как основной канал познания.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю Д *Апресян* Избранные труды Т II Интегральное описание языка и системная лексикография М, 1995
- Апресян 1999 – Ю Д *Апресян* Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // ИАН СЛЯ 1999 № 4
- Арутюнова, Ширяев 1983 – Н Д *Арутюнова*, Е Н *Ширяев* Русское предложение Бытийный тип (структура и значение) М, 1983
- Бондарко 1984 – А В *Бондарко* Функциональная грамматика Л, 1984
- Бондарко 2001 – А В *Бондарко* Основы функциональной грамматики Языковая интерпретация идеи времени СПб, 2001
- Гак 1976 – В Г *Гак* Номинализация сказуемого и устранение субъекта // Синтаксис и стилистика М, 1976
- Грамматика 1970 – Грамматика современного русского литературного языка М, 1970
- Золотова 1971 – Г А *Золотова* О взаимодействии лексики и грамматики в подклассах имен существительных // Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова М, 1971
- Золотова 1982 – Г А *Золотова* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса М, 1982
- Золотова и др 1998 – Г А *Золотова*, Н К *Онипенко*, М Ю *Сидорова* Коммуникативная грамматика русского языка М, 1998
- Казаков 1994 – В П *Казаков* Синтаксис имен действия СПб, 1994
- Кириллова, Примова 1988 – В А *Кириллова*, М Б *Примова* Структурно семантические особенности предложений, репрезентирующих ситуации слухового и зрительного восприятия // Идеографические аспекты русской грамматики / Под ред В А Белошапковой, И Г Милославского М, 1988
- Ковтунова 1986 – И И *Ковтунова* Поэтический синтаксис М, 1986
- Кустова 1998 – Г И *Кустова* Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика 1998 Вып 36
- Падучева 1991 – Е В *Падучева* Говорящий субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка Культурные концепты М, 1991
- Падучева 1996 – Е В *Падучева* Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке, Семантика нарратива) М, 1996
- Падучева 1998а – Е В *Падучева* Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики // Семиотика и информатика 1998 Вып 36

- Падучева 1998б – *Е В Падучева* Наблюдатель и его коммуникативные ранги (о семантике глаголов *появиться* и *показаться*) // НТИ 1998 Сер 2 № 12
- Падучева 2000 – *Е В Падучева* Наблюдатель как Экспериент "за кадром" // Слово в тексте и в словаре М, 2000
- Падучева 2001 – *Е В Падучева* К структуре семантического поля 'восприятие' (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ 2001 № 4
- Проничев 1991 – *В П Проничев* Функционирование именных односоставных конструкций в тексте Предметно-ситуативные номинации Л, 1991
- Тарланов 1999 – *З К Тарланов* Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии Петрозаводск, 1999
- Уфимцева 1977 – *А Л Уфимцева* Лексическая номинация (первичная нейтральная) // Языковая номинация Виды наименований М, 1977
- Янко 2001 – *Т Е Янко* Коммуникативные стратегии русской речи М, 2001
- Borschev, Partee 1998 – *V Borschev, В Н Partee* Formal and lexical semantics and the genitive in negated existential sentences in Russian // Formal approaches to Slavic linguistics The Connecticut meeting 1997 Ann Arbor Michigan Slavic publications, 1998

© 2004 г. З.С. САНДЖИ-ГАРЯЕВА

## АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

### ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Поэтический язык Андрея Платонова странен, сложен и необычен, его изучение характеризуется множественностью аспектов и разнообразием интерпретации одних и тех же фактов. Разные стороны языкотворчества Платонова описываются с точки зрения лингвопоэтики [Толстая-Сегал 1979; Дмитровская 1990; 1999; Левин 1991; Радбиль 1998а], лингвистики [Кожевникова 1990], психолингвистики [Стернин 1999], лингвокультурологии [Купина 1999а; 1999б].

Существенная особенность платоновского стиля (без которой его творчество невозможно понять) заключается в отношении писателя к современному ему официальному языку, в способах его использования и изображения. Необходимо подчеркнуть, что особенность эта вытекает не только из социально-политических взглядов писателя, ее природа объясняется не столько критическим отношением к советской власти, к господствующей идеологии, сколько философией, и философией языка в частности. Вообще языковая позиция Платонова не объяснима так называемой "тоталитарной моделью", предполагающей противостояние и борьбу власти и масс, тоталитарного и антитоталитарного языка. Не думаем, что эту позицию можно квалифицировать только лишь как "языковое сопротивление" [Купина 1999а; 1999б], что и постараемся показать в предлагаемой статье. Нельзя также забывать о том, что Платонов никогда (и в 20-е и в 30-е годы тоже) не был, по выражению И. Бродского, "антисоветчиком". В рамки советской культуры Платонов не вмещался потому, что "его искусство было направлено на главный несущий элемент хилястического чувства в русском обществе – на сам язык" [Ботникова, Муценко, Никонова 1999: 242]. Платонов не отчуждается, не отстраняется от нового языка. Пафос Платонова был не в отрицании и разрушении старого языка, а в изобретении нового. Это, кстати, сближает Платонова с Хлебниковым, языковая программа которого также была направлена не столько на разрушение старого языка, сколько на созидание нового. О принципиально важной связи Платонова с официальным языком очень точно сказал И. Бродский: "...он, Платонов, сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами" [Бродский 1994: 155].

Отношение писателя к стандартному языку 20-х – 30-х годов было сложным. Во-первых, оно изменялось в разные периоды творчества, что было связано с философскими умонастроениями писателя. В. Эйдинова показала, что для Платонова начала 20-х годов было характерно понимание окружающей действительности как "мирадома", для Платонова же 30-х характерны мотивы "несвязей", "картина распадающихся связей" [Эйдинова 1994]. Выделяют в истории стиля писателя периоды "риторический" и "сатирико-лиричный" [Верхейл 1994]. Соответственно меняется и отношение к официальному языку: от речевого союза до речевого несоответствия. Это можно видеть и при сравнении таких принципиально значимых для творчества Платонова текстов, как "Чевснур" и "Котлован". Думаем, что подобные изменения ра-

зумно было бы связывать с различием двух советских культурно-языковых моделей [Паперный 1996; Романенко 2003].

Во-вторых, во взгляде Платонова на новый язык неразрывно слиты приятие и неприятие, диапазон его оценок – от сочувственной улыбки до иронии и пародии. Пожалуй, наиболее глубоко охарактеризовал этот факт Т. Сейфрид: «Когда в работах, написанных на пороге 20-х – 30-х годов такой его "юридический язык" становится приемом для пародии прочно сложившегося к тому времени официального языка (т. е. когда его деформации начинают осознанно направляться на то, чтобы подорвать некий "условный, шаблонный язык"), то причисление Платонова к ряду авангарда начинает казаться вполне оправданным».

Однако этот взгляд на Платонова как на некоего инстинктивного авангардного пародиста "языка сталинской эпохи" довольно скоро обнаруживает свои недостатки, встречая самые серьезные сложности именно в тех местах его шедевров, где просвечивается ностальгия по тем языковым оборотам, над которыми он иронизирует. У Платонова язык сталинской эпохи получает своеобразное, но отнюдь <...> не предвзятое определение: это некий аллегорико-утопический диалект, удачно превосходящий всякие семантические различия между буквальным и переносным, отвлеченным и конкретным значениями, здесь всюду смешивается политическая фразеология с семантикой бытия, как бы доказывая этим процессом пригодность социализма как преобразователя вселенной. Платонов не столько издевается над каким-то утрированным вариантом советского языка, сколько сожалеет, что в конце концов действительность оказывается этому языку неадекватной. В этом смысле Платонова даже можно назвать самым убежденным сторонником этого языка» [Сейфрид 1994: 146–147].

В-третьих, Платонов не только оценивает, он выступает в своих произведениях конструктивным участником процесса соединения языка власти с речью масс, создателем, сотворцом нового языка. И в этом смысле можно говорить о том, что в произведениях 20-х – 30-х годов Платонов проявляется как экспериментатор, пытавшийся соединить официальный клишированный язык и речевую стихию неграмотных масс и преобразовать их в нечто новое. Но синтез этих речевых феноменов не удался, о чем сам писатель, оценивая языковую ситуацию 1931 года, сказал в бедняцкой хронике "Впрок": *"Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой истории, говорящие свои мысли на чужом, кулацко-бюрократическом языке"* [Платонов 1999: 207–208].

Задача нашей статьи – выявить и описать платоновское понимание современного ему стандартного языка, его модель (образ) – в первой части статьи – и показать, как писатель ее создал и трансформировал в своем поэтическом языке, как экспериментировал с ним в процессе соединения с речью масс – во второй части статьи. Заметим, что в первой части, строго говоря, речь тоже идет о преобразовании, но проявляющемся в сочетаемости, в синтагматике, в синтаксисе [Санджи-Гаряева, Козинец 1998]. Материал работы – проза и драматургия Платонова конца 20-х – начала 30-х годов, в которой наиболее явно проявилось отношение писателя к языку эпохи ("Чевенгур", "Ювенильное море", "Котлован", "Впрок", "Усомнившийся Макар", "14 Красных Избушек", "Высокое напряжение"). Для изучения темы необходимо знакомство с источниками, отражающими социально-политический и культурный контекст эпохи (речи политических деятелей, партийные документы, пресса, лингвистические описания языка того времени). Материал источниковедческого характера и историко-филологический комментарий текстов А. Платонова содержится также в работах [Золотоносов 1990; Вьюгин 2000; Вахитова 2000; Галушкин 2000; Яблоков 2001].

## ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА

Истоки нового языка (языка революционной эпохи [Селищев 1928], советского языкового стандарта [Поливанов 1968а; 1968б], тоталитарного языка [Купина 1999а; 1999б], языка утопии [Геллер 1999], новояза, по Дж. Оруэллу, канцелярита, по К.И. Чуковскому) – в партийных документах, прессе, трудах Ленина и Сталина. В сознании платоновских героев этот язык отражается в виде некоей модели, структурирующей картину мира, в котором они живут. Эту модель можно назвать образом языка, который строится как система оппозиций ключевых слов-понятий. Пространство языка, отражающее жизненное пространство героев Платонова, организуют следующие семантические признаки: власть – масса, движение вперед – отставание (как во временном, так и в идейно-политическом плане), старое – новое. Герои, населяющие данное языковое и жизненное пространство, образуют трехчленную оценочную структуру враги – неясные – не враги, которая для советской культуры была архетипичной [Романенко, Санджи-Гаряева 2000]).

Власть – массы. Производными от понятия "власть" являются ключевые слова *директива, линия, план, организовать, организованность (организованные, неорганизованные)*. С помощью этих слов устанавливается связь между властью и массами. Через *директиву, линию, план, организацию* реализуется власть над массами, а массы в соответствии с этими понятиями ищут смысл своего существования. Сему власти в текстах Платонова реализуют слова: *власть, вождь, руководство, руководящий, максимальный класс, классик масс, первоначальный человек, вождевой актив, центральные люди, организующий персонал, активный персонал, актив, активист*. Примеры: *Зовите сюда всю власть и Прушевского; Вождь, товарищ, остановите ремонт комнаты старичков; Жесткое руководство нам необходимо; руководящий аппарат (человек); руководящий персонал советского скотоводства; Жачев ... посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменял курс и стал питаться от максимального класса; Они ждали активиста как первоначального человека; подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей; никто не приходил из организующего или технического персонала; где же тогда греться активному персоналу?; заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше; районные люди; районные черти; дрессировщики масс; постоянно грозивший ему палец из района; Остановись, классик масс*. Проводник власти и самый близкий к массам ее представитель обозначается, например, в "Котловане", словами *активист* и *актив*: *...здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе; Они ждали активиста как первоначального человека в колхозе; В начале ... был вождевой актив..., который организовал людей из животных*.

Понятие "народ", "массы" реализуется в большинстве случаев словами *масса* (в форме ед. ч. в отличие от узуальной формы мн. ч.) и *колхоз*. Оба слова могут использоваться как в собирательном (первичном) значении, так и единичном (метонимическом). Примеры: *Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты ведь авангард, гадина, замучила!; Ты думаешь, я просто себе гуца масс?; А ты не бойся, массы, они ведь добрые; Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете – скучно и босой; Колхоз неколлективно спал на Оргдворе; Вышедши наружу, колхоз сел у плетня*. В значении "массы" реже употребляются слова *пролетариат, беднота* и др.

Власть и массы взаимодействуют. Власть управляет, воздействует, учит, ведет. Массы с готовностью подчиняются, учатся, идут по указанному пути. Массы нуждаются во власти, без нее они беспомощны и пассивны. Примеры: *Стоявшие люди ни на мновение не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение; Особенно долго активист рассматривал подписи на бума-*



гах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс; Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя страхует свои тщетные надежды, а вождь извлекает из массы необходимое. Ключевыми словами, обозначающими готовность масс подчиниться власти, являются *угождать и угождение* (и производные от них): *Активист дал знать Чиклину и Воцеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.*

Способы воздействия на массы и ее формирование обозначаются словами *директива, линия, план, организация*. Следует отметить, что в "Чевенгуре", еще лишенном критического отношения к советскому языку, эти слова почти не встречаются (кроме *организовать*). Руководящие бумаги сверху здесь называются *циркулярами*, например: *Читай, Прош, циркуляры губернии и давай им навстречу наши формулировки; Следующим пунктом у нас идет циркуляр о профсоюзах...* В поздних текстах Платонова наиболее значимо и частотно слово *директива*, что отражает укрепление бюрократического аппарата государства. В "Котловане" оно пронизывает все повествование, жизнь героев целиком зависит от нее. Без директивы жизнь масс останавливается и обесмысливается: *Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? – спросил колхоз. – Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет* (эпизод после смерти активиста, служившего проводником директив в массы). Директива спускается сверху, из центра, из областного города, из находящейся выше организации. Директивное значение реализуется целым рядом слов: *постановление, областная бумага, установка, указание, лозунг, возглас, горячая рука округа*. Примеры: *Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия.* Директива может быть разной степени значимости: личная, местная, районная, областная, центральная. *Всякое слово хрустит в уме, читаешь, как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщать. Наверно, районные черти списали ее с центральной; Он заплакал на областную бумагу.* Она может быть как письменной, так и устной: *пустил устную директиву*. Она может становиться предметно-телесной и нарративизироваться (об этом во второй части статьи).

Второе по значимости ключевое слово, производное от власти, – *линия*. Если директива у Платонова конкретна, предметна, близка к обыденному сознанию масс, то линия – понятие более абстрактное, это общее направление, взгляды, политика партии: *Мы слышим из радио линию, а щупать нечего; Вот она четкая линия в будущий свет; Вот проверну здесь генеральную линию... , поеду учиться; А с кем останетесь? – с задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий.* Линия может быть общей, генеральной, на нее переносится теплое отношение к вождю, от которого она исходит: *дорогая генеральная линия*. Линия характеризуется четкостью и твердостью, прямотой, невозможностью отклонения вправо и влево (опасность *снолзания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии*). Линия может иметь и более частное значение – "поведение в каком-либо конкретном случае, тактика в отношении определенного человека". Синонимы линии – *точка зрения, тенденция*. Примеры: *Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит; Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства – вот что такое; Сафронов думал, какую бы наиболее благополучную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции.*

Средство организации жизни и работы массы – *план*. Это слово-понятие органически вошло в новый быт героев. Как и директива, план спускается сверху. Над героями Платонова постоянно висит угроза невыполнения, срыва плана. Необходимость его выполнения в положенный срок держит героев в постоянном напряжении.

Актуальность этого слова-понятия отразилась во всей советской литературе 30-х годов. План имеет множество разновидностей: *пятилетний, промфинплан, встречный, посевной, рабочий, декадный, личный, бумажный, план-талон*, его можно *перевыполнять, выполнять, срывать, выгонять, взять* (в значении выполнить). Примеры: *Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну; Промфинплан бы сорвали; Скажите, выполнила ночная свой встречный?; нормальной мещанской работой такого плана взять нельзя; сорвал план, подлец; выгоняя план до полутораста процентов*. Плановость пронизывает действия героев, придает смысл их существованию: *Каждый делает планово свое дело; В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих ... бились на плановом поприще; А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего тоска, а только в нас одних пятилетний план?; Рабочие планы в этом колхозе составлялись на каждые десять дней; Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок*.

Основной способ воздействия власти на массу – ее *организация*. Это понятие и соответствующие ему слова актуальны уже для героев "Чевенгура", которые только нащупывают путь к новой жизни: *А я хочу прочих организовать. Я уже заметил: где организация, там всегда думает не больше одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому*. Противопоставление организованности – неорганизованности наиболее значимо в "Котловане". Пространственные центры организованности – *Оргдвор* и *Оргдом*. *Организованные* – это представители массы, активно участвующие в новой жизни – колхоз (колхозники), пролетарии, члены, членки, колхозные девушки (в отличие от одиночных), даже колхозные лошади. *Неорганизованные* – нетрудовые элементы, одиночники, кулацко-средняцкая масса, люди без ясной цели, не охваченные общим делом. Примеры: *Организованные сели на землю и курили с удовлетворенным чувством, неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную душу; Организованные члены и неорганизованные одиночники; Эй, организованные, достаточно танцевать, обрадовались, сволочь!* Синоним неорганизованности – стихия: *У нас сейчас стихии нет ни капли, деться никому некуда*. Ощущается явное преимущество организованной жизни перед стихийной или одиночной, организованность является знаком причастности к новой форме жизни, к власти, к благам, которые она дает: *А Козлов захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений; Ты знаешь что, Левочка? Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул на должность – пусть бы хоть вечными он руководил!; наверно, в самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных; Все уже давно организовались, а мы живем, как анчутки*. Глагол "организовать", как и вся общественно-политическая лексика, у Платонова используется для описания не только общественной, но и частной, бытовой сферы жизни: *Пора бы костер по сильнее организовать, – сказал Кирей; вождевой актив организовал людей из животных; Так как же ты организовалась? (Сафронов спрашивает Настю в "Котловане"); Ты, Яков Титыч, – живешь не организационно, – придумал причину болезни Чепурный. – Чего ты брешешь? – обиделся Яков Титыч. Организуй меня за туловище, раз так*.

Движение (стремление) вперед – отставание. Эти слова-понятия выражают, во-первых, идею скорости, темпа, во-вторых, идею прогресса или отсталости. Сема скорости, стремительного движения вперед передается словами *темп, вперед, впереди, спешить, успеть, мчаться, рваться, некогда, скорее, скорость, бегом*. Примеры: *Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз; скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада; С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Скорее надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не успеешь; он без*

словно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно *рвалась вперед*, в невидимое будущее. Нам доказывать некогда, социализм не ждет, – возразил секретарь. Героев Платонова сопровождает постоянная боязнь не успеть что-либо сделать в срок, опоздать (это связано и с разобранным выше ключевым словом *план*). Часто стремление вперед доводится до абсурда, это движение ради движения, например: *Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся шагом вперед, не зная, где ему остановиться; Ты куда? Чего ты мечтаешь? Ведь адрес потеряешь!* – *Да куда-то вперед, сам не знаю; просто и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом, через колхоз, на коммуну.*

Ключевое слово того времени *темп* у Платонова обозначает не только скорость движения, но и процессы новой жизни, в частности, строительство котлована, коллективизацию. Например: *Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту – заводи темп на всю историческую скорость*; *Вощев задумывается среди всеобщего темпа. Движение вперед, стремительный темп имеет тотальный характер (символична фраза из пьесы "Высокое напряжение": Мы попали в общепролетарское силовое кольцо и вот мчимся).* Не участвующие в этом движении составляют исключение (Вощев в "Котловане", Мешков в "Высоком напряжении"). Поэтому отставание текстуально выражено слабее. Отставание грозит опасностью и гибелью: *замедленное движение всегда чревато риском и падением; Опасность отставания налицо; В тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все успевают за революцией.*

Оппозиция "движение вперед – отставание" базируется не только на временном признаке, но и на социально-политическом. В этом случае ведущими словами становятся *передовые* и *отсталые*, причем, принадлежность к передовым (синоним – *авангард*) означает чаще всего принадлежность к власти, отсталость же – свойство массы, она синоним нетвердости убеждений, слабости души, а также темноты, непросвещенности. Примеры: *Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтобы невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; Рвущаяся вперед сволочь (слова Жачева о Козлове) покидает рабочую массу, чтобы перейти в служебные учреждения; он..., запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие мудрости, тезисы различных актов, резолюций ..., пугал ... служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе натурное продовольствие; Прощай, – сказал ему Сафронов, – ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения; Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем; Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс; Неужели я отстал, неужели я дурак?; Ты мыслишь отстало; И четко сознавал отсталость масс. Карьеристы-партийцы иногда стремились "обогнать линию": дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, – и тогда линия увидит его, и он запечатлется в ней вечной точкой. Это могло кончиться и плохо (см. ниже о забеговиществе и переусердичие).*

Таким образом, передовые и отсталые противопоставлены не столько по признаку просвещенности, прогрессивности, с одной стороны, и темноты, непросвещенности, с другой, сколько по социальному признаку. Поэтому передовые, или авангард, соотносены с властью, отсталые же – с массой. Атрибутом передового человека, человека, находящегося в авангарде, является, по Платонову: а) принадлежность к власти, б) материальная достаточность, сытость, в) демагогическая риторика.

Старое – новое. Эта оппозиция является более общей, чем две предыдущие, поэтому она отчасти включает в себя некоторые из рассмотренных семантических признаков (организованность – неорганизованность, передовые – отсталые). Данное семантическое противопоставление в тексте реализуется, с одной стороны, в словах:

капитализм, капитал, империализм, буржуй, зажиточный, имущественные люди, кулак, пережиток, предрассудок, подкулацкий, единоличный, единоличник; с другой: социализм, коммунизм, колхоз, колхозник, совхоз, пролетарий, беднота, бедняцкий класс, классовый элемент, новый человек. Примеры: Оргдвор покрылся сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные **единоличники**, кто имел **подкулацкую** долю жизни и не вступал в колхоз; Вы что ж опять **капитализм** сеять собираетесь, или опомнились; Меня **капитал** пополам сократил; Терпи, пока старик **капитализм** помрет; А потому мы должны бросить каждого в раскол социализма, чтобы с него слезла шкура **капитализма**; Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных **бывшим империализмом**, работать на это живое будущее; Раньше я боялся, **гожусь ли я в новую жизнь...**; **Единоличницы** в большинстве своем лишь **традиционно-унылые**, беспросветные бабы; ...**социализм** будет, Настя его получит в свое приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший **предрассудок**; о чем мне горевать, когда уже присутствует **большевицкая юность** и **новый шикарный человек** стал на учет революции.

Оценка человека. Наименования лиц – это центр языкового мира, населенного платоновскими героями. Узуальная система оценок человека того времени описана в работе [Романенко, Санджи-Гаряева 2000]. Платоновский образ советского языка, воспроизводя внешнюю сторону этой системы, отличается своеобразием, к характеристике которого и перейдем.

Семантические признаки, относящиеся к человеку, образуют у Платонова трехчленную структуру оценочной лексики: враг – неясный – не враг (свой). Понятие врага обозначается словами: *враг, вредитель, шпион, белогвардеец, буржуй, кулак, субъект, чуждый, послед, подлец*, а также грубой бранной лексикой – *стерва, сволочь, гад* и др. Примеры: *такой товарищ есть **вредитель** партии, объективный **враг** пролетариата; ты скажи мне тихо: ты не **шпион**, не **подлец**, не **вредитель**?*; *Всякая **вредительская стерва** может легко обмануть и повести на гибель; это только **субъекты сукины сыны**; А лицо у него какое **чуждое!**; ты вон что надумал, **кулацкий послед**; **опасный двурушник**, надевший маску премированного ударничества.*

Группа "не враг" обозначается словами: *товарищ, ударник, члены, организованные колхозники, наш, ясный* и др. Примеры: *Я не хочу быть пустяком! Я хочу быть **товарищем пролетариата**; Я **ударник** и боюсь ослабеть, поэтому стараюсь лучшие питаться; Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: **вполне наши люди**; Кто бы я ни был, я человек **определенный**.*

Особенно многочисленна и разнообразна оттенками группа промежуточных оценок. Они прилагаются к героям, не являющимся ни врагами, ни своими. Их ощущение жизни передается словами героя "Высокого напряжения" Мешкова: *Я **скучаю от товарища** и **утомляюсь от врага***. В советской действительности эти люди должны были "проясняться" или "разъясняться", то есть становиться либо своими, либо врагами. Название этой группы – "невыясненные" – дано самим Платоновым. В повести "Ювенильное море" рассказывается о "специальном составе невыясненных" в связи с судьбой Умрищева. Платонов создает гипербололизированный сатирический образ невыясненных парт- и совработников, которые до "выяснения" живут особой жизнью, "разлагаются" и входят во вкус этой промежуточной жизни (некоторые уже и не желают "выясняться"):

*«В том учреждении, которое заведовало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали жалование и спрашивали: "Ну как я, не выяснен еще?" – (Нет, – отвечали им выясненные, – все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение, – будем пробовать выяснять!" Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными, отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообраз-*

ных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы <...> Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить – почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или – почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям, – нет ли здесь скрытых признаков кумовства именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то есть в нем такое скрытое и вредное, объективно очевидное, и лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам – пить пиво и петь романсы среди дня» [Платонов 1988: 7–8].

"Невыясненные" и – шире – "неясные" делятся на подгруппы. Это, во-первых, парт- и совработники (случай Умрищева), неправильно (относительно линии) или сомнительно себя проявившие. Оценочные слова для этой подгруппы – из партийной критики: *оппортунист, головотяп* и др. Платонов создает по существующим моделям свои наименования: *Перегибщик* или *головокруженец* есть подкулачник; *Шекотулов* есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет; *Замолчи*, несчастный схематик, сейчас я тебя тресну; *Я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец; он головотяп и упуценец*, – так его называли в бумагах из района. Это люди, которые допускают маложелательные явления *перегибщины, забеговщества, переусердщины* и всякого *сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии*.

Другая подгруппа – это интеллигенция, спецы, то есть люди, связанные со старой культурой. Главное их свойство – рефлексия. Как правило, эти герои обречены: они хотят умереть и готовятся к этому: *Нужно кончаться. Я – мелочь, прослойка, двусмысленный элемент и прочий пустяк* (ср. с устойчивым словосочетанием советского времени *прослойка интеллигенции*). Их настроение – грусть, тоска, сиротство, одиночество среди *всеобщего темпа труда*. Их социальная ущербность подчеркивается семей ничтожностью, униженностью, неизвестностью, остаточности. Примеры: *Ты же мягкосердечный человек, либерал, гуманист; Мешков ведь сирота. У нас с ним нет своего класса; жалобный нетрудовой элемент; Вы – мелочь, сволочь, ничуть не большевики; Мы же старое поколение, остатки от истраченной мелочи; Проснется и скажет: ты что сидишь, буржуазный остаток?*

И, наконец, неясными могут быть и люди из массы, потенциальные враги или свои. Так "колхозник в возрасте" Вершков ("14 Красных Избушек"), ощущавший себя "не тем", побывал в ударниках, а кончил классовым врагом. Еще пример: *прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе*. Неясные могут проясняться, становясь либо врагами, либо своими, приобщившимися к социализму: *Неясность жизни была. – А нам давно все ясно.*

Своеобразие изображения Платоновым системы оценки советского человека, во-первых, в иронической авторской модальности, во-вторых, в снисходительности и отсутствии ненависти в изображении героев-врагов и неясных. Платоновская система оценок человека в отличие от нормативной советской имеет нежесткий характер, категории "враг" – "не враг" перетекают друг в друга: *Классовый враг нам тоже необходим: превратим его в друга, а друга во врага – лишь бы игра не кончилась.*

Такова картина советского языкового мира у Платонова. Она отличается от действительности не столько составом и структурой, которые смоделированы писателем очень точно, сколько модальностью, неповторимо сочетавшей в себе серьезность, сочувствие и иронию, переходящую часто в пародию.

Теперь рассмотрим особенности трансформации советского языкового стандарта в прозе Платонова 20–30-х годов. Конкретно речь пойдет об одном аспекте этой трансформации – языковой игре.

Основной принцип платоновского языкотворчества в прозе и драматургии рассматриваемого периода – "оживление" мотивированности языкового знака на фоне автоматизированности (и, значит, условности) знака языка вообще и официального языка в частности. Этот прием характеризует не только отношение писателя к официальному языку, но является принципом его поэтического языка. Е.А. Яблоков, ссылаясь на работы Ю.И. Левина и Е. Толстой-Сегал [Левин 1991; Толстая-Сегал 1981], отметил: «Кажется, что в глубинах платоновского слова заложен "протест" против языка вообще, причем в максимально широком смысле – против "знака" как такового; конвенциональному, абстрагирующему знаку противопоставит неповторимый "сокровенный" смысл, основное свойство которого (в отличие от "привычного" слова) в том, что он не разделяет субъект и объект, но воплощает их единство и нерасторжимость – "слитность"» [Яблоков 2001: 13]. Нахождение "сокровенного" смысла состоит в оживлении внутренней формы слова или в приписывании слову внутренней формы, то есть в созидании мотивированного слова, органически связанного с вещью. В результате в поэтическом языке Платонова происходит отождествление слова и вещи, знака и денотата (на основе их мотивированной связи).

Таким образом разрушаются стереотипы сложившегося в 30-е годы языкового стандарта. Эта трансформация стереотипов осуществляется Платоновым с помощью актуализации или преобразования знаков разных уровней (слово, его значение, словосочетание, высказывание). Отсюда возникает эффект языковой игры. Материал для игрового преобразования Платонов черпает из современного ему официального языка и шире – из политической ситуации 20–30-х годов. Принимая во внимание аналитическое, а порой и критическое отношение к ней или, точнее сказать, усиливающееся "сомнение" Платонова в правильности того, что делалось властями, нетрудно установить иронический, пародийный характер языковой игры. В его записных книжках читаем: "Сознание, оно не предмет искусства; сознательный человек поддается только иронической форме произведения" [Платонов 2000: 69].

Поясним, как мы понимаем языковую игру и насколько это понятие применимо к Платонову. Существует, как известно, два понимания языковой игры – широкое и узкое. Они сформулированы в работах Е.А. Земской, В.З. Санникова и Т.А. Гридиной [Русская разговорная речь 1983; Санников 1999; Гридина 1999]. Языковая игра в широком смысле включает в себя все способы актуализации языкового знака, а также игру целыми ситуациями и текстами. Языковая игра в узком понимании основана только на использовании языковых средств. Если к Платонову применимо само понятие языковой игры, то именно в широком смысле, так как в прозе Платонова отражается не только рефлексия над языком, но и отношение к политическим ситуациям, эпизодам 20–30-х годов, оценка политически значимых текстов этого времени [Санджи-Гаряева, Романенко 2000; Санджи-Гаряева 2001].

Это было хорошо понято властями и официальной критикой, что и повлияло на писательскую судьбу Платонова. Из опубликованных недавно архивных документов известно, что на полях повести "Впрок" Сталин написал: *Дурак, пошляк, балаганищик, беззубый остряк, это не русский, а какой-то тарбарский язык, болван, подлец, да, дурак и пошляк новой жизни, мерзавец. Таковы, значит, непосредственные руководители колхозного движения, кадры колхозов?! Подлец!* [Галушкин 2000: 816]. Вождя разозлила не враждебность содержания (ее не было), а именно стиль, игровой, насмешливый и потому неуместный. Кстати, выражение *дурак и пошляк новой жизни* является модификацией характеристики повествователя из повести "Впрок" *дурак новой жизни*.

На вопрос – целесообразно ли говорить о языковой игре у Платонова – можно ответить, на наш взгляд, положительно, сделав ряд оговорок. Платонов в русской литературе XX века, пожалуй, самый трагический писатель по мироощущению и по философии. А языковая игра имеет основной целью достижение комического эффекта. Феномен Платонова в том, что, не будучи писателем сугубо сатирического склада, элементы языковой игры (смешное) он соединяет с трагическим смыслом своих произведений. Смеховое начало у Платонова Л. Шубин объясняет принадлежностью его к народной культуре [Шубин 1987]. В определенной степени языковая игра в устах платоновских героев близка балагурству в определении Д.С. Лихачева: "Балагурство – одна из национальных русских форм смеха, в которой значительная доля принадлежит "лингвистической" его стороне. Балагурство разрушает значение слов и коверкает их внешнюю форму. Балагур вскрывает нелепость в строении слов, дает неверную этимологию..." [Лихачев, Панченко, Поньрко 1984].

Кроме сказанного, следует учитывать, что природа языковой игры у Платонова, как у Хлебникова и обэриутов, особая. Они делали установку на создание ирреального, сдвинутого мира, в котором смешное и серьезное, вымысел и реальность не были строго разграничены.

О присутствии комического начала у Платонова пишут многие исследователи. На наш взгляд, не следует преувеличивать его роль, поскольку смех Платонова не имеет шуточного характера, его нельзя назвать веселым. Элементы комического по-разному представлены в произведениях: это зависит и от тематики, и от замысла. Характер комического также неодинаков. Есть ирония, например: *У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда* ("Котлован"). Есть открытый сатирический смех: *И тут Кондратов обернул "Правдой" кулак и сделал им удар в ухо предрика* ("Котлован"). Наконец, есть горький юмор, рождающийся из соединения трагического и смешного: (Чиклин подарил девочке Насте два гроба) *В одном углу сделал ей постель на будущее время, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок* ("Котлован"). Или: *Встретил в гробу Сергея Петровича* ("Высокое напряжение").

В текстах Платонова реализуются главным образом два принципа языковой игры: аллюзийный и образно-эвристический. При аллюзийном принципе используемая языковая единица актуализирует социально-культурный или историко-литературный контекст восприятия. В основу языковой игры у Платонова положен принцип аллюзийной соотнесенности с речевой практикой 20–30-х годов: с политическими лозунгами, газетными штампами, ключевыми словами послереволюционного времени, с речью конкретных исторических лиц. В частности, прослеживается явный диалог со статьями Сталина "Головокружение от успеха", "Ответ товарищам колхозникам", "Год великого перелома" и др. Приведем примеры из "Котлована": *Но вот спустилась свежая директива <...> и в лежащей директиве отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остротой четкой линии...; Перегибщик или головокруженец есть подкулачник; Он готовит и упиценец – так его назвали в бумагах из района.* Слово *обезличка*, частотное в речах Сталина, быстро распространилось в партийных документах, газетах и в официальной устной речи. В текстах Платонова оно встречается много раз, например: *У меня нет гнусной обезлички; Ты у меня видела отсутствие обезлички – первый этап моего руководства; Или я для тебя обезличкой стал? (муж – жене).* При этом слово, метонимизируясь, приобретает конкретное значение. Аллюзийная соотнесенность с реальными ситуациями лежит в основе всех преобразований игрового характера. Конкретные приемы языковой игры реализуют другой ее принцип – образно-эвристический. Платонов, будучи рефлектирующей языковой личностью, творчески преобразует и интерпретирует узуальные единицы языка, используя как

приемы балагурства (в понимании Д.С. Лихачева), так и острология. О разграничении двух названных стихий см. [Русская разговорная речь 1983: 175].

Один из приемов языковой игры у Платонова – нарративизация актуальных для текущего момента слов и понятий, в этом проявляется иллюзия отождествления слова и предмета, означаемого и означающего. Например, директива становится семантическим центром микросюжетов, она нарративизируется, входя необходимой составляющей в сознание и жизнь платоновских героев: *Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село <...> Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия.* Директива конкретна, даже предметно-телесна, она может *слускаться* (как в приведенном примере), *лежать* (в лежащей директиве отмечались *маложелательные явления*), на нее *капают* слезы активиста (*слеза активиста капнула на директиву, он заплакал на областную бумагу*), ее *сдергивают* на пол (*сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу*). Устойчивые штампы могут быть также развернуты в микросюжет, например: *Вопрос встал принципиально, и его надо класть обратно по всей теории чувств и массового психоза.*

Мотивированность языкового знака, в отличие от условности, ведет к отождествлению его и вещи. В качестве иллюстрации приведем слово *линия* – одно из самых значимых ключевых слов того времени: *Мы слышим линию из радио, а щупать нечего; С кем вы останетесь после раскулачивания? – С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий; Забегит вперед линии <...> линия увидит его; дорогая генеральная линия* и т.д. Яркий пример отождествления слова и вещи, столь типичного для Платонова, находим в рассказе "Усомнившийся Макар". В поисках применения своего изобретения Макар идет в профсоюз, где ему вручают бумагу: *"Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии". Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии. ... На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.*

Для Платонова характерно и прямое совмещение фактов языка и действительности: *люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время; Они ходили во множественном числе по всем местам деревни; В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги; Около кузни висел возглас, нарисованный по флагу; Ничтожные у нас, знаешь где? А здесь одни многозначные.*

Разрушение автоматизма официального языка Платоновым достигается разными способами: посредством окказиональной сочетаемости политически актуальных слов, устойчивых оборотов и политических лозунгов, например: *перестань брать слово, когда мне снится; лучшего вождя и друга машин найти нельзя; не будьте оппортунистами на практике* (слова обращены к землекопам); *пусть она* (Босталоева) *покажет себя в действии; сплошная очистка семян; пролетарии здесь уже соединены*; путем деметафоризации и буквализации образных и устойчивых выражений и сочетаний, например: *Мы хотим измерить светосилу той зари, которую вы, якобы, зажгли; Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья* (имеются в виду умершие Сафронов и Козлов); *Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вот она сама спускается в нашу массу.* Примеры этого см. также: [Вознесенская 1995].

Рефлексия по поводу речевых штампов выражается в обнажении их внутренней формы, что вызывает комический эффект. Так, Платоновым обыгрывается оксюморонность сочетания "текущий момент": *Копенкин про себя подумал: Какое хорошее и неясное слово: усложнение – как текущий момент. Момент, а течет: представить нельзя; Я считаю, что такая установка дает возможность опомниться*



мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пашкин в "Котловане" пытается усостыжить Жачева: Я и так чем мог всегда шел тебе навстречу. Жачев ему отвечает: Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попался, а не ты шел. В текстах Платонова обыгрывается внутренняя форма слова самотек, часто встречающегося в документах, в речах Сталина и в партийно-хозяйственном жаргоне того времени. Примеры из речи Сталина на конференции аграрников-марксистов 1929 года содержатся в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова: *Большевизм принципиальный непримиримый враг самотека. Теория "самотека" в социалистическом строительстве есть теория антимарксистская* [Толковый словарь 1996, IV: 42]. У Платонова: *Нет ли в его работе скрытой установки на самотек?; Такая политика, похожая на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни; ...и, наконец, был один старичок, явившийся на оргдвор самотеком.* В "Котловане" ликвидируют кулачество путем сплавления его по течению реки, то есть обрекают на гибель. В следующем примере слову самотек возвращается внутренняя форма: *Не смей думать что попало! Или хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот.*

Объектом языковой игры у Платонова становятся типичные для официального языка синтаксические модели. Например, выражение *ликвидировать кулачество как класс* у Платонова рождает целую россыпь абсурдных с точки зрения нормы реализаций этой модели. Приведем примеры: *Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство любовь к одной средней даме (среднячке); Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика* (эпизод с богом в повести "Впрок"); *Ликвидировать бога как веру; Его ликвидировали как председателя; Жил в эпоху кулачества как класса; Здесь я объявляю благодарность женищинам как товарищам; А ты убей их (мух) как классового врага* и т. д.

Комический эффект возникает при совмещении нескольких смыслов в одном и том же слове. Пример из "Чевенгура": *Скучно вам жить? – Полная закупорка. По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся: обидели нас!* (речь идет о революции). Слово *пробел* можно истолковать, во-первых, как "просвет" (старое значение), во-вторых, как "пропуск", "пустоту". Образно-переносное значение устойчивого словосочетания "на одном дыхании" сливается с прямым и буквальным в следующем примере: *Если б всю партию собрать в эту залу, – рассуждал Гоннер, – смело можно электрическую станцию пустить на одном партийном дыхании: будь я проклят!* Еще один случай буквализации значения устойчивой единицы: Пашкин в "Котловане" пытается усостыжить Жачева: Я и так чем мог всегда шел тебе навстречу. Жачев ему отвечает: Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попался, а не ты шел. Социальная и физическая семы соединяются в слове *урод*: Инвалид Жачев говорит о себе: *Я урод империализма.* Иронически двусмысленной выглядит фраза *Я тщательно старался объяснить религию как средство доведения масс до потери сознания.* Еще больший комизм обнаруживается в использовании слов *актив* и *член*, здесь официально-политический смысл сталкивается с грубо-физиологическим. Примеры: *Ну никак ты мне спать не даешь, – упрекнул Сотых (Чепурного). У нас в слободке такой актив есть: мужикам покою не дает: ты тоже актив, идол тебя вдарь!; Проклинаю текучее население, хочу общества и членства в нем! И в обществе я буду не член, а стынувшая конечность.*

Типичный прием языковой игры у Платонова – паронимическая замена слов, имеющая глубокую смысловую мотивировку. Например: *Пришел товарищ Упоев, главарь* (глава) *района сплошной коллективизации; Зою сеять боюсь. – Какую зюю? Если сою, то ведь она официальный знак. – Ее, стерву* (греческое имя Зоя означает жизнь); *Из всякой ли базы (базис) образуется надстройка?; Как такие слова называются, которые непонятны? – скромно спросил Копенкин. – Термиш или нет? – Термины, – кратко ответил Дванов* (и то и другое одинаково трудно и непонятно для Копенкина).

Важная роль в языковой игре у Платонова принадлежит словообразованию. Писатель использует различные элементы словообразовательного механизма, привлекая в качестве базовых основ наименования советских реалий, с одной стороны, и типичные для 20–30-х годов модели – с другой. Например, актуализируется модель отглагольных наименований лиц с суффиксом *-енец*: *упущенец, угожденец, переугожденец, головокруженец*. Платоновым создается целая серия слов окказионального характера на базе актуальной лексики, например: *перегибщина, забеговищество, переусердщина, классово-расслоенная ведомость* (классовая расслойка), *скустоваться* (объединиться в куст), *ошибочник*.

Писателем активно используются для создания окказиональных слов аббревиация и сложение. В качестве примера аббревиации рассмотрим слово *бантик* из пьесы "14 Красных Избушек", механизм образования которого поясняется в самом тексте: *Тут бантик был. Какой бантик такой? .. Я тебе говорю сокращенно, арифметически, вроде Совнаркома ЦеКеБу: бе- а- не- те- ке: белогвардеец-антиколхозник*. Для создания новых слов используется актуальный в послереволюционное время элемент *контр*: *контр-дурак, контр-умница*. В текстах встречается большое количество сложных прилагательных типа: *землеуказательный, супротивно-организационный, транспортно-тарочный, ликвидационно-прорывочный*.

Особой выразительности Платонов достигает при создании окказиональных слов, антонимически противопоставленных узуальным, например: *разгибщик* (ср. *перегибщик*), *отжим* (ср. *зажим*), *расстройщик* (ср. *строитель*), *обычайка* (ср. *чрезвычайка*), *среднота* (ср. *беднота*). Приведем два примера: *Я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно. От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев намеренно отжимал прочь всякого незначительного или ленивого работника ("Впрок"); Раньше буржуи жили. Для них мы с Чепурным второе пришествие организовали ... Был просто внезапный случай, по распоряжению обычайки. – Чрезвычайки? – Ну да ("Чевенгур")*.

Сугубо игровой характер, близкий к балагурству, имеют производные с основной член в значении "активный, партийный, колхозник": *членки* – колхозницы-активистки, *новочленцы* – колхозники. Пример из повести "Впрок": *Ты хоть бы раз на колхозные дворы сходила, посмотрела бы, как там членки доют*.

Интересны случаи окказиональных мотиваций, например, слово *большевизм* мотивируется прилагательным *большой* при узуальном соотношении: *большевизм – большевик: При большевизме я среднего ничего не видел. – И я тоже. ... Все одно только большое*.

Особый вид словообразовательной игры представлен в случаях, напоминающих обратное словообразование: *Ведь слой грустных уродов не нужен социализму (ср. прослойка); Из всякой ли базы образуется надстройка? (ср. базис)*. Близки к приведенным примеры образования слов путем усечения: *невер, оппорту*.

Яркий пример контаминации представлен в слове *дубъект*. Замена первой буквы в актуальной лексической единице "субъект" рождает два предположения: а) первая часть ассоциируется со словом *дуб*, б) со словом *думать*. Контекст не проясняет значения: *Впрочем, живу как дубъект, думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают*.

Комической выглядит контаминация в имени Пашкина ("Котлован") имени Троцкого и отчества Ленина: *Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование, – даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно*.

Особый вид языковой игры представляют у Платонова антропонимы и топонимы: *Федератовна, Умрищев, Упоев, Определеннов, мастеровой по прозвищу Прынцип*. Названия колхозов и совхозов: *Родительские дворики, Без кулака, Доброе начало*.

Языковая игра, представленная в материале, служит конституирующим средством созидания образа автора в платоновской прозе, она характеризует своеобраз-

ную и уникальную языковую личность писателя. Эта уникальность, по нашему мнению, проявляется в образе автора в сочетании элементов как мифологического, так и рационалистического языкового сознания.

Мифологизм платоновского языка – не в неадекватном представлении связей и отношений реальности (и соответственно – ложном отображении шкалы ценностей) в словесном знаке [Радбиль 1998б: 8], а в созидании цельной, мотивированной, новой языковой действительности (и вслед за тем – действительности реальной) [Сейфрид 1994: 148–154]. О таком понимании мифа писал А.Ф. Лосев: "Обыкновенно полагают, что миф есть басня, вымысел, фантазия. Я понимаю этот термин как раз в противоположном смысле. Для меня миф – выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того мира, который открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную мифологию" [Лосев 1993: 772–773]. Поэтому нарративизация, отождествление знака и денотата, культивирование внутренней формы знака, деметафоризация (буквализация метафор), то есть созидание мотивированного слова, поэтического языка, есть мифологизация языка. Кроме того, сюда же нужно отнести явное вытеснение метафоры метонимией (что характерно для языка прозы, а не поэзии [Якобсон 1987: 331]). Ведь суть метонимии – в цельности, отождествлении сопоставляемых объектов, в идее метафоры, напротив, лежит представление о схожести разных объектов, то есть об их различии. Все эти средства нужны Платонову для синтеза официальной и народной языковых стихий. Разрушение же стереотипов языка (и официального в частности), ирония, игра, насмешливый критицизм, черты пародийности – это элементы рационализма. Они слиты с мифологизмом, и эта слитность – специфика поэтического языка Платонова.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ботникова, Муценко, Никонова 1999 – А.Б. Ботникова, Е.Г. Муценко, Т.А. Никонова. Язык и позиция повествования у Андрея Платонова... // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1999. Вып. 13.
- Бродский 1994 – И.А. Бродский. Предисловие к повести "Котлован" // Андрей Платонов. М., 1994.
- Вахитова 2000 – Т.М. Вахитова. Обратная сторона "Котлована" // Андрей Платонов "Котлован": Текст. Материалы творческой истории. СПб., 2000.
- Верхейл 1994 – К. Верхейл. История и стиль в прозе Андрея Платонова // "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Вознесенская 1995 – М.М. Вознесенская. Семантические преобразования в прозе А. Платонова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.
- Вьюгин 2000 – В.Ю. Вьюгин. Повесть "Котлован" в контексте творчества Андрея Платонова // Андрей Платонов "Котлован": Текст. Материалы творческой истории. СПб., 2000.
- Галушкин 2000 – А. Галушкин. Андрей Платонов – И.В. Сталин – "Литературный критик" // "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 2000.
- Геллер 1999 – М.Я. Геллер. Андрей Платонов в поисках счастья. М., 1999.
- Гридина 1999 – Т.А. Гридина. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1999.
- Дмитровская 1990 – М.А. Дмитриевская. "Переживание жизни": о некоторых особенностях языка А. Платонова // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Дмитровская 1999 – М.А. Дмитриевская. Язык и мирозерцание А. Платонова: Дис. на соиск. уч. ст. докт. филол. наук. М., 1999.
- Золотоносов 1990 – М. Золотоносов. Усомнившийся Платонов: ("Чевенгур"; "Котлован") // Нева. 1990. № 4.
- Кожевникова 1990 – Н. Кожевникова. Слово в прозе А. Платонова // Язык: система и подсистемы: К 70-летию М.В. Панова. М., 1990.
- Купина 1999а – Н.А. Купина. Язык тоталитарной системы в повести "Котлован" // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1999. Вып. 13.
- Купина 1999б – Н.А. Купина. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург, 1999.

- Левин 1991 – *Ю И Левин* От синтаксиса к смыслу и дальше (о "Котловане" А. Платонова) // ВЯ. 1991. № 1.
- Лихачев, Панченко, Понырко 1984 – *Д Лихачев, А Панченко, Н Понырко* Смех в древней Руси. М., 1984.
- Лосев 1993 – *А Ф Лосев*. Бытие – имя – космос. М., 1993.
- Паперный 1996 – *В Паперный* Культура "Два". М., 1996.
- Платонов 1988 – *А П Платонов*. Ювенильное море: Повести, роман. М., 1988.
- Платонов 1999 – *А Платонов* Избранное. М., 1999.
- Платонов 2000 – *А П Платонов* Записные книжки. Материалы к биографии. М., 2000.
- Поливанов 1968а – *Е Д Поливанов* О фонетических признаках социально-групповых диалектов и, в частности, русского стандартного языка // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Поливанов 1968б – *Е Д Поливанов* Революция и литературные языки Союза ССР // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Радбиль 1998а – *Т Б Радбиль* Мифология языка Андрея Платонова. Н.-Новгород, 1998.
- Радбиль 1998б – *Т Б Радбиль* "Смаитика возможных миров" в языке А. Платонова // Филологические записки Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1998. Вып. 13.
- Романенко 2003 – *А П Романенко*. Советская словесная культура: образ риторика. М., 2003.
- Романенко, Санджи-Гаряева 2000 – *А П Романенко, З С Санджи-Гаряева* Оценка советского человека (30-е годы): риторический аспект // Речевая коммуникация. Саратов, 2000.
- Русская разговорная речь 1983 – Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / Под ред. Е.А. Земской. М., 1983.
- Санджи-Гаряева 2001 – *З С Санджи-Гаряева* Языковая личность Андрея Платонова через призму языковой игры // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М., 2001.
- Санджи-Гаряева, Козинец 1998 – *З С Санджи-Гаряева, С Б Козинец* Лексические трансформации в языке А. Платонова // Слово в системе школьного и вузовского образования. Саратов, 1998.
- Санджи-Гаряева, Романенко 2000 – *З С Санджи-Гаряева, А П Романенко* Образ советского языка у А. Платонова // Русская литературная классика XX века: В. Набоков, А. Платонов, Л. Леонов. Саратов, 2000.
- Санников 1999 – *В З Санников* Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Сейфрид 1994 – *Т Сейфрид* Платонов как прото-соцреалист // "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Селищев 1928 – *А М Селищев* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928.
- Стернин 1999 – *И А Стернин*. Язык смысла А. Платонова // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1999. Вып. 13.
- Толковый словарь 1996 – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1996.
- Толстая-Сегал 1979 – *Е Толстая-Сегал* О связи низших уровней текста с высшими // Slavica Hierosolimitana. Ierusalem, 1979. V. 4.
- Толстая-Сегал 1981 – *Е Толстая-Сегал* Идеологические контексты Платонова // Russian literature 1981 V IX. № III.
- Шубин 1987 – *Л А Шубин* Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М., 1987.
- Эйдинова 1994 – *В Эйдинова* О динамике стиля А. Платонова (От раннего творчества к "Котловану") // "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1994.
- Яблоков 2001 – *Е А Яблоков* На берегу неба (Роман Андрея Платонова "Чевенгур"). СПб., 2001.
- Якобсон 1987 – *Р Якобсон* Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы. М., 1987.

**ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ**

© 2004 г. В.В. ПОТАПОВ

**ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СИДОРОВ**

(к столетию со дня рождения)

В декабре 2003 года исполнилось сто лет со дня рождения известного русского языковеда и педагога Владимира Николаевича Сидорова – специалиста по истории русского языка, описательной и исторической фонетике и фонологии, орфоэпии, диалектологии, теории лингвистической географии и орфографии русского языка (об этом см. также [Потапов 2003а; 2003б]). Наряду с Р.И. Аванесовым, П.С. Кузнецовым, А.А. Реформатским, А.М. Сухотиным он являлся одним из создателей Московской фонологической школы (МФШ).

Владимир Николаевич Сидоров родился в семье педагога (впоследствии его отец – Николай Павлович Сидоров – преподавал древнерусскую литературу и фольклор в МГПИ им. В.П. Потемкина). Родом Владимир Николаевич Сидоров был из интеллигентной семьи. Дедушка по материнской линии был священником и преподавал в духовной семинарии в Рязани. Владимир Николаевич имел брата, Бориса Николаевича, известного генетика, ученика А.С. Серебровского, и сестру, Ольгу Николаевну Комову, челюскинку. В.Н. Сидоров был широко образованным человеком и интересным собеседником. Он прекрасно знал поэзию, театр, музыку и живопись.

В 1921 г. В.Н. Сидоров поступил в Первый Московский университет на этнологический факультет (отделение литературы и языка, цикл русского и славянских языков). Слушал лекции, которые читали ученики Ф.Ф. Фортунатова (основоположника формально-лингвистического направления в исследовании языка – главы так называемой московской лингвистической школы) – Н.Н. Дурново, М.Н. Петерсон, А.М. Пешковский, Д.Н. Ушаков и близкий к московской школе А.М. Селищев, – В.Н. Сидоров становится последователем этой школы. В своих работах он неизменно проводит в жизнь основное ее положение: язык – это система.

Будучи студентом, В.Н. Сидоров принимает участие в диалектологических экспедициях в Воскресенский и Можайский уезды Московской губернии, организованных Постоянной комиссией по диалектологии русского языка АН СССР, членом которой он избирается в 1927 г. Результатом поездок была дипломная работа "Описание говора западной половины Воскресенского уезда и Ореховской волости Можайского уезда Московской губернии".

В 1926 г. В.Н. Сидоров окончил Первый Московский университет. Работал научным сотрудником Государственного музея Центральной промышленной области, старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института языкознания (Москва), Арктического института ГУСМИ в Красноярске, Института русского языка и Института языкознания АН СССР (Москва), преподавателем и доцентом Московского и Красноярского педагогических институтов, а также Московского

университета. Наряду с этим он участвовал в этнографических и диалектологических экспедициях, изучал говоры рязанской Мещеры и переходные говоры Тульской области, выступал с докладами-отчетами на заседаниях Постоянной комиссии. В 1944 г. защитил кандидатскую, в 1963 г. – докторскую диссертацию.

С 1927 по 1931 годы В.Н. Сидоров в соавторстве с Р.И. Аванесовым и Л.Б. Перельмуттером пишет и издает учебники и пособия для общеобразовательных курсов, школ молодежи и педагогических техникумов. В 30-х годах Владимир Николаевич совмещает собственно научную работу в Научно-исследовательском институте языкознания (в секторе истории русского языка и в секторе по изучению грамматики и типологии языков народов СССР) с преподаванием в Редакционно-издательском институте и в МГПИ им. В.П. Потемкина.

Во время войны В.Н. Сидоров с семьей эвакуируется в Красноярск. В 1944 г. Владимир Николаевич возобновляет педагогическую работу в МГПИ им. В.П. Потемкина и в этом же году поступает в Институт русского языка АН СССР, где работает вначале в секторе диалектологии, а затем в секторе истории русского литературного языка.

Лингвистические интересы В.Н. Сидорова были широки и разнообразны. Анализируя звуковую строй современного русского языка, Владимир Николаевич Сидоров вместе с Рубеном Ивановичем Аванесовым заложил основу Московской Фонологической Школы (МФШ).

По словам В.Н. Сидорова, он и другие московские фонологи при разработке своей теории исходили из идей Н.Ф. Яковлева и Г.Г. Шпета и не испытывали влияния Ф. де Соссюра. Владимир Николаевич считал, что в "Курсе общей лингвистики" Ф. де Соссюра фонетика в основном изложена традиционно, новым является только определение фонемы. С определением фонемы как пучка различительных признаков, выдвинутым Р. Якобсоном, В.Н. Сидоров не соглашался, так как с его точки зрения различия по месту, способу образования и т.д. становятся очевидными в основном с позиции физиологии [Борунова 1996].

В группу молодых лингвистов, назвавших себя "Новомосковской школой" (термин А.А. Реформатского), в отличие от Московской школы Ф.Ф. Фортунатова, входили (кроме Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова) П.С. Кузнецов, А.А. Реформатский и А.М. Сухотин.

Фонологическая теория МФШ была следствием практической деятельности Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова, их успешных попыток представить фонетическую (звуковую) сторону русского языка как систему. В этой работе большую роль сыграли их занятия диалектологией. Будучи участниками антропологической экспедиции по изучению Нижегородско-Вятского края, Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров объездили огромные пространства. Результатом поездок было описание фонетики северного Поветлужья, которое стало одним из подступов к созданию фонологической теории [Аванесов, Сидоров 1931].

Чисто фонологические взгляды московских лингвистов, по воспоминаниям В.Н. Сидорова и А.А. Реформатского, во многом оформились под влиянием одного из крупнейших лингвистов – востоковеда Н.Ф. Яковлева, работавшего в те годы в комитете по созданию алфавитов для бесписьменных языков народов СССР. В статье "Реформа орфографии..." было дано обоснование фонемы как знака, обладающего смысловозначительной функцией.

Позже в "Очерке грамматики русского литературного языка" в разделе "Фонетика" Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров дали толкование фонемы и системы фонем. Были сформулированы понятия фонетической позиции (т.е. положения фонемы в слове), сильной и слабой позиции, даны определения видоизменений (модификаций) фонемы. В дальнейшем В.Н. Сидоров пришел к необходимости выделения так называемой гиперфонемы в тех случаях, когда звук в слабой позиции не чередуется со звуком в сильной позиции (так, в слове *собака* – гиперфонема *о/а*). В свое время за идею гиперфонемы его и Р.И. Аванесова обвинили в агностицизме, "...как будто

они говорили о непознаваемости фонемы" [Борунова 1996: 77]. В последующие годы фонологическая теория МФШ получила широкое признание и распространение.

Основополагающая концепция системы фонем русского языка изложена в работе Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова "Система фонем русского языка", которая была составной частью "Очерка грамматики русского литературного языка" (1945) [Аванесов, Сидоров 1970б]. В этой работе дается такое определение фонемы: "...самостоятельные звуковые различия, которые служат знаками различия слов языка, называются фонемами; звуковые же различия несамостоятельные представляют собой видоизменения этих фонем в определенных фонетических условиях" [Аванесов, Сидоров 1970б: 249]. Фонема выступает не обязательно в каком-то одном звучании, а в ряде звучаний, которые представляют собой ее разновидности. Каждая фонема присутствует в определенных разновидностях, и каждая из таких разновидностей выступает в строго определенных фонетических условиях.

Разновидности одной фонемы взаимно исключают друг друга в одной и той же позиции и, наоборот, взаимно замещают друг друга в разных позициях. Следовательно, одна разновидность данной фонемы по отношению к другой разновидности той же фонемы не может выступать в качестве средства для различения слов. Различия между разновидностями фонемы обусловлены фонетическим положением, т.е. фонетической позицией, которая определяет в каждом конкретном случае наличие одной определенной разновидности фонемы. Данные разновидности зависят от условий сочетания звуков (например, от положения фонемы перед или после определенных звуков) или от положения фонемы в слове (например, в начальной или конечной позиции слова, в ударном или безударном слоге). Фонема всегда обозначается по своему основному виду, а остальные ее разновидности можно рассматривать в качестве видоизменений основного вида фонемы. Авторы определяют совокупность этих видоизменений, выступающих в слабых позициях, как **модификации фонемы**. Эти модификации фонем по своей функции, т.е. по той роли, которую они играют в системе знаков для различения слов, подразделяются на два типа – вариации и варианты.

**Вариации** – это такие обусловленные позицией модификации основного вида фонемы, при которых не происходит совпадения в одном звучании конкретной фонемы с какой-либо другой. Вариация – это позиционно обусловленный звуковой синоним основного вида фонемы.

**Варианты** – это позиционно обусловленные модификации фонемы, которые не различаются с какой-либо другой модификацией фонемы, совпадая с ней в своем качестве. Вариант выступает в роли заместителя двух или более фонем, не различающего функции совпавших фонем.

Задача последовательного, целостного описания фонетической системы решается во многих работах, посвященных как литературному языку, так и диалектам. При таком описании пришлось развернуть и систему основных фонологических понятий. В работах Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова впервые вводится и последовательно применяется понятие нейтрализации фонем. Это понятие в его эксплицитной форме еще не присутствовало в работах Н.Ф. Яковлева, прямого предшественника МФШ. Понятие нейтрализации повлекло за собой разграничение вариаций и вариантов фонем, что явилось очень важным открытием, по которому и всю теорию МФШ называют "теорией вариантов и вариаций". В формулировке Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова, а также А.А. Реформатского, А.М. Сухотина и П.С. Кузнецова эта теория стала применяться для анализа и последовательного описания различных фонетических систем.

Еще И.А. Бодуэн де Куртенэ понимал грамматику широко – "как рассмотрение строя и состава языка (анализ языков)", относил к ней и фонологию. "Сообразно постепенному анализу языка, – говорил И.А. Бодуэн де Куртенэ, – можно разделить грамматику на три большие части: 1) фонологию (фонетику), или звукоучение, 2) словообразование в самом обширном смысле этого слова и 3) синтаксис" [Бодуэн де Куртенэ 1963: 63–64]. Н.С. Трубецкой считал фонологию также частью грамма-

тики, подчеркивая, что фонетика и фонология как учение о функциях звуковых противопоставлений представляют собой две отрасли одной и той же науки, которая должна исследовать функции противопоставления лингвистических значимостей, причем все отрасли этой науки применяют одинаковые методы исследования. Направление, в котором разрабатывает теорию звуков так называемая "фонологическая школа", предполагает аналогичный подход к остальным частям теории языка, предполагает новую, структурную теорию языка [Trubetzkoy 1937].

В своей книге "Очерк грамматики русского литературного языка" Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров объединили в разделе грамматики морфологию и синтаксис [Аванесов, Сидоров 1945]. Во введении к академической "Грамматике русского языка", также включавшей, кроме морфологии и синтаксиса (разделов грамматики), еще и фонетику, Л.В. Щерба и В.В. Виноградов писали: "Фонетика как учение о звуковой системе и звуковых изменениях языка связана как с лексикой (или лексикологией), так и с грамматикой... Поэтому фонетику можно было бы рассматривать как особую языковедческую дисциплину, смежную с грамматикой и лексикологией. Однако фонетика, изучающая звуковой строй языка, оказывается особенно тесно связанной с грамматикой и обычно рассматривается в ее составе в качестве особого раздела" [ГРЯ 1953: 14]. Другим видом практической деятельности, сыгравшей большую роль в выработке этой теории, была работа ученых в редакционной комиссии по русской орфографии. В 30-х годах выдвигались один за другим проекты усовершенствования русской орфографии. Орфографические решения, принятые в 1917 г., обладали одним общим недостатком: не обоснованные целостной лингвистической теорией, внутренне противоречивые, они страдали явной эклектичностью.

В это время была опубликована статья Р.И. Аванесова и В.Н. Сидорова "Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка" (1930), в которой были впервые изложены основные положения МФШ как по теории орфографии, так и по фонологии. Авторы впервые формулируют основной принцип русского письма: русская орфография фонематична. Авторы писали: "Фонологическое письмо отвечает социальной природе языка, потому что оно передает не звуки в отрыве от их значения, а фонемы. Поэтому фонологическое письмо в отличие от фонетического основано не на соответствии буквы и звука, а на соответствии буквы и фонемы" [Аванесов, Сидоров 1970а: 151].

Совершенствование орфографии и привнесение в нее большей последовательности связано с усилением фонематического принципа. Соавторы орфографической реформы утверждают, что "...проект о новом правописании ясно показывает его преобладающий морфологический (фонологический) характер. При дальнейшей разработке морфологический принцип должен быть проведен более последовательно, так как только этот принцип может быть положен в основу рациональной орфографии" [Аванесов, Сидоров 1970а: 156]. Исходя из этого принципа и делается ряд предложений. Вопрос о том, нужна ли и своевременна ли реформа орфографии, решают не только лингвисты, но общество в целом. Проблемы упорядочения русской орфографии привлекали В.Н. Сидорова и позже, в частности им написана в 1953 г. в соавторстве с И.С. Ильинской статья "Современное русское правописание" [Ильинская, Сидоров 1953]. Последние несколько лет своей жизни Владимир Николаевич Сидоров отдал наиболее любимой им дисциплине – исторической фонетике русского языка. Значительный интерес представляют такие его работы, как книга "Из истории звуков русского языка" [Сидоров 1966] и вышедшая посмертно "Из русской исторической фонетики" [Сидоров 1969]. Историческая проблематика получила освещение и в таких работах В.Н. Сидорова, как "Предисловие" к книге А. Вайана "Руководство по старославянскому языку" [Сидоров 19526], "Редуцированные гласные ъ и ѣ в древнерусском языке XI в." [Сидоров 1953], "О предударных гласных в говоре Москвы XVI в." [Сидоров 1965] и др.

Из воспоминаний С.Н. Боруновой: "В пору моего знакомства с В.Н. он работал над вопросами исторической фонетики. Интерес к истории языка, сохранившийся у В.Н.



на протяжении всей жизни, по его словам, определился уже в университете. Тогда курса современного русского языка еще не читали вообще, а преподавание истории языка имело глубокую традицию. Но лингвистом, как считал сам В.Н., он стал случайно: в юности он увлекался многим, увлекся как-то и палеографией. Это привело его в Московский университет на этнологический факультет (отделение языка и литературы), где он заинтересовался лекциями А.М. Селищева..." [Борунова 1996: 74].

Книга "Из истории звуков русского языка" [Сидоров 1966] получила признание и высокую оценку как у отечественных филологов, так и за рубежом. Содержание данного труда составляют следующие вопросы: редуцированные гласные *ъ* и *ь* в древнерусском языке XI в.; из истории сочетаний типа *\*tbrt* в русском языке (возникновение мягкости *r'* перед заднеязычными и твердыми губными согласными); умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье; об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах.

В первом очерке "Редуцированные гласные *ъ* и *ь* в древнерусском языке XI в." Владимир Николаевич Сидоров убедительно показал, что в XI в. *ъ/ь* еще отличались от *о/е*, падение редуцированных шло через стадию сосуществования систем: "полный стиль", где есть редуцированные, и "беглая речь", где редуцированные отсутствуют – путем генерализации второй системы. Следы падения редуцированных и их совпадения с *о/е* в памятниках письменности до XII в. – не обязательно "македонизмы", а черты второго стиля [Сидоров 1966: 66]. Здесь, как и во всей книге, В.Н. Сидоров отстаивает линию Соболевского – Васильева, линию доверия к памятникам письменности.

Во втором очерке "Из истории сочетаний типа *tbrt* в русском языке (возникновение мягкости *r'* перед заднеязычными и твердыми губными согласными)" В.Н. Сидоров нашел простое решение вопроса о мягкости *r'* перед заднеязычными и твердыми губными согласными. Он показал, что вообще в русском языке и его говорах позиция перед зубными является позицией неразличения для категории мягкости всех зубных (в том числе и *r*) в отличие от позиции перед заднеязычными и губными. Иными словами, отсутствие мягкости в словах типа *зерно* объясняется позднейшим отвердением, как, например, в словах типа *бедный* (< *\*b'ǣ'npъjь*); этот тип слов следует отличать от слов *вер'ба*, *цер'ковь*, *вер'х* (ср. также *редька*, *деньга*, *тьма* и т.п.). Тем самым убедительно доказана искомая последовательность смягчения *r* в прежних сочетаниях типа *tbrt* [Сидоров 1966: 4–48].

Во втором и третьем очерках – "Умеренное яканье в среднерусских говорах и севернорусское ёканье" и "Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах" – Владимир Николаевич Сидоров показывает, что среднерусское умеренное яканье произошло из ёканья севернорусских говоров, и рисует возможные пути развития иканья. Убедительность данной гипотезы подкрепляется тем, что гипотетически предсказываемые В.Н. Сидоровым разновидности умеренного яканья были обнаружены как реально существующие [Журавлев 1968]. Значение данной книги выходит далеко за пределы вышеупомянутых проблем: здесь решается ряд важнейших вопросов русской диалектологии и исторической фонетики – происхождение средневеликорусских говоров, относительная хронология перехода *e > 'o*, судьба *\*e*, *\*ь*, *\*ǣ* перед мягкими и твердыми согласными, судьба *\*e* перед двумя согласными, генезис второго полногласия, причины перехода *tbrt > tbrt*, передвижка границы слога в связи с падением редуцированных, различие ассимилятивных процессов у категории мягкости и звонкости и многое другое. По мнению В.Н. Журавлева, "каждый вопрос, каждое новое положение, выдвигаемое автором, обосновано и связано с другими вопросами, обсуждаемыми в книге, одно положение как бы само собой вытекает из другого, из всей книги в целом" [Журавлев 1968: 131]. Значение книги заключается в том, что В.Н. Сидорову удалось поставить в ней центральную проблему русской исторической фонетики. С позиции В.Н. Сидорова, это проблема перехода *e > 'o* перед твердыми согласными. Окончательно данная проблема в книге

не выясняется, но решение подготавливается рассмотрением поставленных здесь задач. Каковы же перспективы решения данной проблемы и почему именно эта проблема является действительно центральной в истории русского языка? В данной книге В.Н. Сидоров, вопреки мнению акад. А.А. Шахматова, развивает положение, согласно которому переход *e > 'o* представляется явлением не дописьменной, а более поздней эпохи, когда в результате падения слабых редуцированных появились закрытые слоги и нарушился принцип слогового сингармонизма. Следовательно, переход *e > 'o* – процесс, имевший место лишь после падения редуцированных гласных. Основанием для такого заключения служит предпосылка о последовательности осуществления принципа слогового сингармонизма в древнерусском языке (именно поэтому так важно было доказать последовательность смягчения *r* из прежних сочетаний типа *strrt*). Разрушение сингармонизма связано с падением редуцированных. Поэтому переход *e > 'o*, противоречащий принципу сингармонизма, и "следует относить ко времени после утраты редуцированных гласных" [Сидоров 1966: 4]. Вот почему для В.Н. Сидорова столь важно еще раз уточнить абсолютную хронологию процесса падения редуцированных, относительную хронологию процесса *e > 'o*, т.е. еще раз обсудить те явления, которые так или иначе связаны с этим процессом, а главное – еще раз проверить возможные связи данного процесса с яканьем и иканьем.

Таким образом, русский переход *e > 'o*, как и генезис умеренного яканья, являются лишь проявлением внутреннего процесса распада группового сингармонизма, группофонем, процесса формирования автономных по тембру согласных и гласных фонем (прежде всего – процесса формирования категории мягкости согласных в русском языке). Процесс перехода *e > 'o* и процесс падения редуцированных равноправны, это два проявления одной и той же более общей тенденции. "Поэтому совершенно прав В.Н. Сидоров, ставя процесс *e > 'o* во главу угла истории русского языка, ибо падение редуцированных – процесс общеславянский, процесс же *e > 'o* – собственно русский (даже в украинском языке специфика перехода *e > 'o* несколько иная, распространенность – меньшая; не случайно и категория мягкости согласных там имеет несколько иной характер – отверждение согласных перед гласными переднего ряда, совпадение \**i* и \**y*, отверждение губных перед задним гласным из прежнего переднего – *mjáso* и т.п.)" [Журавлев 1968: 133].

Принцип умеренного яканья состоит в том, что в первом предударном слоге после мягких согласных на месте гласных фонем неверхнего подъема перед твердыми согласными произносится [а], а перед мягкими – [и] ([и] произносится также и перед группой согласных, последний из которых является мягким – например, *n[ 'икл' ]и́*, в *v[ 'идр' ]é*, *z[ 'имл' ]я́*, *c[ 'истр' ]é* – это, по всей вероятности, может быть объяснено тем, что согласные, находящиеся перед мягким, являются хотя и не палатализованными, но полумягкими [Дурново 1903] или просто нейтральными (невсляризованными) [Сидоров 1966: 139].

Возникновение умеренного яканья в исторической фонетике принято объяснять наслоением недиссимильативного аканья-яканья на окающую модель владимиرو-поволжского типа. Эта концепция, предложенная Е. Будде [Будде 1896], получила развитие в работах В.Н. Сидорова [Сидоров 1951; 1966].

Как полагал Е. Будде, а вслед за ним и В.Н. Сидоров, современные диалекты с умеренным яканьем (по крайней мере, та их часть, которая расположена на границе с окающими владимиرو-поволжскими говорами) были изначально севернорусскими говорами с произношением [о] перед твердыми согласными и [е] перед мягкими на месте \**e* и \**ь*, так и \**ѣ* (т.е. *n[ 'ос' ]у́*, *v[ 'ол' ]а́* и в *л[ 'ос' ]у́*, *p[ 'ок' ]а́* при *n[ 'ес' ]и́*, *p[ 'ск' ]и́*). Под влиянием окающей модели, в которой безударное [о] отсутствует, в этих диалектах стали произносить [а] на месте любого [о], в том числе и после мягких согласных (а также [и] на месте [е]): т.е. *n[ 'ас' ]у́*, *v[ 'ал' ]а́* и в *л[ 'ас' ]у́*, *p[ 'ак' ]а́* при *n[ 'ис' ]и́*, *p[ 'ик' ]и́*. "В результате образовался говор, представляющий собой по существу окающий слепок, отлитый по окающей модели" [Сидоров 1966: 105]. Однако такая система еще не есть умеренное яканье, так как во владимиру-поволжских говорах этого

типа (в отличие от северо-восточных – костромских, вологодских, архангельских) на месте предударного /а/ произносится [а] как перед твердым, так и перед мягким согласным (*п[’а]так, п[’а]ти*), а в говорах с умеренным яканьем в словах типа *преди, пяти, в грязи, глядят* предударная /а/ реализуется звуком [и] ([п’ит’и]). Этот факт, как и разнообразные диссимилятивные модели, приходится объяснять аналогичным выравниванием: "В результате замещения предударного [е] (из старых *е* и *ѣ* гласною [и] эта последняя в положении между мягкими согласными получила огромное численное преобладание над относительно редкой здесь гласной [’а]. Это, по всей вероятности, и послужило причиной постепенного вытеснения редкого звука [’а] наиболее частым и привычным в данном положении звуком [и]. Иными словами, система современного умеренного яканья образовалась в результате обобщения гласной [и] между мягкими согласными, поскольку в говорах с первичным умеренным яканьем гласная [’а] произносилась в предударном слоге между мягкими согласными только в соответствии с этимологическим [’а], во всех же прочих случаях произносилось [и]" [Сидоров 1966: 108].

По мнению некоторых современных диалектологов, слабым местом предложенной интерпретации умеренного яканья как наслоения недиссимилятивного аканья-яканья на окающую модель именно владими́ро-поволжского типа является то, что говоры с последовательным произношением безударного [’о] на месте *ѣ* встречаются достаточно редко (по сравнению с умеренно якающими говорами), при этом реализация *ѣ* как [’о] в значительной степени лексикализована [Скобликова 1962], умеренное же яканье распространено на довольно широкой территории, включая говоры Московской и Тульской областей, не связанные с владими́ро-поволжскими говорами географически. И в восточной части территории распространения умеренно-якающих диалектов "говоры с различием гласных владими́рско-поволжского типа нигде (кроме небольшого пространства около Касимова) непосредственно не граничат с умеренным яканьем" [ОСНиСГ 1970: 342]. Кроме того, "современные процессы перехода от вокализма с различием гласных к вокализму с неразличием этих же гласных не ведут к формированию умеренного яканья... От вокализма с различием гласных владими́ро-поволжского типа обычно наблюдается переход к еканью и иканью" [ОСНиСГ 1970: 342].

Поэтому некоторыми диалектологами предполагается, что умеренное яканье является просто результатом действия в говоре с сильным аканьем-яканьем тенденции к зависимости качества предударного гласного (в том числе и реализаций /а/) от твердости/мягкости последующего согласного, а не наложением аканья на какую-то определенную модель окающего вокализма после мягких согласных (хотя в говорах, соседних с владими́ро-поволжскими, развитие умеренного яканья могло быть поддержано наличием сходной модели безударного вокализма после мягких согласных). Взгляды на возможность происхождения умеренного яканья вне связи с влиянием владими́ро-поволжской модели безударного вокализма изложены в такой работе, как, например, "Описание говора деревни Парфенок Рузского уезда Московской губернии" [Дурново 1918]. Считается, что такая интерпретация механизма возникновения умеренного яканья совершенно не противоречит общей идеологии гипотезы В.Н. Сидорова [Князев 2001].

Вторая книга "Из русской исторической фонетики" [Сидоров 1969], посвященная истории вокализма русского языка, была выполнена В.Н. Сидоровым в Секторе истории русского литературного языка Института русского языка АН СССР и утверждена к печати Ученым Советом Института в декабре 1967 г. Данный труд является естественным продолжением занятий Владимира Николаевича Сидорова в этой области. Рассматриваемые в ней вопросы касаются процессов, относящихся к русскому языку в целом.

Подготавливая книгу к печати, Владимир Николаевич Сидоров работал над ее рукописью буквально до последних дней жизни. Он не успел полностью ее закончить. Впрочем, как писали его современники, поставить точку Владимиру Николаевичу

Сидорову всегда было трудно. Разрешение одной задачи влекло его творческую энергию к разрешению других, еще более сложных задач, к проникновению в еще большие глубины изучаемого явления, и вопрос, который, казалось, был уже полностью исчерпан, получал подчас еще какое-то дополнительное освещение, какой-то новый поворот. Так было и когда он писал, и когда говорил, с присущей ему страстностью и безупречной логикой, выдвигая все новые и новые аргументы в пользу того или иного положения.

Первая работа в этой книге была издана в том виде, как она была подготовлена автором. Она начинается с возражения С.И. Коткова против гипотезы автора о происхождении умеренного яканья в средневековых говорах, начинается сразу, без всякого вступления и предварительного напоминания основных положений этой гипотезы. Для В.Н. Сидорова, страстного полемиста, не оставлявшего без внимания ни одного критического замечания, касавшегося его работ, такое начало характерно. Он должен был прежде всего ответить своему оппоненту, найти новые подтверждения своих положений или же отказаться от них. Повторять же самого себя, писать о том, что уже было им сказано, ему было неинтересно.

В книге рассматриваются важные проблемы исторической фонетики русского языка: изменение предударного *е* в *и* в акающих говорах; два пути образования умеренного яканья из ёканья; о некоторых случаях изменения предударного *е* в *и* в русских говорах; утрата фонемы *ѣ* южнорусским наречием; утрата фонемы *ѣ* владимирско-поволжскими говорами; к вопросу о языке протопопы Аввакума; волоколамское ёканье по грамотам XV–XVIII вв.; о времени перехода города Москвы к аканью; ёканье в южнорусском наречии XVII в.; об одном случае позиционно обусловленного изменения гласных в севернорусских говорах.

Данные о времени перехода от ёканья к иканью в литературном произношении (на стыке XIX–XX вв.) Владимир Николаевич Сидоров получил от Д.Н. Ушакова: Ф.Ф. Фортунатов и Ф.Е. Корш еще екали, а их ученики – Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов – уже икали, и Ф.Е. Корш шутливо дразнил их питухами (имелись в виду не только икальцы, но и выпивохи) [Сидоров 1969]. Существующие объяснения причин перехода к иканью В.Н. Сидорова не удовлетворяли. К неубедительным предположениям он относил представление о том, что сканье сменилось иканьем в результате усилившейся в XIX в. редукции гласных, поскольку *е* и *и* – гласные полного образования и *и* не может быть результатом редукции *е* [Борунова 2000].

Владимир Николаевич Сидоров живо интересовался историей формирования московского говора, на основе которого сложилось русское литературное произношение. По многим лингвистическим вопросам он имел свое мнение, сложившееся в результате собственных наблюдений и размышлений, нередко не совпадавшее с утвердившимися в науке положениями. Так, В.Н. Сидоров не разделял предположения А.А. Шахматова о том, что в Москве XIV–XV вв. социальное расслоение населения было связано с расслоением диалектным (одни окали, другие акали): высшие классы употребляли севернорусское наречие, а низшие классы – восточнорусское. Р.И. Аванесов упоминал еще и о культурном неравенстве между окальщиками и акальщиками. Владимир Николаевич Сидоров считал, что "культурного и социально-экономического превосходства окальщиков над акальщиками не было", и сомневался, что так вообще бывает [Борунова 1996].

В.А. Богородицкий полагал, что помимо политических причин, обусловивших определяющую роль московского говора в истории русского литературного языка, существует и собственно языковая: умеренное по своим фонетическим особенностям московское наречие представляет собой средний звуковой тип между русскими диалектами.

С позиции В.Н. Сидорова, роль Москвы в формировании литературного произношения определялась исключительно внеязыковыми причинами: "средний звуковой тип" московского говора продиктован исторически сложившимися условиями и географическим положением Москвы. До XVI в. говор Москвы представлял собой ти-

пичный северный говор, в котором не отмечалось признаков южного варианта произношения (прежде всего аканья и др.). Преобразование этого северного говора произошло в течение относительно короткого периода на стыке XVI–XVII вв. В результате внутренней политики Ивана Грозного окающее население Москвы и близлежащих территорий значительно сократилось. Позже в данную местность стали интенсивно приезжать представители акающего произношения. Их количество по сравнению с предшествующими эпохами значительно возросло. Данный факт и определил последующее закрепление и развитие в Москве умеренного аканья, так как принцип аканья проще принципа оканья: не различать в произношении *о* и *а* (*вода* – *трава*) проще, чем различать. Казалось бы, возможно только одно направление эволюции фонетической системы – от оканья к аканью. Но если бы Москва, будучи столицей, находилась не на границе с акающими говорами, а в сплошном окружении северных говоров, то вполне допустимо, что литературным считалось бы окающее произношение, чоканье или цоканье, а аканье, в свою очередь, диалектным.

С.Н. Борунова пишет: «Отводя Москве, а не Петербургу определяющую роль в формировании литературного произношения, Владимир Николаевич ссылаясь на то, что старомосковское произношение опиралось на живую речь "московских прозвирен", в то время как Петербург не имел никакой диалектной основы. Если в Петербург Штольцы и Адуевы съезжались отовсюду, то московская интеллигенция в большинстве своем состояла из коренных москвичей: Грановский, Огарев, Станкевич, Ключевский выросли в Москве и прожили всю жизнь рядом с Московским университетом. В отличие от Москвы Петербург, имея пестрое по составу население, не мог задавать тон в образовании литературного произношения. Для выработки единой орфоэпии он должен был сам искать опору вне своей языковой среды и находил ее в произношении второй столицы – Москвы, а также в ориентации на книжную речь» [Борунова 1996: 75].

Существующие объяснения причин распространения иканья в Москве Владимира Николаевича Сидорова не удовлетворяли. Так, Л.В. Щерба считал, что после усиления роли Москвы "икальцы" стали стекаться к ней в большом количестве, а *е* литературного языка начинает подвергаться большой опасности. Владимир Николаевич не был согласен с точкой зрения Л.В. Щербы и утверждал, что процесс перехода еканья в иканье начался именно в Москве и узкой полосе среднерусских говоров вокруг Москвы, поэтому икальцам неоткуда было стекаться в большом количестве.

С работами по исторической фонетике и фонологии тесно связаны исследования В.Н. Сидорова в области современных русских говоров, относящихся к разным диалектным группам [Сидоров 1927; 1949; 1951б; 1952а; Аванесов, Сидоров 1931]. В.Н. Сидорова также интересовали вопросы морфологии (см., например [Аванесов, Сидоров 1945; Сидоров 1951а]), к решению которых он подходил с позиций Московской лингвистической школы (учение о форме слова и теория грамматических классов слов). Рассматривая язык как единое целое в "Очерке грамматики русского литературного языка" (раздел "Морфология") [Аванесов, Сидоров 1945] при описании частей речи и их классификации, В.Н. Сидоров широко использовал метод противопоставлений. Так, пять самостоятельных частей речи (имена существительное, прилагательное, числительное; наречие и глагол), будучи противопоставлены друг другу по значениям и формам, образуют систему, которой определяются основные черты морфологии русского языка.

Владимир Николаевич Сидоров впервые в отечественной русистике применил метод оппозиционного анализа, получивший в 30-е годы достаточно широкое распространение. Анализируя значения форм числа существительного, а также значения глаголов совершенного и несовершенного видов, автор отмечал особенности существующих между ними отношений противопоставления, известных под названием привативных оппозиций. Например, формы множественного числа существительных содержат указание на то, что предметы взяты в некотором количестве, в формах же единственного числа указание на какое-либо количество отсутствует. При противопо-

ставлении глаголов совершенного и несовершенного видов обнаруживается, что первые выражают называемый ими процесс как законченный, а вторые – без указания на его законченность.

В "Очерке" впервые дается детальная классификация непродуктивных глаголов, обладающих таким соотношением основ настоящего и прошедшего времени, которое не является моделью для образования новых глаголов. Данная классификация – результат исследования о глаголах непродуктивных классов в современном русском литературном языке (это исследование стало предметом кандидатской диссертации, защищенной В.Н. Сидоровым в 1944 г.).

Владимира Николаевича Сидорова интересовали проблемы словообразования как сами по себе, так и в их отношении к грамматике и лексике. Он считал, во-первых, что задача любой научной дисциплины (в данном случае словообразования) состоит в определении и отграничении области своего изучения, во-вторых, в необходимости отделять синхронию от диахронии.

Вопросы синтаксиса, лексикологии, стилистики и лексикографии не были в центре научных интересов Владимира Николаевича Сидорова, но они живо его интересовали. В 1949 г. им была опубликована совместно с И.С. Ильинской статья "К вопросу о выражении субъекта и объекта действия в современном русском литературном языке" [Ильинская, Сидоров 1949]; он участвовал в работе грамматистов-синтаксистов в Институте русского языка на первых этапах создания академической грамматики (1952). Владимир Николаевич Сидоров считал, что проблема правильности в языке всецело связана с его коммуникативной функцией. Он исходил из положения, что "стилистическое средство обязательно для всех говорящих" ("в языке все обязательно, а в речи произвольно"), и понимал стиль как категорию исторически обусловленную. Поэтому он соглашался с утверждением М.В. Панова о том, что эканье, ослабление ассимилятивного смягчения согласных, произношение безударных гласных без качественной редукции – недостаточно выразительные приметы высокого стиля, т.к. есть носители литературного языка, пользующиеся этими вариантами нормы в нейтральной речи. Но основная причина стилистической невыразительности указанных фонетических черт, по мнению Владимира Николаевича Сидорова, в том, что их историческая судьба не благоприятствовала их возвышению. Не было исторических причин для того, чтобы эти фонетические черты стали "высокими".

В сферу интересов В.Н. Сидорова входило также исследование роли славянизмов в современном русском языке. По его мнению, ограниченное употребление данного пласта лексики во второй половине XX в. никоим образом нельзя считать положительным явлением языкового развития. В это время в торжественных ситуациях преимущественно используются метафоры и гиперболы вместо таких собственно языковых стилистических средств, как славянизмы. Попытку символистов в первой половине XX в. вновь ввести в употребление данное стилистическое средство русского языка В.Н. Сидоров оценивал положительно.

Возглавив в 1950 г. группу, занимавшуюся составлением "Словаря языка Пушкина", Владимир Николаевич Сидоров принял активнейшее участие в подготовке и издании одного из лучших в России лексикографических трудов – "Словаря языка Пушкина", т. 1. А–Ж, т. 2. З–Н, т. 3. О–Р. Кроме авторской работы в составе коллектива лексикографов, В.Н. Сидоров провел также научное редактирование 2–3 томов словаря. В начальный же период работы над этой темой В.Н. Сидоров совместно с Г.О. Винокуром, А.Д. Григорьевой и И.С. Ильинской участвовал в подготовке "Проекта словаря языка Пушкина".

В этой работе проявилась характерная черта Владимира Николаевича Сидорова – стремление к обобщению рассматриваемых фактов, поиски определенных закономерностей в развитии значений отдельных слов, стремление обосновать лексикологический анализ исходя из системы самого языка, из функционирования его лексических категорий.

По инициативе В.Н. Сидорова была проведена большая работа по составлению дополнительного тома Словаря, охватывающего текст черновых рукописей и вариантов произведений Пушкина. Этот том, завершающий лексикографическую работу над языком произведений Пушкина, вышел в свет в 1982 г. под названием "Новые материалы к словарю А.С. Пушкина".

Жизнь В.Н. Сидорова была полна трудностей различного рода. В 1934 г. он был арестован и проходил по делу Дурново ("дело славистов-евразийцев"). В 1927 г. Н.Н. Дурново был арестован и осужден за связь с Н.С. Трубецким и Р.О. Якобсоном. Н.Н. Дурново погиб на Соловках. Осудили и всех, кто с ним общался. Владимиру Николаевичу Сидорову предъявили нелепые обвинения в участии и организации "филологического правительства". Владимир Николаевич Сидоров испытал всю тяжесть тюрьмы, лагеря и ссылки, но не сломался. По воспоминаниям С.Н. Боруновой: "Он выстоял и в период, говоря словами А.А. Реформатского, злого Марровского лихолетья. В Институте русского языка АН СССР, где В.Н. работал с 1944 г., не сдались только трое: П.С. Кузнецов, М.Н. Петерсон и В.Н. Их научную карьеру спасла дискуссия 1950 г. ..." [Борунова 2000: 332].

По воспоминаниям его учеников, у Владимира Николаевича Сидорова был трезвый критический ум. Это позволяло ему видеть недостатки в работах очень авторитетных ученых (А.А. Шахматова, В.А. Богородицкого, С.П. Обнорского, Л.В. Щербы, П.С. Кузнецова, Р.И. Аванесова) и иметь свою оригинальную точку зрения по разным лингвистическим вопросам, в частности, о формировании литературного произношения, о причинах и времени распространения аканья в московском говоре и т. д. И в учениках Владимир Николаевич Сидоров воспитывал критическое отношение к языковым явлениям и их лингвистической интерпретации [Борунова 1996; 2000].

В общении с коллегами Владимир Николаевич Сидоров никогда не принимал позы учителя, ментора. При возможной суровости критика и горячности полемиста он всегда был удивительно доброжелателен и щедр. Мгновенно улавливая ход рассуждений своего собеседника, он тут же замечал слабые места выдвигаемых им положений, подсказывал путь дальнейшей работы, а иногда даже и возможное решение вопроса, не жалея при этом ни собственных наблюдений, ни своего материала. Творческая активность и удивительное бескорыстие, непримиримость ученого и доброжелательность человека – все это отличало Владимира Николаевича Сидорова и привлекало к нему людей разных возрастов и служебных положений [Плотникова 1983].

В заключение следует еще раз перечислить основные капитальные работы В.Н. Сидорова: "Говоры Верхнего Поветлужья. Фонетика и диалектные группы" [Аванесов, Сидоров 1931]; "Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. Фонетика и морфология" [Аванесов, Сидоров 1945]; "Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка" [Аванесов, Сидоров 1970а]; "Система фонем русского языка" [Аванесов, Сидоров 1970б]; "Из истории звуков русского языка" [Сидоров 1966]; "Из русской исторической фонетики" [Сидоров 1969]. Владимир Николаевич Сидоров оставил неизгладимый след в области диалектологии и истории русского языка, в частности, значительный интерес представляют его работы по исторической фонетике. Он был награжден медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов, Сидоров 1931 – Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров. Говоры Верхнего Поветлужья. Фонетика и диалектные группы. Нижний Новгород, 1931.
- Аванесов, Сидоров 1945 – Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1945.
- Аванесов, Сидоров 1970а – Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров. Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка // А.А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1970.

- Аванссов, Сидоров 1970б – *Р И Аванссов, В Н Сидоров Система фонем русского языка // А А Реформатский Из истории отечественной фонологии Очерк Хрестоматия М, 1970*
- Бодуэн де Куртене 1963 – *И А Бодуэн де Куртене Некоторые общие замечания о языковедении и языке // И А Бодуэн де Куртене Избр Труды по общему языкознанию Т 1 М, 1963*
- Борунова 1996 – *С Н Борунова Воспоминания об учителе – В Н Сидорове // ИАН СЛЯ 1996 № 2*
- Борунова 2000 – *С Н Борунова Владимир Николаевич Сидоров // Фортунатовский сборник Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Московской лингвистической школы 1897–1997 гг М, 2000*
- Будде 1896 – *Е Будде К истории великорусских говоров Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии Казань, 1896*
- ГРЯ 1953 – *Грамматика русского языка Т 1 Фонетика и морфология М, 1953*
- Дурново 1903 – *Н Н Дурново Описание говора деревни Парфенок Рязского уезда Московской губернии Варшава, 1903*
- Дурново 1918 – *Н Н Дурново Диалектологические разыскания в области великорусских говоров Часть 1 Южновеликорусское наречие Вып 2 М, 1918*
- Журавлев 1968 – *В К Журавлев В Н Сидоров Из истории звуков русского языка // ВЯ 1968 № 1*
- Ильинская, Сидоров 1949 – *И С Ильинская, В Н Сидоров К вопросу о выражении субъекта и объекта действия в современном русском литературном языке // ИЮЛЯ 1949 Вып 4*
- Ильинская, Сидоров 1953 – *И С Ильинская, В Н Сидоров Современное русское правописание // Ученые зап Моск гор Пед ин-та им В П Потемкина Т XXII Вып 2 М, 1953*
- Князев 2001 – *С В Князев К истории формирования некоторых типов аканья и яканья в русском языке // Вопросы русского языкознания Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах М, 2001*
- ОСНиСТ 1970 – *Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии) М, 1970*
- Плотникова 1983 – *В А Плотникова Владимир Николаевич Сидоров // Русская речь 1983 № 6*
- Потанов 2003а – *В В Потанов Научный вклад В Н Сидорова в русистику // Вестник Московского университета Сер 9 Филология 2003 № 1*
- Потанов 2003б – *В В Потанов В Н Сидоров // Отечественные лингвисты XX века Ч 2 М, 2003*
- Сидоров 1927 – *В Н Сидоров Описание говора западной половины Воскресенского уезда и Ореховской волости Можайского уезда Московской губернии // Труды ПКДРЯ Вып 9 Л, 1927*
- Сидоров 1949 – *В Н Сидоров Наблюдения над языком одного из говоров рязанской Мещеры // Материалы и исследования по русской диалектологии Т 1 М, 1949*
- Сидоров 1951а – *В Н Сидоров Непродуктивные классы глагола в современном русском литературном языке // Русский язык в школе 1951 № 5*
- Сидоров 1951б – *В Н Сидоров О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах // ИАН ОЛЯ Т 10 Вып 2 М, 1951*
- Сидоров 1952а – *В Н Сидоров Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР Вып 2 1952*
- Сидоров 1952б – *В Н Сидоров Предисловие к кн А Вайан Руководство по старославянскому языку М, 1952*
- Сидоров 1953 – *В Н Сидоров Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в // Труды Института языкознания АН СССР Т 2 М, 1953*
- Сидоров 1965 – *В Н Сидоров О предударных гласных в говоре Москвы XVI в // ПСФ М, 1965*
- Сидоров 1966 – *В Н Сидоров Из истории звуков русского языка М, 1966*
- Сидоров 1969 – *В Н Сидоров Из русской исторической фонетики М, 1969*
- Скоблякова 1962 – *Е С Скоблякова О судьбе этимологического ъ в первом предударном слоге перед твердым согласным в говорах владимирско-поволжской группы // Материалы и исследования по русской диалектологии Новая серия Т III М, 1962*
- Trubetzkoy 1937 – *N Trubetzkoy Uber eine neue Kritik des Phonembegriffes // Archiv fur vergleichende Phonetik 1937 Bd I Hf 3*



**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**РЕЦЕНЗИИ**

**Compendium grammaticae Russicae (1731), Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / Hrsg. von H. Keipert in Verbindung mit A. Huterer. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C.H. Beck München, 2002. 219 S. (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge. Hft. 121.)**

Рецензируемая книга представляет собой издание важнейшего памятника в истории русской грамматической традиции – первого опыта академической грамматики русского языка, предшествовавшего "Anfangs-Grunde der Russischen Sprache" – краткому описанию русского языка, изданному в 1731 г. в приложении к Вейсманнову лексикону [Anfangs-Grunde 1731]. Этот памятник был обнаружен в архиве Академии наук профессором Гельмутом Кайпертом, который теперь и издал его, проделав огромную работу чтения и комментирования открытой им рукописи. Издание текста предваряет обширная монография, в которой не только раскрывается значение публикуемой грамматики в истории академической русистики, но и дается наиболее полное и документированное описание начального этапа изучения и кодификации русского языка в основанной Петром Великим Академии наук. Следует иметь в виду, что с конца 1720-х годов именно в Академии наук сосредоточивается вся работа по формированию нового русского языкового стандарта и созданию пособий для его преподавания и именно эта традиция находит свое наиболее полное осуществление в "Российской грамматике" М.В. Ломоносова, которая называется в этой перспективе не творением *ex nihilo*, а преобразованием сложившейся академической традиции.

В предваряющей публикацию монографии издаваемый памятник получает полное и систематическое описание. В начале (§ 1, с. 9–11) дается описание обнаруженной рукописи, числящейся под шифром F 250 в Отделе ру-

кописей Библиотеки РАН. Рукопись представляет собой фрагмент грамматики, озаглавленной "III Compendium Grammaticae Russicae oder Kurtze Einleitung zu der Russischen Sprache Denen Ausländern zum Besten ausgegeben". Грамматика, которая должна была содержать четыре традиционные части (орфография, этимология, синтаксис, просодия), как и обозначено на л. 1 рукописи, обрывается на с. 64 второй части, после этой страницы должно было следовать описание словоизменения прилагательных. В дошедшем до нас виде рукопись, таким образом, содержит две части (с отдельной пагинацией): полное описание орфографии (фонетики – с. 1–50 рукописи, с. 137–168 издания) и не полное описание этимологии (морфологии – с. 1–64 рукописи, с. 169–200 издания), включающее разделы "Об этимологии вообще", "Об имени, местоимении и причастии", "Об имени" и "О склонениях".

Во втором параграфе монографии (с. 11–14) Г. Кайперт пишет о датировке и локализации рукописи. Анализ ряда приводимых в грамматике лингвистических примеров однозначно указывает, что рукопись была написана в 1731 г., а несомненная зависимость от "Компендиума" краткого грамматического очерка, напечатанного в приложении к Вейсманнову лексикону, свидетельствует о том, что "Компендиум" был завершен как самое позднее в первой половине 1731 г. Можно полагать, что "Anfangs-Grunde" возникают как сокращенный и переработанный вариант "Компендиума", а что содержащиеся в предисловии к Вейсманнову лек-

сикону слова о том, что в приложении к нему дается "kleine Anleitung zur Erlernung der Rußischen Sprache", которым "Читатель дотеле пользоваться может, донележе совершеннейшее, которое уже подлинно делается, издано будет", указывают именно на "Компендиум" как на основу готовящейся более пространной грамматики русского языка<sup>1</sup>.

Рукопись "Компендиума", обнаруженная Кайпертом, представляет собой рабочий экземпляр готовившейся в Академии наук грамматики. Она написана разными почерками и содержит различные замечания, поправки и указания, написанные почерками, отличными от почерков основного текста. Третий параграф монографии (с. 14–22) посвящен определению принадлежности всех этих почерков и установлению роли участников академического проекта. Не все почерки поддаются однозначной идентификации, однако полученные в результате идентификации почерков данные позволяют понять, как реализовался проект. Во-первых, устанавливается основной автор грамматики, которому принадлежит почерк второй части. Это Мартин Шванвиц (? –1740), преподаватель Академической гимназии, один из академических переводчиков и автор изданной в Петербурге в 1730 г. "Немецкой грамматики" ("Немецкая грамматика из разных авторов собрана и российской юности в пользу изда-

на от учителя немецкого языка при Санктпетербургской гимназии").

Составление русской грамматики не было, однако, единоличным предприятием Шванвица, он действовал, видимо, по указанию и под контролем академического начальства. Почерк ряда начальствующих указаний отождествляется как принадлежащий Филиппу Гмелину, секретарю тогдашнего президента Академии Лаврентия Блюментраста, которому, по справедливому заключению Кайперта, и принадлежат распоряжения, записанные его секретарем. Несколько глосс записаны В.Е. Адодуровым; он выступает как "russischsprachige Konsultant"; немногочисленность его помет наводит Кайперта на мысль, что он с самого начала принимал в грамматическом проекте активное участие, так что сделанные им поправки отражают лишь результаты последнего просмотра. Существенную роль в разработке грамматического проекта сыграл "красный глоссатор" (замечания которого написаны красными чернилами). По своему содержанию и общей концепции они ближайшим образом напоминают лингвистические труды И.В. Пауса, в 1729 г. представившего в Академию свою "славяно-русскую" грамматику ("Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache"). Почерк "красного глоссатора" решительно отличается, однако, от хорошо известного почерка Пауса, и Кайперт высказывает предположение, что он принадлежит И.Д. Шумахеру, использовавшему для своих замечаний грамматику Пауса. Таким образом, анализ почерков подводит к выводу, что над "Компендиумом" работала целая группа сотрудников Академии под наблюдением академического начальства.

В следующем параграфе монографии (§ 4, с. 22–30) даются сведения о выявленных участниках академического проекта (Блюментрасте, Шванвице, Адодурове, Шумахере), анализируется их деятельность и другие их филологические занятия. Здесь же говорится и о тех потенциальных участниках проекта (прежде всего академических переводчиках), которых пока что не удалось идентифицировать.

Пятый параграф монографии (с. 30–41) посвящен источникам "Компендиума". В качестве основных источников Кайперт выделяет два уже упоминавшиеся выше сочинения: "Немецкую грамматику" Шванвица 1730 г. и "Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache" Пауса. Поскольку Шванвиц был (основным) автором "Компендиума", он естественным образом пользовался своим предшествующим трудом, заимствуя из него

<sup>1</sup> Мне представляется не вполне содержательным спор о том, относятся ли слова о "совершеннейшей" более пространной грамматике к "Компендиуму", как полагает Кайперт, или к той грамматике, которую, согласно гипотезе Б.А. Успенского [Успенский 1975; 1997, III: 530–531], в 1738–1740 гг. создает В.А. Адодуров. Ясно, что в 1731 г. не могла идти речь о тексте, который появился почти десятилетие спустя; и не менее очевидно, что "Компендиум", в том виде, как он дошел до нас, не есть эта "совершеннейшая" грамматика в законченном виде, но лишь ее начальный вариант, который позволил автору предисловия говорить о том, что полная грамматика "уже подлинно делается" и обещать ее публикацию. До какой степени грамматика 1738–1740 гг. была запоздалым исполнением этого обещания, можно дискутировать, равно как и вопрос о том, как обстояло дело с ее авторством. В любом случае, однако, имелся в виду коллективный академический проект, начало которому было положено "Компендиумом".

и схему расположения материала, и определения используемых грамматических категорий, и – не в последнюю очередь – формы языка-объекта (русского), зафиксированные в русской (переводной) части "Немецкой грамматики". На систематику описания оказала также влияние использовавшаяся в академическом преподавании латинская грамматика, так называемая "Grammatica Marchica", и именно из нее, по предположению Кайперта, был усвоен принцип двойного – полного и сокращенного – изложения материала: "Компендиум", по требованию Блюментроста, подлежал сокращению (именно в результате его сокращения и переработки появляется "Anfangs-Gründe" в приложении к Вейсманнову лексикону), а в доработанном виде он же должен был составить обещанную в предисловии к Вейсманнову лексикону пространную грамматику.

Русский языковой материал, кодифицируемый в "Компендиуме", берется в основном в готовом виде, и источником для него служит "славяно-русская" грамматика Пауса, представленная им в Академию наук в 1729 г. и несомненно находившаяся в распоряжении участников академического проекта (от белой рукописи грамматики Пауса до нас дошел лишь небольшой фрагмент, однако черновая рукопись сохранилась полностью, и именно ею в основном пользуется Кайперт для сопоставлений с "Компендиумом"). Хотя языковая концепция "Компендиума" отличается от концепции Пауса (возможно, не в меньшей степени, чем концепция "Anfangs-Gründe", которую можно считать полемической противоположенной идеей Пауса – см. [Живов, Кайперт 1996]), однако заимствованию примеров и заимствованию их интерпретации это не мешает, так что, как отмечает Кайперт, по современным стандартам использование грамматики Пауса в "Компендиуме" могло бы расцениваться как плагиат.

В монографии обсуждаются и другие источники, нашедшие окказиональное отражение в "Компендиуме". Сюда относятся грамматика Лудольфа, из которой взято несколько примеров. Столь же эпизодично и прямое использование церковнославянских грамматик; в основном схемы и примеры "Компендиума", находящие соответствие у Смотрицкого или Максимова, попадают в него не непосредственно из этих источников, но за немногими исключениями через посредство грамматики Пауса. Лексический материал "Компендиума" указывает на то, что при его составлении использовались "Санктпетер-

бургские ведомости", издававшаяся при Академии наук газета, переводные статьи которой готовились академическими переводчиками.

Следующий параграф монографии (§ 6, с. 41–75) представляет собой детальный комментарий к первому разделу "Компендиума", посвященному орфографии. Сам по себе этот раздел состоит из определения орфографии, взятого из "Немецкой грамматики", русского алфавита с указанием фонетического значения букв через их немецкие, польские и французские соответствия, описания в алфавитном порядке десяти гласных, затем "дифтонгов" (с замечанием о "трифтонгах"), описания в алфавитном порядке согласных, особой заметки о буквах *ъ* и *ь*, перечисления сочетаний согласных и двойных согласных и, в завершении, в соответствии со структурой "Немецкой грамматики", четырех замечаний ("Anmerkungen"): об орфографии вообще (о близких по звучанию буквах и способах, как избежать их смешения, о правописании заимствований, о прописных буквах, о числовом значении букв и т. д.), об орфографии в частности (по существу о минимальных или почти минимальных парах, т. е. формах, различающихся лишь близкими по звучанию буквами и/или ударением), о знаках препинания ("distinctionibus") и о сокращениях ("von den Abbreviaturen").

Издатель "Компендиума", следуя пункту за пунктом за своим источником, сообщает в каждом случае, как трактовка Шванвица соотносится с грамматикой Пауса и другими использовавшимися сочинениями; указываются заимствованные примеры и определения и отмечаются отдельные расхождения с прежними трактовками, которые в ряде случаев удается связать с особенностями лингвистических установок Шванвица. Например, говоря о буквах *φ* и *ϕ*, Шванвиц заимствует ряд примеров у Пауса (*философъ* и *фундаментъ*), однако отказывается от указания на то, что *φ* употребляется в греч. словах в соответствии с *ph*, а в латинизмах в соответствии с *f*; греческие соответствия требуются, согласно формулируемому Шванвицем правилу, только для буквы *ϕ*, при этом Шванвиц игнорирует попытки Пауса приписать *φ*те особое произношение, практикуемое среди "meisten Gelehrten", и рассматривает употребление данной буквы как вопрос чисто орфографический. Здесь, надо думать, сказывается отрицательное отношение Шванвица к церковнославянской филологической традиции, учитываемой Паусом, и именно этим скорее всего объясняется, что в качестве примера на *φ*иту приводится – в про-

творечии с сформулированным им же правилом – слово явно негреческого происхождения *кастаня*. Кайперт справедливо видит здесь скрытую полемику с Паузом, критиковавшим написания "ѣѣтъ anstatt фѣѣтъ", и это позволяет связать данное расхождение с более поздней полемикой об употреблении фить<sup>2</sup>.

Следует отметить вообще, что автор последовательно указывает (в примечаниях к основному тексту монографии), как в каждом из разбираемых пунктов обстояло дело с последующей грамматической разработкой комментируемых явлений: в "Anfangs-Gründe" 1731 г., в грамматике 1738–1740 гг. (в орфографическом трактате Адоурова, обнаруженном и опубликованном Б.А. Успенским) и, наконец, в грамматике Гренинга 1750 г. Эти заметки дают возможность увидеть, какое место занимает "Компендиум" в русской грамматической традиции. В частности, в орфографическом разделе очевидна ближайшая зависимость от "Компендиума" "Anfangs-Gründe": это почти тот же самый текст лишь с рядом довольно значительных сокращений и заменой отдельных примеров. Замечателен вместе с тем тот факт, что ряд пунктов "Компендиума", опущенных в "Anfangs-Gründe", вновь появляется затем в грамматике 1738–1740 гг. и в грамматике Гренинга (например, параграфы, тракту-

ющие двойные согласные или чередование согласных). Это показывает, что в рамках академического проекта "Компендиум" оставался "в работе" и после выхода "Anfangs-Gründe" и в силу этого представляет собой важнейшее звено в развитии академической грамматической традиции.

Это значение "Компендиума" уясняется с еще большей ясностью при обращении к второй морфологической части данного сочинения, комментариев к которой содержится в седьмом параграфе рецензируемой монографии (с. 75–118). В морфологической части особенно заметен коллективный характер работы над "Компендиумом", поскольку здесь замечания "красного глоссатора" появляются не как окказиональные поправки, а как поиски более адекватной трактовки русского грамматического материала. В ходе работы над "Компендиумом" возникают грамматические решения, оказавшие существенное влияние на всю последующую русскую грамматическую традицию. Г. Кайперт тщательнейшим образом прослеживает этот процесс складывания кодификационных принципов, рассматривая источники грамматических схем и примеров, возникающие при этом противоречия и поиски их преодоления. В ряде случаев мы получаем в результате совершенно новую картину движения грамматической мысли.

Что касается источников морфологической части, они остаются теми же, что и для части орфографической. Основные определения берутся из "Немецкой грамматики" 1730 г., и из переводной части этой же грамматики идут отдельные схемы описания и примеры, однако не меньшее значение имеет и "Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache" Пауса, причем не только в силу того, что эту грамматику без всякого стеснения использует Шванвиц, но и благодаря тому, что она служит основным руководством для "красного глоссатора". Эти источники нередко вступают в конфликт друг с другом, раскрывая вследствие этого неоднозначность существующих трактовок и становясь стимулом для поисков адекватных описательных приемов. Такое диалогическое взаимодействие источников можно видеть, например, в трактовке рода (с. 79–84), в которой совмещаются формальные (по окончаниям) и семантические критерии определения рода и выделяется разный набор родов, причем эклектичная систематика Шванвица вызывает критику "красного глоссатора". Именно как результат этих споров может рассматриваться выделение трех родов в грамматике Гренинга (о трактовке ро-

<sup>2</sup> Единичные обращения к церковнославянской грамматической традиции можно проиллюстрировать упоминанием буквы Г ("гамма"), которая, согласно "Компендиуму", должна употребляться в иностранных словах в соответствии с /g/ (поскольку для г, "глаголя", нормативным остается фрикативное произношение). Паус об этом различии ничего не говорит, и, следовательно, Шванвиц основывается в данном пункте непосредственно на церковнославянских грамматиках.

Принимая тезис Кайперта, согласно которому обращение к церковнославянской грамматической традиции было в "Компендиуме" преимущественно опосредованным, следует все же иметь в виду, что в морфологической части составитель "Компендиума" отказывается от предложенного Паузом распределения имен по склонениям (при котором в отдельное склонение, как и у Ломоносова, выделялись существительные ср. рода на -мя) и возвращается к систематике Смотрицкого (см. об этом с. 93 рецензируемой монографии), может быть, впрочем, не без посредства Лудольфа.

да в русской грамматической традиции см. особо [Кайперт 1992]<sup>3</sup>).

Плодотворность тех споров, которые велись при разработке "Компендиума", хорошо видна, например, в решении вопроса о степенях сравнения (разбор этих споров см. на с. 89–92). Шванвиц стремится описать степени сравнения по той модели, которая известна ему из других европейских языков (немецкого, латыни или греческого). Эта модель предполагает существование изменяемой по родам и числам формы сравнительной степени, и в качестве таковой Шванвиц кодифицирует форму на *-ѣишій / -айишій* (допуская вместе с тем краткие предикативные формы типа *чище*). Такое построение степеней сравнения присутствует уже в "Немецкой грамматике" 1730 г., в которой в соответствии с нем. *schöner / schönerer / schönster* дается *изряднии / изряднѣишій / всѣхъ преизряднѣишій*. Шванвиц следует здесь за Паусом, который в свой черед воспроизводит Смотрицкого, хотя в качестве компаратива Шванвиц дает форму, которую Паус и Смотрицкий рассматривают обычно как превосходную степень; форма компаратива типа *славнишій, близишій*, кодифицируемая Паусом, отвергается Шванвицем, видимо, как специфически книжная (церковнославянская). "Красный глоссатор" возражает против такого решения. Он полагает, что русские прилагательные, в отличие от церковнославянских, "haben gar keinen *Comparativum*, wohl aber 3 und mehr unterschiedene *Superlativos*. Anstatt des *Comparativi* bedienen sich die Rußen des *adverbij in gradu*

<sup>3</sup> Отмечу еще интересное наблюдение Кайперта об окончаниях прилагательных во мн. числе, которые в русской филологии XVIII в. были, как известно, предметом ожесточенных споров. В "Компендиуме" различия прилагательных по роду фиксируются в ед. числе (*добрыи, добрая, доброе*), тогда как для мн. числа дается единая форма *добрые*. В "Компендиуме" такая кодификация оказывается механическим результатом переворачивания материала "Немецкой грамматики", в которой приведенные формы даются в качестве эквивалента нем. *guter, gute, gutes* vs. *gute*. Неслучайно, видимо, это кодификационное решение (отличающееся от того, которое предлагает Паус) совпадает с тем узусом, который был принят академическими переводчиками в "Примечаниях к ведомостям", а отказ от него в "Anfangs-Gründe" 1731 г. указывает на сложное взаимодействие разных типов языковой практики и кодификационных решений (см. [Жявов 2002: 15]).

*comparativo positi*, als онѣ Ѥмнѣе, глѣбѣе мене" (с. 178 монографии). Именно это решение проводится в "Anfangs-Gründe", и Кайперт несомненно прав, видя здесь реализацию концепции "красного глоссатора". Эта же концепция развивается затем в грамматике Гренинга и из сложившейся таким образом академической традиции переходит позднее в "Российскую грамматику" М.В. Ломоносова, причем о преемственности в данном случае свидетельствует не только указание на отсутствие в русском склоняемого компаратива, но и кодификация трех различающихся форм превосходной степени. Таким образом, именно от "красного глоссатора" и, тем самым, из отразившихся в рукописи "Компендиума" дискуссий идет установившаяся в русистике схема описания данного морфологического явления<sup>4</sup>.

Подробнейший анализ кодификационных решений составителя "Компендиума", который Г. Кайперт дает в § 7 рецензируемой монографии, позволяет увидеть, какими принципами руководствовались академические филологи при формировании русского языкового стандарта (об этих принципах говорится в заключительном § 8 монографии, с. 119–122). Почти плагиаторская зависимость "Компендиума" от "славяно-русской" грамматики Пауса не означает, как показано в исследовании Кайперта, что составитель "Компендиума" рабски следует за своим предшественником. Из различных фиксируемых Паусом форм составитель делает определенный выбор, и за этим выбором просматривается сознательная лингвистическая установка. Отвлекаясь от частностей, можно считать, что эта установка состоит в том, что из кодифицируемого языкового стандарта должны быть устранены специфически книжные ("церковнославянские") элементы, так что сама эта установка может быть определена как "zielstrebig-bewußter Russifizierung" (с. 119). Существенную роль в реали-

<sup>4</sup> До обнаружения "Компендиума" Б.А. Успенский предполагал, что в трактовке степеней сравнения "Anfangs-Gründe" следует за "Технологией" Федора Поликарпова [Успенский 1985: 106, примеч. 66]. Эта гипотеза, предполагающая не кажущееся вероятным знакомство академических филологов с неопубликованными грамматическими трудами Поликарпова, оказывается теперь ненужной, и картина развития академической лингвистической традиции приобретает более естественные очертания.

зации этой установки играет все та же грамматика Пауса, поскольку Паус помечает многие кодифицируемые им элементы в качестве славянских и нередко такие пометы оказываются принадлежащей ему инновацией (см. [Живов, Кайперт 1996]). Однако если Паус такие элементы сохраняет, то составитель "Компендиума" (Шванвиц) их выбрасывает, и этот нормоустанавливающий выбор, наряду с динамикой языковой практики, составляет один из важнейших аспектов конструирования языкового стандарта.

Об этом процессе можно судить, в частности, по истории нормализации окончаний существительных в косвенных падежах мн. числа. У Пауса и в формах *o*-склонения, и в формах *i*-склонения обнаруживается разноречие, хотя при этом он – первым среди авторов русских грамматик – определяет *-omъ* у существительных муж. рода как славянизм, а в местн. мн. фиксирует окончания *-exъ* и *-fxъ*, указывая вместе с тем, что русские по большей части говорят *-axъ*. У Шванвица отдельные колебания сохраняются, однако для основного класса существительных твердой разновидности *o*-склонения он делает однозначный выбор в пользу флексий *-амь*, *-амн*, *-axъ*. Старые флексии сохраняются в качестве вариантов в отдельных формах лишь у существительных *i*-склонения и *jo*-склонения. Такой выбор (судя по "Примечаниям к ведомостям") в целом соответствует языковой практике академических изданий 1729–1731 гг. и, можно думать, отражает эту практику; вместе с тем он стимулирует дальнейшую нормализацию. Так, в "Anfangs-Gründe" 1731 г. наблюдается дальнейшее устранение старых флексий, которые последовательно (за исключением парадигмы *люди*) изгоняются из дат. мн. и местн. мн. *i*-склонения и *jo*-склонения. Этот нормализационный выбор сказывается, в свою очередь, на академической языковой практике, так что в "Примечаниях к ведомостям" 1734 г. старые флексии встречаются только в тв. мн. существительных *i*-склонения (см. [Живов, в печати]). "Компендиум", таким образом, выступает как важное звено в формировании русского языкового стандарта. Он отражает тот судьбоносный момент, когда конструируется новая языковая установка, и поэтому без него картина становления норм русского литературного языка оставалась бы неполной.

Сказав о важности изданного Г. Кайпертом памятника, нельзя не остановиться на исключительно высоком качестве издания и сопровождающего его исследования. Издатель воспроизводит все встречающиеся в памятнике глоссы и исправления, так что чита-

тель получает возможность наглядно представить себе, как осуществлялась работа над академическим грамматическим проектом. В исследовании дается полная картина того, как и на основании каких источников реализовался этот проект. И вместе с тем автор показывает, какова была дальнейшая судьба тех грамматических решений, которые были приняты при работе над "Компендиумом", какую роль сыграли они в истории русской грамматической мысли. Остается лишь поблагодарить автора за это превосходное издание и выразить надежду, что не менее важная для истории русской филологии "славяно-русская" грамматика Пауса также станет предметом издательских забот Г. Кайперта<sup>5</sup>.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Живов 2002 – В.М. Живов. Литературный язык и язык литературы в России XVIII века // *Russian Literature*, LI (2002). Special Issue, 18<sup>th</sup> Century Russian Literature.
- Живов, в печати – В.М. Живов. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII века (в печати).
- Живов, Кайперт 1996 – В. Живов, Г. Кайперт. О месте грамматики И.-В. Пауса в развитии русской грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского // ВЯ. 1996. № 6.
- Успенский 1975 – Б.А. Успенский. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоновский период отечественной русистики. М., 1975.
- Успенский 1985 – Б.А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

<sup>5</sup> Отмечу еще высокое полиграфическое качество издания и тщательность подготовки текста, почти полностью свободного от опечаток. Упомяну в этой связи и приложенные к изданию снимки отдельных листов рукописи и ряда академических документов, позволяющие идентифицировать почерки (с. 205–219). Из случайных оплошностей укажу лишь, что в библиографии отсутствует работа "Алексеева 2001" (статья о Паусе в энциклопедии "Три века Санкт-Петербурга"), ссылку на которую находим в примеч. 27 на с. 36 монографии. Ср. еще опечатки: AG 1730 вместо AG 1731 на с. 80, примеч.107; Suchomlinov 21886 вместо Suchomlinov 2.1886 на с. 117.

Успенский 1997 – Б.А. Успенский. Избранные труды. Т. III. Общее и славянское языкознание. М., 1997.

Anfangs-Gründe 1731 – Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // Teutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon... СПб., 1731 (Цит. по кн.: Unbegaun 1969).

Keipert 1992 – Н. Keipert. Русская грамматика М. Шваквитца 1731 г. (Предварительные замечания о рукописи БАН F. N. 250) // Доломоносовский период русского литератур-

ного языка. The Pre-Lomonosov period of the Russian literary language (Материалы конференции на Фэгереде, 20–25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. [Slavica Suecana. V. 1].

Unbegaun (Hrsg.) 1969 – Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B.O.Unbegaun. München, 1969 (Slavische Propyläen. Bd. 55).

В.М. Живов

*H. van Skyhawk. Burushaski-Texte aus Hispar (Materialien zum Verständnis einer archaischen Bergkultur in Nordpakistan).* Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. 508 S. (Beiträge zur Indologie, Herausgegeben von Konrad Meisig, Begründet von Ulrich Schneider als Freiburger Beiträge zur Indologie. Bd. 38.)

Бурушаски – бесписьменный язык, на котором говорит около 80–90 тыс. человек в отрогах Каракорума на севере Индостана, давно привлекает внимание лингвистов, однако труднодоступность региона и малое количество опубликованного материала (а также его диалектная неоднородность) до последних десятилетий препятствовали более или менее глубокому изучению этого языка. Наибольший корпус материалов собственно языка бурушаски и его диалекта, называемого "вершиквар", "верчиквар", был опубликован в основном в конце 20-х, в 30-е и затем в 60-е годы XX века И.И. Зарубиным и Д. Лоримером [Зарубин 1927; Lorimer 1935a; 1935b; 1938; 1962] и позже, после большого перерыва, в 70-е и в конце 90-х годов Г. Бергером [Berger 1974; 1998].

Вместе с тем, типологическое своеобразие языка (система четырех семантических классов имен, оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности с оформлением последней проклитическими местоимениями, особенности строения разных разрядов числительных, структуры глагольных форм и т.д.) резко выделяют его из языков данного региона. Генетически язык бурушаски считается изолированным. Предпринимавшиеся до сих пор попытки связать его с баскским языком, с кавказскими, дравидийскими, тибетскими, мунда, енисейскими строились в основном на базе типологически сходных черт, что не является аргументом в пользу генетического родства. В последнее время появились опыты сопоставления бурушаски с древнейшими языками Средиземноморья [Čašule 1998] и некоторыми другими индоевропейскими языками [Čašule 2003], и тем самым поиски доказательства принадлежности его к индоевропейской семье. Построенные на сравнении отдельных разрядов фонем или некоторых

лексических групп, они могли бы свидетельствовать о родстве бурушаски с индоевропейскими языками, однако только при наличии действительно доказанных системных рядов закономерных фонетических соответствий, чему, во всяком случае, на данном этапе, препятствует фрагментарность имеющегося опубликованного материала. Все эти построения нуждаются в дополнительной серьезной аргументации, а следовательно и в пополнении опубликованных данных этого языка.

В пополнении данных нуждается также и более глубокое изучение синхронного строя языка бурушаски и его внутренней истории: существующие синхронные описания его фонологической, грамматической и лексической системы (см., например [Lorimer 1935a; Климов, Эдельман 1970; Berger 1974; 1998; Эдельман 1996; Tikkanen 1999] и опыты диахронического анализа некоторых фрагментов его языкового строя на более раннем этапе в виде внутренней реконструкции отдельных предшествующих морфологических и словообразовательных подсистем (например [Климов, Эдельман 1974; 1995; Tikkanen 1999]) могут быть существенно дополнены и откорректированы с учетом новых материалов, включая диалектные. Поэтому, несмотря на наличие опубликованных текстов и словарей в таких фундаментальных трудах, как указанные выше монографии Д. Лоримера и Г. Бергера (а также на наличие ряда других публикаций этих и других авторов, в частности [Зарубин 1927]), мы все еще находимся на уровне, когда существуют заметные лакуны – в виде отсутствия полных парадигм многих слов, отсутствия сведений о названиях ряда реалий, понятий, действий и т.п., то есть на уровне, когда всякое пополнение корпуса материала есть благо.

Рецензируемая книга Хью ван Скайхоука интересна с разных точек зрения. На с. 13 указывается основная цель издания: составить представление о мировоззрении и архаичной картине мира информантов и, в частности, о месте в этой картине "сверхъестественного" через анализ соответствующей культурной лексики. Таким образом, книга представляет весьма большой интерес не только для лингвистов, но и для фольклористов и этнографов. При этом она несомненно способствует существенному пополнению недостающего языкового материала, и уже одним этим представляет большую ценность для изучения языка бурушаски. Даже факт публикации текстов бурушаски уже сам по себе заслуживал бы особого внимания языковедов. Тем более ценной представляется такая тщательная и грамотно осуществленная публикация, с четкой фонетической фиксацией текста и с продуманными лингвистическими комментариями.

Следует подчеркнуть также, что помимо представления диалектных текстов, то есть языкового материала, в монографии обсуждаются многие существенные проблемы собственно лингвистического и этнолингвистического плана, относящиеся не только к языку бурушаски, но и к изучению других бесписьменных малоисследованных языков. Это особенно важно на данном этапе лингвистических исследований в связи с большим интересом к языкам малочисленных народов (усилившимся в связи с программой ЮНЕСКО "Языки в опасности") и с бурным ростом этнолингвистических исследований на новом витке развития и языкознания (в разных его аспектах), и этнографии. Инструктивными в этом отношении служат труды по славянской этнолингвистике (см., например [Толстой 1995; 2003]). Это важно также в связи с развивающимися сейчас этнолингвистическими исследованиями языков Памира и Гиндукуша, – регионов, примыкающих к ареалу нынешнего бытования языка бурушаски и входящих вместе с ним в ареал Центрально-азиатского языкового союза. Известно, что в грамматической структуре и лексике языков этих регионов прослеживаются определенные субстратные черты, идущие от языка бурушаски (или материально и типологически близких ему диалектов, см. [Эдельман 1980]), а это означает, что в прошлом народов, населяющих эти регионы, были теснейшие арийско-бурушаскские контакты, периоды двуязычия и перехода с одного языка на другой. Следовательно, влияние бурушаски в этом регионе может обнаруживаться не только в чис-

то лингвистическом, но и в этнографическом и в этнолингвистическом плане.

Основу книги составляет публикация 21 больших оригинальных (т.е. не переводных) текстов на языке бурушаски, а именно на одном из говоров, входящих в диалект Нагера.

Говор бытует в селении Гиспар (Hispar), расположенном в труднодоступном регионе на высоте 3100 м между огромными ледниками, в отрогах Каракорума (север Индостана), в пограничной области между Центральной и Южной Азией. В силу удаленности и труднопроходимости местности носители этого говора сохраняют до сих пор архаичное видение мира, которое на 100 км южнее и в соседнем округе Гильгит уже забыто. Официально жители Гиспара на протяжении последних столетий являются шиитами.

Вплоть до самого последнего времени район Гиспара, как и многие другие области, примыкающие к Каракорумскому хребту, представлял собой "белое пятно" на лингвистической карте. Если не считать кратковременного посещения этого района в 1908 году американскими географами, до сегодняшнего дня он оставался вне поля зрения исследователей. Сведения о нем и его жителях были крайне скудны и отрывочны. Между тем, благодаря своему географическому положению данная область не может не представлять интереса, например, для специалистов по арсальной лингвистике. Она расположена на границе ареала языка бурушаски и Балтистана – области распространения северо-западных диалектов тибетского языка. С востока к ней примыкает Синьцзян, населенный тюркоязычными уйгурами и ираноязычными ваханцами и сарыкольцами. Вполне естественно ожидать, что языковые данные, собранные в такой пограничной зоне, помогут пролить свет на имевшие место в прошлом языковые и этнические контакты. В этой связи хотелось бы отметить как большую научную ценность материала, приведенного в рецензируемой книге, так и отрядность самого факта ее появления. Он свидетельствует о возрастающем интересе исследователей к многоязычному региону Каракорума.

Тексты публикуются в транскрипции на основе латинской графики с переводами на немецкий язык, а также, по мере надобности, с грамматическими и лексическими комментариями. Монография снабжена списком "новых", то есть не публиковавшихся ранее, слов и объемным индексом.

Книга начинается с "Предисловия" (с. XIII–XVI), к которому приложена часть содержащихся в книге иллюстраций: карты местности, рисунки и фотографии домашней утвари,



устройства местного дома и его фрагментов, планы построек, ирригационной системы и т.п. с названиями на бурушаски, а также фотографии носителей языка, включая фото рассказчиков и их жестов, сопровождавших повествование. Все это помогает дальше, при знакомстве с текстами, представлять себе упоминаемые в них реалии.

Глава 1 "Введение" (с. 1–58), после вводных соображений и списка условных знаков и сокращений, аббревиатур информантов (с. 1–2), посвящена обсуждению существенных вопросов, связанных с изучением малоисследованных языков малочисленных народов Центральной Азии, независимо от генетической принадлежности самих языков. Здесь рассматриваются проблемы учета этнических и соответственно этнолингвистических факторов при записи и исследовании языкового материала и подчеркивается важность этого учета.

В этой же главе (с. 7 и сл.) обсуждаются возможности перевода названий некоторых местных понятий на другие языки, в особенности когда речь идет о переводе понятий, существующих в одной культуре, на язык другой культуры. В частности, интересны мысли автора о терминах "шаман", "шаманизм" и тенденциях европоцентризма при употреблении этих терминов. Как справедливо указывается здесь (и в других местах работы), особые трудности возникают при переводе названий того или иного сверхъестественного феномена, соответствие которых принятым европейским терминам весьма условно. Здесь же приводятся примеры таких слов, приблизительно соответствующих сходным понятиям в исемском языке: *pari* "Fee", *hilás* "Hexe", *dánlatlas* "Dämonenweib", *jin* "Jinn", *hirbilas* "Kyklop" и некоторые другие.

Далее (с. 13) формулируются цели данной публикации. Особое внимание уделено в этой главе также публикуемым текстам как отражениям этнокультурной традиции речи, искусства построения монолога и диалога, местным способам и традициям организации повествовательного текста (с. 38 и сл.).

Сами тексты и списки слов с объяснениями сгруппированы в главах 2–5 (см. 59–453). Основа их группировки – тематическая, однако в ряде случаев она различается и способом презентации материала. Тексты и слова распределены по темам: история селения, сельское хозяйство, исчисление времени и связанные с временами года празднества и обычаи, древние верования, рассказы о героях.

В главе 2 (с. 59–144) – "К истории селения" даны рассказы информантов о заселе-

нии Гиспара, об истории семей, о родословных. При этом первый рассказ (с. 60–102) разбит на фразы, которые приведены с подробными грамматическими комментариями (с отсылками к соответствующим главам и параграфам в грамматике Г. Бергера [Berger 1998, Т. I]) и с указанием словарной формы слова (с отсылками к соответствующей странице в словаре Г. Бергера [Berger 1998, Т. III]), а также с стилистическими пометами; далее (с. 103 и сл.) следует литературный перевод текста с комментариями и параллелями из других источников и пр.

Второй и третий тексты данной главы (с. 120 и сл.), как и практически все последующие, разбиты на большие абзацы, каждый из которых сопровождается немецким переводом. Этот текст, как и многие тексты других разделов, представляет собой рассказ двух информантов: один рассказывает, другой задает наводящие вопросы, подает реплики, подтверждает высказывание или переспрашивает. Комментарии – лексические, грамматические, объяснения реалий и пр. – вынесены в постраничные сноски. В конце главы приводится общий содержательный комментарий.

Глава 3 (с. 145–203) состоит из текстов, посвященных описанию сельскохозяйственных работ, перечислению времен года, сезонов, месяцев (с. 167 и сл.). Сюда же входит собственно этнографический раздел (с. 170–179): описание праздников, связанных с определенными временами года, с особенным вниманием к празднованию Ноуруза (отсутствие текста на бурушаски частично компенсируется здесь наличием местных бурушаскских терминов, обозначающих сами праздники, а также ритуалы, обычаи и реалии, связанные с этими праздниками). Далее здесь же приводятся тексты песен, как исполняемых во время Ноуруза (с. 180–184), так и других (с. 185 и сл.), также сопровождаемые различного рода комментариями. В эту главу (с. 200 и сл.) входят и чисто лексические разделы: списки названий частей и деталей местной мельницы, ткацкого станка, а также список микропонимов – названия местностей в окрестностях Гиспара и др.

Глава 4 (с. 205–377) целиком посвящена текстам о местных верованиях и "шаманизме". Первый из них (с. 205–272) "О шаманах из Гиспара" записан как монолог одного информанта, остальные – с использованием элементов диалога, как и тексты предыдущих разделов. Все тексты даются в разбивке на абзацы, с переводом и подстрочными комментариями, содержащими объяснения сути повествования или терминов, обозначающих конкретные местные реалии, сведения о грамматической форме того или иного слова

или подбор синонима и т.д. Здесь же даны библиографические отсылки.

Глава 5 (с. 379–456) содержащая большой текст с разного рода комментариями, практически продолжает тематику и способ подачи материала главы 4, с элементами волшебной и исторической сказки.

Книгу заключают разделы: "Список новых слов" (с. 457–458) с указанием текста и абзаца в книге, где это слово встречается; "Список литературы" (с. 459–489) и индекс собственных имен, топонимов и терминов (с. 490–506).

Таким образом, рецензируемая книга представляет собой своевременную публикацию, выполненную на высоком современном уровне. Мы имеем не только большой новый корпус материалов в достоверной транскрипции, но и возможность серьезного обсуждения ряда проблем собственно лингвистического и этнолингвистического плана, существенных не только для языка бурушаски, но и для других бесписьменных языков Средней и Центральной Азии.

Так в текстах 4-й и частично 5-й главы особенно наглядно выявилось то, о чем писал автор во "Введении", а именно трудности перевода терминов духовной культуры носителей языка бурушаски на другие языки, отражающие понятия другой культуры. Особенно это ощутимо, когда речь идет о терминах для явлений и персонажей "сверхъестественного" мира. Переводы типа "ведьма", "циклоп" и прочие не отражают – или не вполне отражают – образы местных "потусторонних" персонажей и их сущность и функции. Это одно из трудных мест этнолингвистического исследования и описания языка, и автор вполне прав, говоря о сложности перевода таких терминов при стремлении избежать "европоцентризма".

Второе трудное место такого исследования – сама возможность полевого сбора и записей текстов (и шире – вообще всяких сведений) о местных верованиях, кроме официальных (в данном случае – об установлениях официального ислама). Как указано и во "Введении", информанты далеко не всегда охотно рассказывают о них, тем более "чужому" исследователю. И тот факт, что автор прибегнул здесь к форме диалога носителей языка, к участию (пусть даже не вполне активному) второго собеседника, "своего" в глазах основного рассказчика, свидетельствует о мастерском владении Х. ван Скайхоуком методикой полевого исследования малозученного языка.

Следует отметить также, что такая запись текста с элементами диалога дает, кроме этнолингвистического, большой собственно

лингвистический выход: в результате такого приема наблюдается относительно свободный синтаксис фраз, выявляются возможности вариативности некоторых форм и конструкций, а при наводящих вопросах и при переспросе мы часто видим ответ, содержащий уточненное или трансформированное высказывание, аналогичное по содержанию предыдущему. Характерно наличие частиц, междометий и других элементов живой разговорной речи. Все это дает возможность уточнить некоторые элементы морфологии и синтаксиса языка бурушаски.

Несомненным плюсом является пополнение сведений о лексическом составе бурушаски – не только в виде списка новых слов, но и в виде расширения сведений о круге значений того или иного известного ранее слова. Содержащиеся в книге иллюстрации представляют собой наглядные "пособия к лексике". Важны также содержащиеся в переводе текстов в скобках указания на жесты, интонацию, на тип высказывания (например, риторический вопрос, пауза при обдумывании ответа и т.д.).

Из недостатков, не искажающих содержание книги, но затрудняющих пользование текстами, можно отметить слишком большую протяженность абзацев, подлежащих последующему переводу, в результате чего не всегда легко соотнести слово в тексте бурушаски со словом немецкого перевода. Для языка с такими морфологически сложными словоформами, как бурушаски, хотелось бы видеть более дробное членение на фразы или наличие подстрочного перевода.

Поскольку книги Г. Бергера доступны не всем, хотелось бы видеть в работе Хью ван Скайхоука более или менее подробный список транскрипционных знаков с объяснениями обозначаемых ими звуков (особенно гласных, поскольку, например, не всегда ясны различия между звучаниями *aa* и *áa*, *ii* и *íí* и т.п.).

В целом же выход в свет этой книги следует только приветствовать, поскольку она существенно обогащает наши знания о языке бурушаски в самых разных аспектах.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зарубин 1927 – *И.И. Зарубин*. Вершикское наречие канджутского языка // Записки Коллегии востоковедов. 1927. Т. II. Вып. 2.  
Климов, Эдельман 1970 – *Г.А. Климов, Д.И. Эдельман*. Язык бурушаски. М., 1970.  
Климов, Эдельман 1974 – *Г.А. Климов, Д.И. Эдельман*. К названиям парных частей тела в языке бурушаски // Этимология 1972. М., 1974.

- Климов, Эдельман 1995 – Г.А. Климов, Д.И. Эдельман. К перспективам реконструкции истории изолированного языка (на материале языка буршаски) // ВЯ. 1995. № 5.
- Толстой 1995 – Н.И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Толстой 2003 – Н.И. Толстой. Очерки славянского язычества. М., 2003.
- Эдельман 1980 – Д.И. Эдельман. К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза // ВЯ. 1980. № 5.
- Эдельман 1996 – Д.И. Эдельман. Буршаски язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1996.
- Berger 1974 – H. Berger. Das Yasin-Burushaski (Werchikwar). Grammatik, Texte, Wörterbuch. Wiesbaden, 1974.
- Berger 1998 – H. Berger. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager. Teil I: Grammatik; Teil II: Texte und Übersetzungen; Teil III: Wörterbuch. Wiesbaden, 1998.
- Čašule 1998 – I. Čašule. Basic Burushaski etymologies. The Indo-European and Paleo-Balkan affinites of Burushaski. München, 1998.
- Čašule 2003 – I. Čašule. Burushaski names of body parts of Indo-European origin // Central Asiatic journal. 2003. V. 47. Pt. 2.
- Lorimer 1935a – D.L.R. Lorimer. The Burushaski language. I: Introduction and grammar. Oslo, 1935.
- Lorimer 1935b – D.L.R. Lorimer. The Burushaski language. II: Texts and translations. Oslo, 1935.
- Lorimer 1938 – D.L.R. Lorimer. The Burushaski language. III: Vocabularies and index. Oslo, 1938.
- Lorimer 1962 – D.L.R. Lorimer. Werchikwar-English vocabulary. Oslo, 1962.
- Tikkanen 1999 – B. Tikkanen. Concerning of typology of Burushaski and the roots of its prefixes *d-* and *n-* // Studia orientalia. 1999. № 85.

Д.И. Эдельман, А.И. Коган

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14–17 мая 2003 года в Институте славяноведения РАН (Москва) была проведена международная конференция по славянской этнолингвистике "Славянская этнолингвистика и проблемы изучения традиционной народной культуры". Организаторы (Отделение историко-филологических наук РАН, Институт славяноведения и музей-усадьба "Ясная Поляна") посвятили ее 80-летию со дня рождения основателя Московской этнолингвистической школы академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). Конференция смогла состояться благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. С докладами выступили российские ученые, а также гости из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Польши, Сербии, Украины и Эстонии. Многие из участников конференции были коллегами или учениками Н.И. Толстого, работали под его руководством в этнолингвистических экспедициях в Полесье, и каждый присутствовавший, наверное, был так или иначе связан с его научной школой, многим в своем собственном научном и человеческом развитии обязан научным идеям, а может быть и личной поддержке Никиты Ильича. Тематика докладов также постоянно перекликалась с научными интересами Н.И. Толстого, а поскольку его интересы были очень широки, на конференции прозвучали доклады по проблемам славянской этнолингвистики, диалектологии, фольклора, этнографии и народной культуры вообще и др.

Пленарное заседание открылось вступительным словом чл.-корр. РАН, главного редактора "Вопросов языкознания" Т.М. Николаевой (Москва), которая рассказала об основных областях научной работы Н.И. Толстого. Затем известные слависты, коллеги Н.И. Толстого по работе в Институте славяноведения, МГУ, Национальном комитете славистов и др., рассказа-

ли о разных сторонах научной и общественной деятельности Никиты Ильича. На пленарном заседании выступили акад. В.Л. Янин (Москва), акад. Е.П. Челышев (Москва), чл.-корр. РАН, директор Института славяноведения В.К. Волков, директор Института русского языка А.М. Молдован (Москва), зав. кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ В.П. Гудков, директор Синодальной библиотеки Московского патриархата, настоятель Патриаршего подворья быв. Андреевского монастыря прот. Б. Даниленко, а также иностранные гости конференции – директор Института балканистики Сербской АН Л. Раденкович (Белград), проф. Университета им. М. Кюри-Склодовской в Люблине Е. Бартминьский, проф. Белградского университета А.В. Тарасьев. Заведующая Отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН С.М. Толстая (Москва) рассказала о научной работе своего отдела, созданного Н.И. Толстым 25 лет назад, и в частности – о подготовке словаря "Славянские древности", третий том которого находится сейчас в печати.

Рабочие заседания конференции открылись докладом С.Ю. Неклюдова (Москва) "Живая речь и язык фольклора", в котором была рассмотрена давно привлекающая внимание исследователей проблема соотношения диалектной речи и языка фольклора в связи с жанровой дифференциацией фольклорных текстов. Е.Е. Левкиевская (Москва) в своем докладе "Итоги и перспективы изучения славянской мифологии", охарактеризовала исторические этапы изучения мифологических представлений славян и очертила свое видение перспективы развития этих исследований. В докладе Л.А. Софроновой (Москва) "Перспективы развития этих исследований" говорилось о знаковых функциях костюма и его смены в русском театре XVIII в. в связи с идеями Н.И. Толстого. А.Е. Гиппиус

(Москва) в своем докладе "Сисиний и Сихаил: к сакральной просопографии берестяных грамот" предложил толкование этой встречающейся в апокрифах и заговорах пары имен как анаграммы сочетания *истинный Христос*.

Далее прозвучал ряд докладов, посвященных проблематике народного христианства. В частности, Е. Бартоминьский (Люблин), выступивший с докладом "Христианство и народная культура: Богоматерь в польской традиции", показал на материале устойчивых номинаций, фольклорных текстов, современного политического дискурса и др. источников культ Богородицы как религиозный и национально-патриотический стереотип поляков. С.Е. Никитина (Москва) в докладе "О ядерных концептах народного христианства" рассмотрела такие аксиологически важные концепты, как *душа, грех, чудо, судьба, Бог, ад* и др. Материалом исследования послужил фольклор русских протестантов (молочан, духоборцев) и старообрядцев. Р. Попов (София) в докладе "Народная этимология и культ святых" показал, как народные представления (поверья, запреты, народно-медицинские практики), связанные с культом святых у болгар и других южных славян, определяются "народноэтимологическими" и близкими к ним факторами, в частности, с одной стороны, значением греческого имени святого, а с другой – фонетическими ассоциациями, возникающими у славян в связи со звучанием имени. О.А. Черепанова (Санкт-Петербург) в докладе "Мифологические мотивы в народных рассказах о местночтимых старцах на Русском Севере" проанализировала рукописное житие старца-мирянина Н.К. Трофимова (ум. в 1958 или 1959 г), обнаруженное в архиве краеведческого музея г. Тотмы Вологодской обл. Выделив инвариантные элементы севернорусских народных повествований о старцах – текстов, сочетающих в себе агиографические, литературные, фольклорные и народно-православные мотивы, докладчица подробно остановилась на мифологической символике двух сюжетов из жития старца Николая. К. Михайлова (София) посвятила свой доклад "О семантике страждущего певца-нищего в славянской народной культуре" широко распространенной в славянской традиционной культуре фигуре певца странника, в народном образе которого соединяются такие черты, как физическая ущербность (слепота, хромота), мобильность, нищета, сверхъестественные свойства (целительство, провидческие способности), способность к посредничеству между миром людей и миром небесным. С.Ю. Дуб-

ровина (Тамбов) в докладе «Христианская лексика в диалектном "изводе"» рассмотрела методы анализа диалектной лексики, относящейся к тематическим группам, связанным с народным православием. Всего автором было выделено 19 таких тематических групп.

Заседание 15 мая началось с доклада В. Дабрик (Краков) "Бабье лето и прочие бабьи дела", в котором рассматривались славянские (преимущественно относящиеся к польско-восточнославянскому пограничью) хронимы типа *бабье лето*, обозначающие переходный погодный период между летом и осенью и, по мнению автора, связанные, как и целый ряд "женских праздников", с культом Богородицы. С.Б. Адоньева (Санкт-Петербург) в докладе "Социальное пространство крестьянской магии. Силы и хозяйства" представила результаты экспедиционных исследований из Вологодской обл., касающиеся этикети в отношении людей, имеющих социальный статус хозяев, с духами-"хозяевами" ("силами") занимаемых людьми лесов. Доклад А.Б. Мороза (Москва) "Народная интерпретация этнографического факта", подготовленный на севернорусском (Каргополье) материале, был посвящен рассмотрению народных мотивировок обрядов и верований (запретов и предписаний) и различным источникам этих нередко достаточно произвольных мотивировок, таким как народноэтимологические переосмысления, фольклор (в частности, народные легенды), связанная с ним апокрифическая книжность, особенности местного восприятия объектов природы (например, определенных видов рыб в связи с их символикой в толковании сновидений) и др. В.Я. Петрухин (Москва) в докладе «"Проводы Перуна": древнерусский фольклор и византийская традиция» указал на возможность сопоставления летописного рассказа о низвержении Перуна как с византийскими хрониками Малалы и Амартола, описывающими изгнание из Рима и наказание узурпатора Феврария, так и с восточнославянскими фольклорно-этнографическими данными. А.В. Гарасьева в своем докладе «"Живая" и "мертвая" вода в "Докторе Живаго"» проанализировал символику воды в романе "Доктор Живаго" – "живой" (принесенной из колодца) и "мертвой" (замерзшей) – в связи с развитием любовных линий в сюжете романа.

На вечернем заседании Д. Айдачич (Белград) в докладе «Коды и "Коды славянских культур"» рассказал о редактируемом им (совместно с Т.А. Агапкиной и А.А. Плотниковой) белградском ежегоднике "Кодови словенских култура", каждый том

которого посвящается одному из семиотически понимаемых кодов традиционной культуры славян: растительному, пищевому, соматическому, цветовому, аграрному и т.п. Г. Невекловский (Вена) в докладе "Жилище, посуда и пища у боснийских мусульман" описал терминологию жилища, домашнего имущества, посуды и пищи у боснийских беженцев в Австрии, показав этимологию рассмотренных лексем (нередко имеющих восточное происхождение) и сопоставив их с сербскими и другими славянскими данными. Доклад Г.А. Цыхуна (Минск) "Полесские нарубь (лингвэтнический аспект)" был посвящен наименованиям традиционного полесского надгробия в виде положенного на могилу отесанного ствола дерева с приподнятой передней частью или деревянного сруба-"домика": *нарубь, прыклады, бараны, прыхоромы, лыжак, хатка* и др. К старым автор относит лексемы с корнями *-хором* и *-руб*, относящиеся к сооружениям в форме домика, а древнейшее название намогильного бревна предположительно реконструирует как *колода*. А.Д. Дуличенко (Тарту) в докладе "Карпатские русины сегодня: этнолингвистический аспект" рассмотрел с этно- и социоллингвистической точки зрения язык карпатских русинов, в частности – их разнообразные этнонимы, а в связи с этим – их языковое и этническое самосознание.

Л.Н. Виноградова (Москва) в своем докладе "Вербальные элементы обряда и их роль в раскрытии мифологической семантики" проанализировала известный восточнославянский обряд "вождения стрелы" в его различных локальных вариантах с точки зрения зависимости структуры, семантики и прагматики обряда от текстов сопровождающих его песен. Л. Радевич в докладе "Цвет как признак мифологических персонажей" привел обширную коллекцию славянских демонологических персонажей, которым приписываются цветové характеристики. По данным автора, наиболее часто встречаются белый и черный цвет, затем красный, а зеленый и синий встречаются куда реже. Цветовые характеристики однотипных персонажей могут варьироваться в разных локальных традициях. А.В. Гура (Москва) в докладе "Пятна на месяце: способы конструирования мифологического текста" собрал и классифицировал основные мотивы, встречающиеся в славянских поверьях и легендах, объясняющих происхождение и значение пятен на лунном диске (лепешка навоза, брошенная девушкой; два брата (Кавин и Авель); Адам и Ева; два архангела; ангел и дьявол; парень и девушка; два кузнеца;

еврей и цыган; наказанный грешник и др.). А.Л. Топорков (Москва) прочитал доклад "Этимология на службе магии", написанный на материале недавно изданного им собрания русских заговоров XVII–XVIII вв. В докладе был проанализирован мотив/образ персонафицированной тоски, насылаемой на женщину в любовной магии и, в частности, показано, что мотивика соответствующих заговоров (мотивы сдавленности, пустоты, тесноты) соответствует этимологическим связям *тоски* с такими словами, как *тощий, тщетный, тесный*. Доклад Н.П. Антропова (Минск) был посвящен "Белорусским этнолингвистическим этюдам. 2. Вызыванию дождя (акциональный код)". Доклад основан на материале "Белорусского этнолингвистического атласа" и богатых экспедиционных данных. В нем были представлены основные ритуальные действия, касающиеся магии вызывания дождя, разделенные автором на специфические (магия у колодца, битье воды, поливание могил самоубийц, выворачивание креста, голошение по утопленнику, убиение лягушки, жабы, ужа и их символическое погребение, пахание реки или дороги, разгребание муравейника и др.), неспецифические (т.е. исполняемые и в других целях: обходы полей, опахивание села, ритуальная кража и др.) и сопровождающие (изготовление "обыденных" предметов, выворачивание одежды, обнажение и др.). Вариативность обряда вызывания дождя была продемонстрирована при помощи карт.

На заседании 16 мая прозвучал блок докладов, посвященных лингвистическим методам изучения традиционной культуры славян. А.А. Плотнокова (Москва) в докладе "Этнолингвистическая диалектология: южные славяне" говорила о методах этнолингвистического картографирования особенностей диалектного членения традиционной культуры, и в частности, о проблеме выбора единиц для картографирования. Положения доклада были проиллюстрированы картой географического распределения обряда приношения в жертву животного на поминках и терминологии этого обряда у южных славян.

Е.Л. Березович (Ектеринбург) в докладе "Этнолингвистическая интерпретация полевых структур" предложила схему этнолингвистического анализа семантических структур языковой картины мира через понятия семантического поля концепта, его мотивационного поля и поля культурной символики. Важными источниками этнолингвистической информации, по мнению автора, могут быть выбор номинируемых реалий, соотношение и

иерархия смыслов в семантике. Т.И. Вендина (Москва) представила доклад "Истина, Добро, Красота в языке традиционной народной культуры", в котором на базе анализа словообразовательных гнезд рассматриваемых лексем были описаны особенности содержания соответствующих концептов в их народном понимании, в частности, большая конкретность и прагматическая направленность по сравнению с вариантами, реконструируемыми на материале литературного языка. И.А. Седакова (Москва) выступила с докладом "Прощание и прощение: опыт этнолингвистического анализа", в котором рассмотрела единство названных категорий в народной культуре, подержанное их этимологической родственностью (корень *прост-*). Особо было показано значение категорий *прощания* и *прощения* в славянском погребальном обряде. А.Ф. Журавлев (Москва) в докладе "Фонетика бесовских глоссолалий" дал "звуковой портрет" персонажей низшей мифологии на основании глаголов речи нечистой силы, ее имен, а также междометий, изображающих издаваемые нечистыми звуки. С. Небжеговска-Бартминьска (Люблин) в докладе "Роль мотива в описании модели текста", написанном на материале польских заговоров от виха, предложила понимание модели текста как инвариантной структурной схемы, манифестацией которой являются варианты фольклорного текста. Эта структура основана на мотивах, которые выполняют в ее рамках несколько функций: конститутивную, информационно-поисковую, экспликативную, моделирующую. Возможны два типа анализа фольклорного текста: внешний, т.е. сопоставление вариантов, позволяющее отличить устойчивое от факультативного, и анализ внутренней структуры (выделение мотивов и описание их комбинаторики). А.В. Юдин (Одесса-Гент) в докладе "Мифотопонимия украинских и белорусских заговоров" представил слушателям на примере анализа мифотопонима *Сион* один из вариантов описания семантики фольклорного имени собственного при помощи системы стандартных "фасет" (тезаурусных функций), близкую схемам Е. Бартминьского и С.Е. Никитиной. Г.Ф. Благова (Москва) представила доклад "Тюркская антропонимия как проекция мифологических представлений", в котором на антропонимическом материале (преимущественно связанном с плохой погодой – 'дождь', 'снег', 'туман', 'буря', 'буран', 'облако') предприняла попытку реконструкции фрагмента древнетюркской модели мира, связанного с поклонением природным стихиям. В.М. Гацак

(Москва) в своем докладе "Зооморфный сон в эпических контекстах как метафорическая антитеза" проанализировал распространенный в мировом фольклоре мотив снов героя о животных и позднейшего толкования этого сна. Т.В. Цивьян (Москва) в докладе "Фатальный путь Колобка" предложила возможный ответ на вопрос о причинах гибели Колобка: причиной тому была его круглая форма (связанная с неустойчивостью) и способность катиться (движение, обычно происходящее по направлению вниз, что предопределяет фатальный конец). О.В. Белова (Москва) посвятила свой доклад «Как в деревне Арзубиха "кабалу писали"» северорусскому обычаю писать прошение лешему в случае пропажи в лесу скотины. Этот "документ" обычно писали на бересте, углем, левой рукой, справа налево, молча, и затем его оставляли в дупле дерева, под кустом или изгородью, пускали по ветру и т.п. Автор особо рассмотрел зафиксированное еще в 2002 г. на Вологодчине название этого письма *кабала* (распространенное и в других северных регионах).

Заседания конференции завершились докладом Ф.Д. Климчука (Минск) "Из бесед с Н.И. Толстым (воспоминания)". Автор поделился своими воспоминаниями о встречах с Н.И. Толстым и привел записанные им высказывания Толстого, касающиеся различных вопросов славистики (этногенез славян и их прародина, культурные связи между славянскими народами, этнокультурная и социолингвистическая ситуация в разных регионах Славии, понятия патриотизма и национализма и др.).

В рамках конференции состоялся также ряд мероприятий в связи с 80-й годовщиной со дня рождения Н.И. Толстого. В храме быв. Андреевского монастыря была отслужена панихида по покойному, затем участники конференции посетили только что открытый именной фонд Н.И. Толстого в Синодальной библиотеке (созданный на базе перенесенной в библиотеку части его книжного собрания), где, среди прочего, был представлен веб-сайт, посвященный Н.И. Толстому – <http://www.ntolstoy.ru/>. В книжной галерее "Нина" прошла презентация выпущенного издательством "Индрик" нового сборника работ Н.И. Толстого "Очерки славянского язычества" (частично в соавторстве с С.М. Толстой). Конференция завершилась поездкой на могилу Н.И. Толстого и в семейный толстовский музей-усадьбу "Ясная Поляна".

А.В. Юдин (Одесса-Гент)

## CONTENTS

I.-E.S. Raxmankulova (Moscow). Some thoughts on the theory of aspectuality; A.A. Levitskaja (Vladikavkaz). Aspectuality in Ossetic: genetic premises; A.B. Pen'kovskij (Moscow). On the development of hidden semantic categories in Russian; E.V. Raxilina, I.A. Prokofiev (Moscow). Lexical typology of cognate languages: Russian and Polish verbs of rotation; E.N. Liaševskaja (Moscow). On the semantic numerical paradigm of nouns (food nomes in Russian); E.Yu. Ivanova (St.-Petersburg). On the perceptive character of nominative sentences; Z.S. Šanji-Gariajeva (Saratov). Andrei Platonov and the official language: **From the history of science:** V.V. Potapov (Moscow). Vladimir Nikolajevič Sidorov (on the centenary of his birth); **Reviews:** V.M. Živov (Moscow). Compendium grammaticae russicae (1731); D.I. Edelman, A.I. Kogan (Moscow). *H. van Skyhawk*. Burushaski-Texte aus Hispar; **Scientific life.**

---

Сдано в набор 24.10.2003	Подписано к печати 19.12.2003	Формат 70 × 100 <sup>1/16</sup>
Офсетная печать	Усл. печ.л. 13,0	Уч.-изд.л. 15,5
	Усл. кр.-отт. 19,8 тыс.	Бум. л. 5,0
	Тираж 1497 экз.	Зак. 7958

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредитель: Российская академия наук

---

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16  
Отпечатано в ППП "Тилография "Наука". 121099, Москва, Шубинский пер., 6